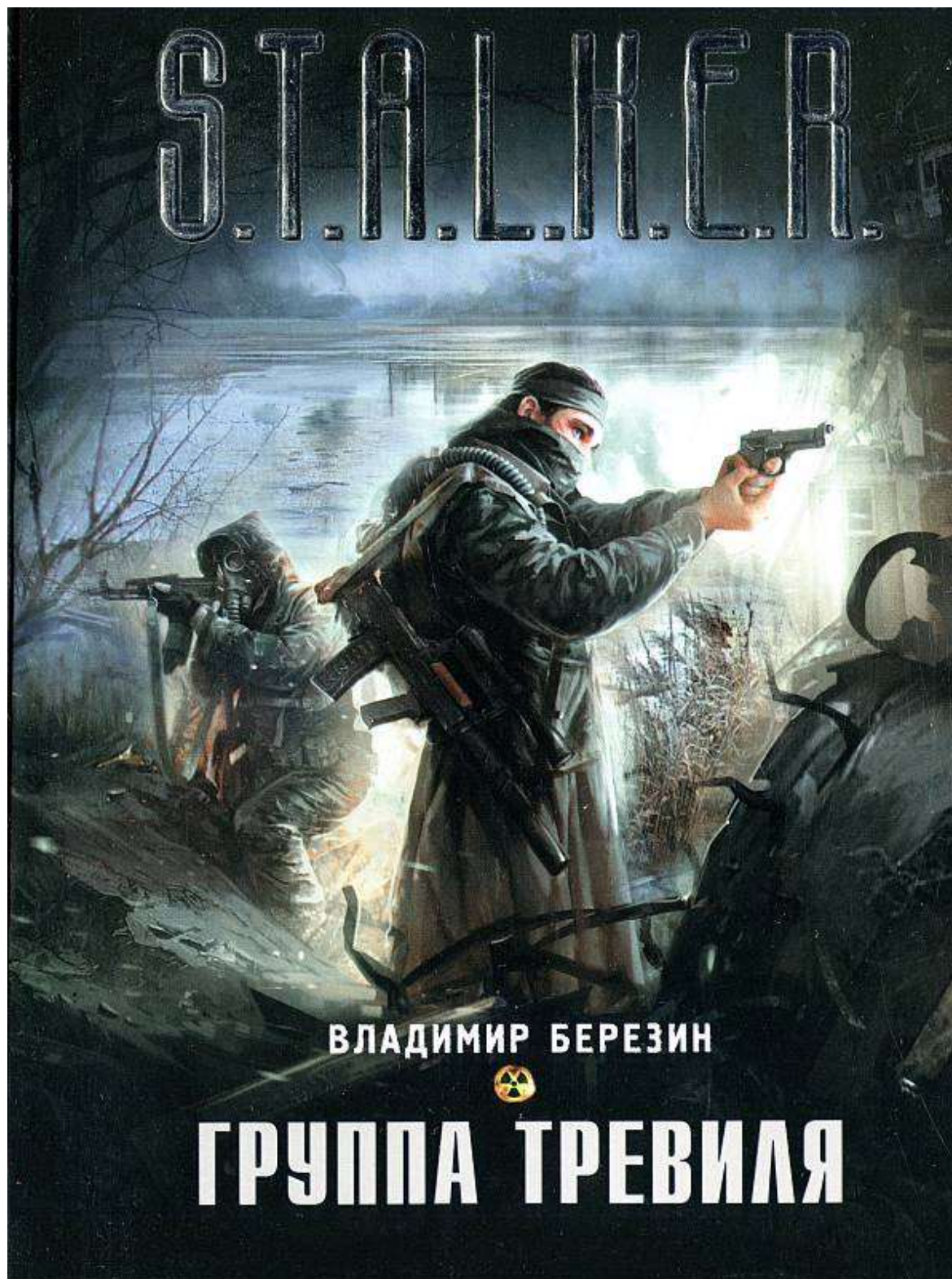


Владимир Березин
Группа Тревиля

S.T.A.L.K.E.R. – 89

www.megabook.am



Владимир Березин

ГРУППА ТРЕВИЛЯ

«Семнадцать мгновений апреля, – транслировали по радио песенку Марики Рокк, – останутся в сердце твоём. Я верю: вокруг нас всегда будет музыка, и деревья будут кружиться в вальсе, и только чайка, подхваченная стремниной, утонет, и ты не сможешь ей помочь...»

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Глава первая

Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 29 апреля. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Перестрелка в берёзовой роще – что может быть лучше такого начала. Зачистка наёмных сталкеров – служба киллеров яркая и, главное, недолгая. Кто и кому в Зоне нужен. Мушкет и Атос – однокурсники всегда рядом, и всегда подскажут ответ в контрольной работе.

Несколько пуль разом ударили в стволы берёз у меня над головой. Было похоже на то, что несколько жуков разом наткнулись на какое-то вязкое препятствие – звук был смешной, какой-то мокрый, и я подумал, что, чем чёрт не шутит, может, тут до сих пор есть берёзовый сок.

С Зоной ни в чём нельзя быть уверенным.

Потом раздалась ещё очередь, и мокрые берёзовые щепки посыпались на меня.

Когда всё стихло, и прошло минут пять, вдруг запел соловей. Он пел чуть подалее, в низине, которая, видимо, спускалась к реке.

После пятиминутной передышки последовала ещё одна очередь.

Славное дело – лежать так и ждать чего-то. В одном фильме моего детства так погибал герой – берёзовые стволы, выстрел и всё закрутилось, и вот уже страдают родственники. Родственников у меня не было, да и на возвышенного героя я не тянул.

Обнадёживало то, что мы лежали в ложбине, и стрелявшие будто бы не догадывались, что земля тут резко уходит вниз. Оттого пули скалывали мягкую древесину у нас над головой.

– При коммунистах такого не было, – сказал Мушкет. – При коммунистах никто у Периметра в тебя бы не стрелял, все были боязливые, а оттого вежливые. И оружия на руках столько не было.

И то верно – сам Мушкет лежал на спине, покусывая спичку, и гладил автомат.

Мушкета знал давно, ещё по университету – он тогда был весельчак, такой настоящий турист. Походы, гитара, дым костра создаёт уют, и что-то там у костра поют чуть охрипшими голосами.

Скажи мне тогда, что он так будет выглядеть, я бы не поверил. Да что там – скажи мне не тогда, а месяц назад, что я буду лежать в берёзовой роще и слушать, как пули чмокают по стволам, я не то что не поверил, я бы решил, что собеседник *употребляет вещества*.

Месяц назад я был в другой стране, и прилетел на Родину в прекрасном месяце апреле, который я так любил.

Я любил его, потому что апрель похож на субботу. Суббота в моём детстве была последним учебным днём недели, и, вернувшись из школы, ты знал, что у тебя ещё целый вечер субботы, а потом ещё огромное воскресенье, и только потом опять в школу.

И в университете в субботу тоже был короткий день, так что можно было пойти в лес с рюкзаками и орать под гитару песни у костра... Только с третьего курса это прекратилось,

потому что мы попали в лапы к Маракину и свободного времени не стало вовсе, да и праздников тоже не стало. Но мы не роптали, а только радовались – потому что это была настоящая наука.

Впрочем, я отогнал и науку и это «мы», ведь это вело к не очень приятным воспоминаниям этого месяца.

Интересно, как прожил Мушкет эти годы?

Как он попал сюда? Зачем человек соглашается валяться в грязи, имея приличную специальность и диплом? Что там у него было – личное несчастье? Его купили большими деньгами? Кстати, он был, кажется, из Киева... Нет, не помню.

Никогда не думал, что у меня в однокурсниках (вернее, он был на два курса младше), окажется настоящий сталкер.

Судя по всему, это ему даже нравится. Вот он катает спичку во рту, будто ковбой – сигарету. Откуда только они спички берут, в наше время ведь повсюду зажигалки.

Семеро лежали в небольшой котловине, семеро человек слушали, как свистят поверху пули.

Длиться, по всей видимости, это могло бесконечно – пока у неизвестных с той стороны не кончатся патроны. Здесь у всех нервы были крепкие.

Итак, нас было семеро, причём большинство – кроме проводника – я знал много лет. С тремя я дружил в университете, хотя мы учились на разных факультетах и курсах.

Если из нашего пейзажа вычесть стволы и каких-то невидимых бандитов на заднем плане, это можно было бы назвать выездной семинар учёных среднего возраста.

Я любил тогда на такие ездить – правда, возраст был иной и называлось это «школа молодых учёных».

Томность пейзажа нарушала ещё одна деталь – в нашей ложбине лежал поросший мочалой скелет.

Человек, видать, был немолодой, все зубы у него были с изъянами, впрочем, стальных было больше, чем костяных.

Когда мы запрыгнули сюда, я было отшатнулся, но Мушкет мне сказал:

– Не бойся, я его уже не в первый раз вижу. Он товарищ смирный, не обидит.

Судя по виду, я подумал, что он один из тех, кто пришли сюда первыми, но Мушкет возразил:

– Нет, тех, кто пришёл сюда первыми, я хорошо помню. Я ведь помню, как они грузились – весёлые такие, один мне рукой помахал.

Я ещё мальчишкой был, провожал отца. Отец тоже с первой партией ехал.

Нет, тогда, при коммунистах, порядок был, человека бы не бросили. Всё жестоко было, конечно, признаю, но и всё справедливо – приняли по описи и сдали по описи. А этот из поздних, но дело своё знает. Тропу караулит...

Да, школа пожилых учёных выходила своеобразная. Насчёт проводника я был не уверен, но остальные были точно с высшим образованием.

Нас было семеро, и я знал, в чём проблема – учёным не рекомендовалось самим ходить в маршруты. Это было дело сталкеров, вольных бомжей с их кислым утробным запахом, короткоживущих охотников и проводников.

Учёные обладали гигантским самомнением, они относились к сталкерам как относились к туземцам английские колонизаторы. Вышел расфуфыренный, в шортах и пробковом шлеме: «Ну-ка, несите, что нашли за ночь!».

А мы пошли сами, по специальному маршруту, маршруту явно не согласованному. Это зачем-то было нужно моему другу, и моё слово тут было «номер сорок». Меня спасли, вытащили из неприятной ситуации, заперли здесь, и что дальше мне делать – непонятно.

Я и не возникал, что возникать, когда ты лежишь в тенике под берёзами, у нас семь стволов, а по нам лупят какие-то идиоты, не попадая ничуть. Нечего возникать – сиди, жди.

А дружище мой Атос сосредоточенно тыкал в кнопки своего наладонника, остальные смотрели в разные стороны. Как ни крути, Атос вытащил меня, и я был ему благодарен.

– Так всё-таки, кто это? – спросил я.

– Что кто? Кто это садит в белый свет, как в копеечку? Да кто ж его знает? – безо всякого раздражения ответил Мушкет. – Дурного народа полно, да и время сейчас нехорошее. Кризис очередной набухает, все нервные. Ты не суетись, они сейчас выдохнутся, а там и мы пойдём.

И правда, огонь на несколько минут прекратился, но потом снова короткая очередь ударила поверху, срубив несколько веток.

– Ты не рыпайся, у них-то как раз расчёт на то, что народ запаникует, побежит в другую сторону. Тут-то их и примут – с одной стороны загонщики, а с другой – основные силы. Не суетись, земля тёплая, не активная, радостная, можно сказать, под нами земля.

И действительно, я впал в какое-то философское состояние.

Атос всё вызывал помощь, причём я удивился тому, как он это делает – вежливо, но очень настойчиво. Это был какой-то особый тип манипуляции по телефону – да, военные сталкеры были обязаны помочь сертифицированным учёным, попавшим в засаду, но одно дело, если они будут делать это по инструкции, то есть медленно и печально, как вдова на похоронах, а другое – так, будто бы это их товарищи оказались в беде.

Нет, определённо я не заметил, как Атос вырос в настоящего начальника. Наш покойный учитель Маракин в своё время ставил на меня, а вот Атоса и он проглядел.

Я маракинских надежд не оправдал, а вот мой одноклассник...

Внезапно тишину разорвал тонкий, очень страшный крик.

Так, по слухам, кричит заяц, когда его травят собаками, и он понимает, что не уйти. Это был крик не мольбы, а прощания с жизнью.

Мушкет подтянулся вверх и осторожно выглянул из-за естественного бруствера.

– Всё, можно выходить, – махнул он нам рукой.

Отряхиваясь, мы полезли наверх.

Там стояли аккуратно и коротко стриженные ребята в камуфляже. Перед ними лежали три тела – два безжизненных, а одно тихо стонущее.

От леса такие же ребята вели ещё троих – с поднятыми руками.

Атос о чём-то тихо переговорил со старшим группы, тот кивнул.

Бандитов обыскали и забрали оружие, ПДА и какие-то мятые бумажки. После этого старший из военных сталкеров принялся на скорую руку опрашивать выживших. Выглядело это так... Впрочем, лучше всего это описал классик: «Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясёт головой».

Но как-то не клеилось у них общение.

Вдруг один из тех, что был в лесу, внятно сказал:

– Чёрный-то Сталкер к вам придёт, Чёрный-то Сталкер вам за нас посчитает...

Как-то обречённо он это сказал, без особой злобы даже. При этом жутко окая, что придавало фразе несколько комичный вид. Ишь, «чОрный»...

– Да-да, – ответил ему командир. – Девочка-девочка, Чёрный гроб на колесиках уже катится по твоей улице, чОрный гроб на колесиках уже в твоей комнате... Послал кто?

Тот замотал головой, отказываясь говорить.

Одеты нападавшие были в удивительно неказистое обмундирование – заношенные высокие ботинки – у одного трупа ясно была видна дыра, откуда торчал кусок грязного носка, комбинезоны были рваные, за версту несло немытым телом.

– Отморозки какие-то, – вздохнул Мушкет. – Ошибка природы.

Я наблюдал за свежепойманными бандюганам и никак не мог понять, отчего их не свяжут, и только потом понял, в чём дело.

Стоявших братьев-разбойников повалили, и командир армейской группы аккуратно прострелил головы живым, а потом, для верности, – мёртвым.

– А ты чего хотел? – ответил на не заданный мной вопрос Мушкет. – Тут – Зона.

Экстерриториальность, юрисдикция ООН. Вот он сейчас бы закричал: «Требую суда Международного трибунала». Ну, здесь бы закричал – ответ один, а ну-ка на людях, а по ту

сторону кордона, если его туда, конечно, доставить. Формально нужно доставлять – трибунал, разбирательство, два свидетеля, смертная казнь отменена, три года сладкой жизни в Голландии... Так, что ли? Впрочем, голландцы теперь просто отпускают. Поэтому тут закон Зоны – тут с ними как с пиратами в море.

Веселья во мне это не вызывало, но я понимал, что своя логика у вояк есть. Тем более это были именно наши вояки, российские, из смешанного контингента.

Голубые каски, развешивающие пиратов на рее, меня бы ещё удивили, хотя я перестал давно удивляться поведению людей.

Люди всегда поступают неожиданно, и чем ты более уверен, что их понимаешь, тем неожиданнее их поступки.

– А ты знаешь, Николай Павлович, – сказал Мушкет, обращаясь к Атосу, – не пойму я, зачем они на нас насели, эти дураки. Ну, был бы вместо нас одиночный сталкер – понимаю, ну двое. А тут нас много, да ещё и видно, что толстые и мытые, с обеспеченными тылами...

– Сам не пойму, Олежек. Либо они нас с какими-то туристами перепутали, либо на нас конкретная наводка была. Второе хуже, это значит, мы кому-то не нравимся, причём именно мы. Тут с утра ефрейтор Шимански с Дембицким прошли безо всяких эксцессов.

А засада тут с вечера была, как нам сообщили внезапно умершие граждане, да и – судя по костру, они не врали. Вот только остальное они сообщать были не намерены, а пентотал в походных аптечках мы не припасли.

Я их слушал и понимал, что мы довольно далеко ушли от тех времён, когда все вместе сидели на дубовых откидных стульях в одной аудитории. У каждого из нас был свой опыт – я хорошо умел обращаться с биофизической аппаратурой, умел не грубить людям и знал, что, если мне сзади подмигнули фарами, нужно аккуратно притормозить машину у обочины, и, не выходя наружу, положить руки на руль.

У этих был другой опыт, хотя за последние дни у меня такого прибавилось.

Чего только не прибавилось у меня за отчётный период! Друзей вот только поубавилось.

* * *

Мы довольно далеко ушли по тропе от места встречи, и Мушкет, пожав плечами, подмигнул. Это означало, что полевой выход неудачен. Вернее то, что Мушкет по каким-то признакам понял, что Атос сейчас развернёт группу.

До этого мы представляли довольно странное зрелище – несколько грибников, бредущих вдоль тропы.

Именно грибников, хотя кто-нибудь другой мог бы принять нас за сапёров.

Но в отличие от сапёров у нас не было ни миноискателей, ни палок со штырями. В Америке я работал рядом с одним биофизиком из Израиля, который, как оказалось, служит сапёром. И один месяц в году бредёт со своими товарищами по залитой солнцем земле и тычет щупом перед собой. Я тогда, помнится, поразился тому, с каким философским спокойствием этот еврей относился к своей службе.

– Нет, – сказал он мне. – Никакого адреналина. Надо – так надо. Главное тут спокойствие и следование инструкциям. За десять лет у нас только один подорвался.

Мои товарищи брели узким фронтом вдоль холма, только детекторы у них время от времени попискивали. Шаг за шагом – только без миноискателей. Не помогут тут миноискатели, хотя хороший щуп тут не помешал бы.

По большей части мы собирали артефакты экзотических типов. Широко встречающиеся артефакты и прочие диковины в научном городке покупали у вольных сталкеров.

Каждый день, с шести до восьми.

Я сам видел огромный, в полстены, список артефактов. Названия шли сверху вниз, с пола до потолка, и каждое из них начиналось с международного кода. А код, в свою очередь, как пищевые добавки, начинался с буквы «Е». Тогда я спросил Атоса – отчего именно эта буква, и он, довольный, захохотал: «Молодец! Старая школа! Я тоже спросил, но никто не знает. Кроме тебя поинтересовался только один человек, а ведь это тест на вменяемость. Почему „Е“, зачем? Европейский союз? Или действительно, от пищевой индустрии танцевали? Я потом поднял документы, оказалось, что было решение МАГАТЭ.¹ Вернее, в отчёте INSAG-7 девяносто второго года есть приложение с перечнем тридцати пяти артефактов, так они там и называются с использованием индекса, перед которым стоит буква „Е“. А что, зачем, как – никто не знает. Но ты-то хоть спросил».

Итак, сталкеры толпились в момент приёма, курили, воняли своими нестиранными свитерами, а потом шли в бар «Пилов», где тут же и спускали деньги. Впрочем, шли туда не все – только если денег вышло больше, чем обычно. «Пилов» пользовался репутацией дорогого места, места для «чистеньких», и хозяин Алик мог запросто вытурить грязного сталкера, не говоря уж о том, что туда заходили офицеры из спецбатальонов ООН, украинские и русские вояки. Не всякому захочется светиться перед ними, даже если в карманах только деньги и вовсе нет ничего запрещённого.

Я так понимаю, если бы вольный сталкер пришёл бы в другое время, особенно если к своему знакомому, то сделка была бы более выгодной. А так – всё по закону, в пределах отпущенных бюджетов, разумеется.

Но отпущенные бюджеты были головной болью Атоса, а вовсе не моей. Атосу я был благодарен за другое и благословлял всякий его шаг.

Сейчас шаги Атоса были так же медленны и спокойны.

– До грузовика – и всё. Тридцать минут отдыха – и обратно, – будто слыша мои мысли сказал Атос. Всё-таки я хорошо его знаю, недаром мы учились в одной группе. И Мушкет учился с нами.

Мальчишеское братство неразменно на тысячи житейских мелочей – несмотря на то, что мальчишки несколько постарели.

Я оглянулся.

Над Зоной висели хмурые тучи. Удивительно, насколько тут одинаково плохая погода. Мушкет говорил, что погода зимой отличается только тем, что из таких же тёмно-серых туч валит не совсем белый снег.

Но, насчёт снега, я думаю, что он преувеличил.

Я, как и все, очень внимательно смотрел себе под ноги, трава была высока, и, несмотря на то, что мой детектор молчал, мало ли что там могло притаиться. Но воздух над насыпью не дрожал, не крутились нигде вихрем над воронками листья, ничего тревожного не было видно.

Вдруг я заметил очень странный цветок – сантиметров двадцать высотой, он как-то странно дёрнулся, хотя я на него не наступил – даже не коснулся его ногой. Я снова поднял ногу, и цветок проследовал за ней, повернув головку.

Я поднял руку, и все замерли.

– Тут цветок головой вертит. Оно нам надо? – громко сказал я.

Атос махнул рукой, и ко мне, аккуратно ступая, подошёл наш лысый биолог, ответственный за сбор биологического материала.

Он всмотрелся в цветок рядом с моим ботинком и произнёс.

– А, известное дело, это Радиационник Розовый, бывшая Радиола Розовая, которую учёные люди зовут латинским словом *Crassulaceae*. Не надо удивляться. Тут со всеми толстянковыми что-то странное случилось. Смотрите, Сергей Николаевич...

¹ МАГАТЭ (*IAEA, om International Atomic Energy Agency*) – организация по сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии. Основана в 1957 году.

Он, достав из кармана баночку с пипеткой, капнул на землю с высоты метра.

Растение метнулось головкой в сторону и поймало каплю, как собаки ловят брошенный хозяином кусок.

– Ничего интересного, если не считать, что корень фонит чрезвычайно сильно... Хотя погодите... Вот цвет у неё необычный – вот тут вместо жёлтого, а потом вот эта чёрная каёмка... Да ну её к чёрту, после следующего выброса будет что-то новое.

– Михаил Николаевич, ты всех задерживаешь, – нетерпеливо крикнул Атос.

И биолог резко пошёл на своё место. «Ловко он их вышколил», – подумал я.

Хотя видно было, что оружие у учёных тут больше для проформы – у лысого автомат висел стволом вниз, у того, что стоял поодаль, – стволом вверх, но на дуле был надет смешной красный гондон с пупырышками. Недаром выход охраняли два военных сталкера, но главное было в том, что мой товарищ чрезвычайно хорошо готовился ко всем перемещениям по Зоне.

Все эти мушкетеры «решили посмотреть», «а вдруг что интересное», были, видимо, в его прошлой жизни или же вовсе в воображении.

Нет, вышколили их точно – в бойцов, конечно, не превратили, но приказам подчиняться научили.

Оно и понятно, тут был мощный мотив – Атос сидел на финансировании из «RuCosmetics», а давно известно, что всякие чудеса тут же приспособляются либо для войны, либо для секса. Ну, или для порнографии. «RuCosmetics» обслуживала сексуальную составляющую – омоложение, битва против времени – пожалуй, это единственное, за что современная цивилизация готова платить большие деньги.

Быть сексуально привлекательным – вот что движет обывателями во всех уголках мира.

И несколько учёных на окладах под охраной двух военных сталкеров ковыряются тут ради того, чтобы на деньги молодых красоток и стареющих мужчин строить свои теории познания.

И десятки вольных сталкеров с больной требухой, превращающиеся к пятидесяти годам в живые развалины (а чаще всего в трупы в двадцать, тридцать и сорок), в первую или вторую ходку – в пищу для слепых собак или кровососов, или ещё какой-то дребедени, которую так художественно изображают в фильмах: учёный и сталкер, красавица и учёный, красавица и сталкер – кто кого? Нет, побеждает всех молодая шлюха, которая всех оплачивает.

Оплачивает в складчину.

И я аккуратно двинулся вдоль тропы. Несколько аномалий были чётко обозначены – мы честно покидались камешками в «трамплин», как то советовала инструкция. Камни вдруг меняли траекторию над примятой по кругу травой и, на секунду зависнув, со свистом вылетали под разными углами вверх. Хорошая была аномалия «трамплин», сочная и зрелая.

Слева от насыпи начинался луг – преддверие больших болот, справа – небольшой лесок. Если я ничего не путал и если ПДА своим разноцветным экраном не врёт, после отдыха нам нужно будет забирать вправо, мимо точки, обозначенной как разбитый вертолёт, с комментарием «смешная рожица».

Ну посмотрим, что это за рожица, только всё же отдохнём.

Мы не стали сходить со склона и сели на насыпь. Там внизу, метрах в двадцати, стоял грузовик, он был как новенький. Старый советский ЗИЛ-131 по прозвищу «крокодил», даже краска не облупилась. Только номеров не разобрать.

– Олежек, а это тот самый, у которого мотор с 1986 года работает?

Мушкет улыбнулся:

– Да не-е-ет, это совсем другой. Грузовик с работающим мотором – это давняя такая мультка. Этих работающих грузовиков даже несколько. Даже я один видел, думал – тот самый, полез к нему через какую-то осоку, чуть в воронку гравитационную не вляпался, а присмотрелся – обычный грузовик, только отчего-то не ржавый. Кузов пустой, водителя нет.

Одно удивительно: капот тёплый, но капот я открывать не стал.

Главное, что мотор не работает, а значит, это другой грузовик.

А это и вовсе не тот. Мы в прошлом году в него лазили – там в кузове груз был, крупа, судя по этикеткам. Всё мыши съели – ничего интересного.

Хотя в Зоне ни в чём нельзя быть уверенным. Мы тут ночью не ходили – а ведь придёшь, типа, ночью к такому грузовику, а у него фары светятся! Хехе.

Ладно, я пошутил, расслабься. Подумай, как я тебе утром говорил о чём-нибудь радостном. О разумном, добром, вечном. То есть, не о Зоне – Зона-то, может, разумная, точно – вечная, но ничуть не добрая...

Я послушался и примостился на камешке, предварительно тщательно его осмотрев.

Лёжа на склоне, усыпанном палыми листьями прошлого года, пожухшими, но высохшими теперь на жарком солнце, я начал вспоминать, как меня занесло в эту лошину. Воспоминания были невесёлыми.

Прилетел я на похороны, да и сейчас недалеко ушёл от этой темы.

Глава вторая

Софистика, пастор, софистика. Нам погибать не страшно – мы отжили свое, и потом, мы одинокие стареющие мужчины.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Шереметьево, 18 апреля. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Прилетел в Москву – не зевай. Москва – город суровый. Иногда поминки оказываются встречей однокурсников – но никогда не бывает наоборот.

Что я всегда ненавидел в наших аэропортах, так это таксистов, что встречают тебя в зоне прилёта. Не таможенников или пограничников, не очередь на выход, а именно таксистов, что стоят, крутя на пальцах связки ключей.

Они мне казались самыми страшными фигурами на границе. Впрочем, последние годы я прилетал редко – так уж совпало сейчас.

Я медленно, с хрустом, разводился – и мне повезло. Я много слышал об американских разводах, и сам их очень боялся. Воображение рисовало мне картины полного обнищания супруга и постоянные выплаты жене.

Но жена моя, даром что американка, была хорошей женщиной. Никто меня не обобрал, мы продали дом, поделили деньги, мне даже досталась большая часть. У неё была прекрасная работа и большая семья, а я был не самой удачной дойной коровой, даже если бы всё сложилось иначе.

Одним словом, развод прошёл по всем правилам и оставил у меня очень странное впечатление.

Так было в детстве, когда приходишь к зубному врачу. Он сажает тебя в кресло и начинает работать. Ты ждёшь прихода боли, какого-то ужаса, но вдруг тебя треплют по плечу и говорят:

– Очень хорошо, два часа не есть.

И ты понимаешь, что всё кончилось.

Итак я приблизился к таксистам, и они забормотали свои нескончаемые мантры под лязганье ключей. Они были всё те же, и несмотря на то, что они стали, кажется, азербайджанцами или иным восточным народом, их слова и интонация ничуть не изменились.

И тут меня окликнули, причём не по имени, а по кличке, которая ко мне приклеилась много лет назад, но потихоньку сошла на нет.

В Америке не было места этой кличке несмотря на то, что русских вокруг меня было немало.

А тут я дёрнулся и начал оглядываться.

Шпиона из меня не выйдет. Кто-то, кстати, мне рассказывал, что в тридцатые годы один из журналистов на Западе решил пошутить и крикнул в толпе, прямо над ухом советского наркома Литвинова:

– Эй, Баллах!..

Баллах – так звали советского наркома иностранных дел Литвинова на самом деле. Меер-Генох Моисеевич Баллах, вот как его звали, родимого.

Но советский нарком даже не повёл бровью. Восхищённые журналисты потом спросили наркома, как это ему удаётся, и тот ответил:

– Двадцать лет подпольной работы что-нибудь да значат.

Я жил в Америке уже больше десяти лет, и это не значило ничего, кроме того, что мне не быть хорошим шпионом и уж точно не быть министром иностранных дел.

– Арамис, ты, что ли? – вновь зазвенел рядом голос.

На меня смотрел мужичок в потёртой кожаной куртке.

Одет он был с некоторым шиком – меня всегда занимала эта деталь – вот скажет кто-то: «Потёртая куртка» – и сразу представляешь себе человека, сидящего на велфере,² или парижского клошара, а произнесёт твой собеседник: «Потёртая кожаная куртка» – и сразу образ другой. Богема, интеллектуалы, виски и «житан», Хемингуэй или, на худой конец, московские стилиаги из книг Аксёнова.

Я, кажется, знал этого человека. Лицо его проявлялось как фотография в кювете – тогда, в моём детстве, ещё нужно было печатать фотографии дома, окунать в кювету с проявителем белый лист и в неверном красном свете фонаря смотреть, как медленно проступает перед тобой чьё-то лицо.

Это был... чёрт, как же его фамилия. Саша, точно Саша, но фамилии я не помнил. Вот звали его...

– Планше. Я – Планше, помнишь меня? Мы же вместе на биофаке...

Точно. Это был он, но наши клички всё путали – я так и не вспомнил его фамилии.

Саша жил в общежитии вместе с Бидниченко из нашей группы. Я помнил, за что его так прозвали – во-первых, он всё время плевался. Когда мы отмечали поступление и крепко выпили на Ленинских горах, было жутко весело, Пенкин с гитарой, какой-то человек с гармошкой, купание...

Так этот Саша под конец потерялся, и Бидниченко нашёл его у реки, плюющим в воду.

Бидниченко утверждал, что человек, медитирующий над расходящимися от плевка кругами, обязательно станет учёным. По крайней мере этой серией экспериментов доказано, что он – прирождённый учёный. Тогда у Планше случились какие-то накладки с общежитием, и Бидниченко увёл его себе. Саша-Планше стащил у него одеяло и несколько дней проспал под этим одеялом на полу. Бидниченко пришлось обходиться вовсе без одеяла.

Я не видел Планше со времени окончания университета, впрочем, других ребят я тоже не видел.

А он, меж тем, махнул рукой:

– Подвезу, чего там. Ты ведь давно у нас не был?

Я-то не был давно и насторожённо смотрел ему в спину.

Оказалось, что машины у Планше нет, а ждёт его служебная, какой-то гладкий корейский обмылок. Шофёр был с виду растаман с дредами. Абсолютный нью-йоркец, будто бы он прилетел вместе со мной одним рейсом. (Я видел точно такого же в аэропорту перед отлётом, кажется, даже майка была такая же.)

² Велфер (Welfare) – система американской (и канадской) социальной помощи, пособия по безработице и т. п. Важная составляющая жизни многих русских эмигрантов.

Оказалось, что Планше давно бросил науку и работает в газете.

– Газеты умирают, – сказал я дружелюбно, чтобы поддержать разговор.

Водитель аж заклекотал от радости. На спине у него тут же отросло невидимое ухо. Видно было, что он любит свою работу ещё и за то, что слушает журналистские перепалки на заднем сиденье.

Но Планше радостно подтвердил:

– Да что там! Умирают, конечно! У них сейчас агония. То ли дело – Интернет. А ещё литература сдохла, понимаешь?

Я подивился такой профессиональной гордости, но виду не подал.

Он спросил меня, чем я занимаюсь, и я ответил. Я давно придумал этот ответ про косметическую хирургию. Мы были биологами, и в качестве реверанса нашему прошлому я говорил несколько слов о мембранах, о технологии передачи информации от клетки к клетке и о том, что омоложение – самая финансируемая отрасль цивилизации. Всегда получалось скромно и с достоинством, как занятие сексом с вдовой на похоронах.

К действительности это не имело прямого отношения, то есть всё было правда, и десять лет подряд я занимался информационным трансфером, но мою долю в клинике забрала бывшая жена и надо было признаваться в перемене участи. А признаваться не хотелось.

Сейчас он покивает головой и спросит об ускорителе нейронов.

Планше кивнул и произнёс:

– А как же ускоритель нейронов? Всё?

«Ускоритель нейронов» было название старое, неправильное, но название прижившееся. Его подхватили журналисты, начали раскручивать... А потом всё протухло.

Всё окончилось неприятностями и ужасом, и я оказался в Америке и теперь вот приехал на похороны.

– А ты ведь на похороны приехал? – спросил Планше.

Я согласился и для приличия сказал:

– А ты откуда знаешь?

– У меня работа такая. Я Маракину некролог писал. Никого не волнует, что я был в отпуске, – говорят: ты у него учился, ты и пиши. Ну и написал, стук-стук-стук по клавишам, последний раз окунулся в египетское море – и сюда.

– Да, в Египте я бы не стал купаться. Не та уже страна.

– Да, стрёмно.

«Стрёмно»... «Стрёмно» – странное слово. Было ли оно тогда, в прошлом, помню ли я его? Непонятно. Но то, что в Египте стало стрёмно – это определённо так.

– А тебя куда закинуть? – спросил Планше.

– На площадь Маяковского, там хорошо.

И он довёз меня до нужного места, порываясь войти вслед, набиться в гости. Но потом он понял, что я приехал к людям незначительным, в его, Планше, профессии не значимым, и быстро попрощался. Меня всегда удивляло это в хороших профессионалах – они никогда не хамят, но ты точно чувствуешь точку смещения интереса от себя к другим делам. Так врачи относятся к тебе с повышенным вниманием, а потом, когда кризис миновал, они лишь скользнут по тебе взглядом, но взглядом дружелюбным, располагающим к себе.

Просто их мысли заняты уже другим пациентом. Хороший профессионализм предполагает быстрое прекращение рефлексий, страданий по ушедшим и готовности к новой работе.

А вот рефлексия и плач о павших мне точно предстояли – завтра.

Завтра были похороны Маракина.

Я не просто учился у Маракина, хотя Маракин был моим учителем. Настоящим учителем (в этот момент прорывается ненужный пафос). Маракин под конец жизни не был даже заведующим кафедрой. Он был вечный завлаб, но для нас он был капитаном королевских мушкетёров, нашим де Тревилем.

А мы были его подданными, молодыми псами науки, мир лежал у наших ног, и я

вспоминал старый роман, где один старик жаловался в пространство: где, дескать, вам понять, как неделями, месяцами с отчаянием бьешься в глухую стену, исписываешь горы бумаги, исхаживаешь десятки километров по кабинету или по пустыне, и кажется, что решения нет и что ты безмозглый слепой червяк, и ты уже не веришь, что так было неоднократно, а потом наступает этот чудесный миг, когда открываешь наконец калитку – и еще одна глухая стена позади, и ты снова Бог, и вселенная снова у тебя на ладони... Впрочем, нет, тот старик, кажется, жаловался на женщину, что ещё хуже.

Жизнь нас пообломала и многому научила.

Оказалось, что исхаживать десятки километров по пустыне вовсе не нужно, оказалось, что наука вовсе не такая, как мы думали, и бюрократы равномерно распределены по земному шару, оказалось, что это дело теперь во многом коллективное, и целые коллективы радостно бьются в глухую стену годами и празднуют юбилеи этого занятия на корпоративных праздниках, а биться с советскими чинушами ничуть не сложнее, чем с хмурыми западными грантодателями.

Но тогда мы были «группой разработчиков нейронного ускорителя» с оригинальной идеей, не обременённые семьями... Нет, у Портога была какая-то стремительно развалившаяся семья, но подробностей я и тогда не помнил.

Мы были группой де Тревиля.

Так нас звали на факультете вполне в открытую, некоторые с завистью, а прочие с восхищением.

Девчонки так и таяли – ещё бы, мы копались в самом сокровенном – в человеческом мозгу, обещая сделать всех умнее (так они это понимали).

Самые красивые были на географическом факультете, самыми статными были биологини, филологини были утончёнными и в моду входила возвращённая литература, и одна третьекурсница как-то пересказала мне ночью всего «Доктора Живаго», не переставая заниматься... Впрочем, я увлёкся.

Моё прозвище было вполне заслуженным, хотя с тех пор я потерял на него право.

А теперь Маракин умер.

Я слышал, что он долго и тяжело болел, редко появляясь на кафедре. Были какие-то аспиранты, звёзд с неба в общем-то не хватавшие, его имя периодически выкидывали мне на экран поисковые машины – неизменно вторым или третьим в списке авторов. Маракин никогда не ставил себя первым в совместных работах.

Кажется, он так и не нашёл нам замены, и дело было не только в том, что рынок зачистил советскую науку, как звено вертолётов – афганскую деревню. Причины были куда более грустными – в несколько приёмов жизнь доказала несостоятельность Главной Идеи. То есть Маракин сделал многое на подходах, и мы сделали многое, но идея ускорителя, то есть встроенного, вернее выращенного внутри человека компьютера оказалась несостоятельной. Это было подобно странным экспериментам тридцатых, когда военные пытались скрестить танк с самолётом. Тогда приделывали к танкетке крылья, и пытались учить её летать.

Даже что-то выходило, но оказалось, что проще и дешевле возить технику внутри самолёта.

Так и здесь – компьютер оказался сам по себе, а человек сам по себе.

Мы жили в условиях компьютерного дефицита, так и шутили «персональный компьютер общего пользования» – потому что на слабенькие «эйтишки» записывались в очередь: молодые – в ночь, а уж всякие кандидаты – в удобное дневное время. А сейчас в кармане любого гопника лежит компьютер куда мощнее той бортовой машины, что осуществляла посадку на Луну.

И вот Маракин сломался – этого уже, слава богу, я не видел, а знал с чужих слов.

Он не начал пить (есть такой особый род профессорского пьянства, внешне respectable, но выедающего душу), так вот, оно его миновало. Но он как-то выгорел изнутри.

Это был старый стиль учёного шестидесятых годов – альпинизм и горные лыжи, отличный английский язык, автомобиль в те годы, когда автомобиль был роскошью, а не средством передвижения – все глухие стены сломаны и вселенная у тебя на ладони... И после своего поражения с привычным блеском он читал лекции, даже куда-то ездил. Приглашений было много, хотя над ним уже горел серый нимб основоположника красивой, но неудачной теории.

Да, с его дочерью случилась тогда трагедия, одно наложилось на другое, но, положив руку на сердце, он не был хорошим отцом. Вернее, он не был отцом, имея при этом не то пять, не то шесть детей. По-моему, всех этих брошенных детей он просто не замечал.

Он жил как диплодок с откушенной головой – по инерции продолжая двигаться в заданном направлении. Правда, палеонтологи мне говорили, что эта метафора неверна, но мне всё равно она нравилась.

Маракин жил и жил, а вот в последний день апреля, вернее, в Вальпургиеву, прости Господи, ночь, жить перестал.

Его нашли на даче, он сидел на веранде и смотрел на крону посаженного им клёна. Сосед окликнул его раз, потом второй, обиделся на молчание, а потом всё понял.

И вот я прилетел хоронить своё прошлое.

Моё прошлое умерло, настоящее было заключено в спортивной сумке на плече, а будущего у меня вовсе не было.

Знакомство с хозяином у меня было странным. Если бы Планше вспомнил его фамилию, то наверняка полез бы знакомиться заново. Мы все учились вместе, и Планше наверняка помнил нашего комсомольского секретаря. Но, слава богу, Планше оказался стремительным человеком с памятью лишь на *актуальное*.

С комсомольским секретарём мы дружили давно, а теперь оба находились в каком-то пространстве неудивления. Мы не удивлялись ни нашим паспортам, ни гражданству, ни то возникающему недостатку, то случающемуся безденежью.

В университете его звали Рошфором – зато, что он рано вступил в партию, работал на советского кардинала, незримую субстанцию, называемую «власть». «Власть» переменялась, и он стал работать на новую, всё такой же аккуратный, прилежный, завтракающий в галстук, ужинающий в галстук, спящий... Ну, наверняка он и спал в галстук.

Но потом с ним случилась какая-то неприятность, какая – непонятно. Я уже уехал, но даже издали было очевидно, что биография Рошфора претерпела серию ударов. Пришла к нему беда, и эта беда пришла навсегда. Его выкинули как треснувшую чашку.

Казалось, что чашка ещё годна, ещё держит чай, но трещина видна, и вот она на свалке. Жена от него ушла, дом опустел, да что там – этот самый дом собирались снести. Вот до чего дошла его жизненная неудача.

Я, кстати, помнил, как Рошфор вызывал меня на бюро комсомола факультета и клеил мне дело об аморальном поведении. Это была смешная история – я ходил к одной девушке с географического в общежитие Главного здания, а по общежитию ходил комсомольский оперативный отряд. Этот оперативный отряд ненавидели все – в нём была какая-то бессмысленная бюрократическая жестокость, и к этой жестокости там приучали мышинные люди в костюмах.

Только я расстегнул на географине бюстгальтер – страшный советский бюстгальтер с крючками, которые можно было, казалось, отжимать плоскогубцами, как в дверь постучали.

Тогда я залез за окно, на широкий плоский карниз. Это было рискованно – хоть карниз был широкий и летней ночью не было риска поскользнуться, я всё же стоял на высоте двенадцатого сталинского этажа, а это значит, на высоте восемнадцатого нынешнего.

Оперотряд зашёл в комнату, и, зная про карниз, начальник велел посмотреть за окном.

В метре от меня из окна высунулась ухмыляющаяся рожа моего приятеля Анвара по кличке д'Артаньян (он занимался фехтованием). Анвар поглядел на меня, сдерживая смех, и убрал голову.

– Там никого нет, – громко сказал он.

И тут моя подруга издала звериный вопль, вопль раненой оленихи.

– Нет? Никого нет?! Гады! – орала она и рвалась к окну.

Меня повязали, и Рошфор разбирал моё дело на бюро. Я отделался выговором, потому что весь университет услышал эту историю. С подругой у меня как-то разладилось, но она стала пользоваться бешеным спросом – отчего, никак не могу понять.

А с Рошфором мы потом сошлись, это отдельная длинная история. Так часто бывает: разведчики противоборствующих сторон потом легко находят общий язык, диссиденты работают вместе с чекистами, а бывшие враги лучше понимают друг друга, чем разные поколения соратников.

Но сумасшедшие девяностые кончились, и мы перестали видеться.

Я второй раз приезжал в Москву за последние десять лет и решил снова остановиться у Рошфора.

Дом его всё ещё стоял неснесённый, но подъезд стал уже заплёван и грязен. На место выехавших жильцов заселились какие-то неясные восточные люди, и пока я поднимался, они небольшими группами несколько раз пробежали мимо меня-то с клеёнчатыми сумками, то с лопатой, а последний раз – с обрезком водопроводной трубы длиной метра в три.

– Интересно, не отключили ли ему воду? – пронеслось у меня в голове, но выбора всё равно не было, и я стал звонить в дверь.

И хотя завтра были похороны и вообще тяжёлый день, я стал пить с Рошфором привезённый виски, а затем – горькую лебяную водку.

Похороны я позорно проспал. Я приехал на кладбище, когда народ уже разъезжался. Более того – это были не похороны вовсе, а тот странный обряд, когда родственники и друзья провожают покойного в крематорий, гроб скрывается в полу, а через какое-то время усопшего хоронят по-настоящему.

Один из старичков, что задержались на открытой площадке, сказал мне отчего-то очень поэтично: «Старик лежал в гробу как пойманная птица». Я догадался, что имелось в виду – видно, нос его торчал крючком. Большой у него был нос, да.

А всё уже кончилось, молодые уехали на поминки, а те, кто не ехал, стояли кругом и переминались с ноги на ногу. Это были какие-то старики, что вспоминали о квантовой физике, и какой-то задаче с нанолифтом, и о накоплении статистических ошибок. Это была какая-то другая наука, даже не та, которой я занимался в своё время.

Наука пятидесятых и шестидесятых, времени радостного позитивизма. Странное это было ощущение, будто я стоял среди последних могикан, обсуждавших свои исчезнувшие обряды.

Я знал, что у Маракина была целая куча детей – пятеро или шестеро. Правда, все они были от разных жён. Жён он бросал, как только они начинали мешать науке, а дети ему были интересны только в тот момент, когда он мог при них излагать свои теории. Я это как-то видел – маленький мальчик кивал головой как китайский болванчик, а Маракин рассказывал ему о молекулярной биологии. Зрелище было ужасное, надо признаться.

Но уж я точно был не судьёю моему учителю.

На похороны пришла одна дочь, не та, о которой я знал, а вовсе неизвестная мне девушка – старики так и не назвали её имени.

Остальные дети отплатили бросившему их отцу брезгливым равнодушием. За что боролся – на то и, дескать, напоролся.

Поздоровавшись с кем-то и одновременно попрощавшись, я, уже не торопясь, поехал к Маракину домой.

Дорогу эту я забыть не мог, и точно – даже дверь не поменялась. Кодовый замок в подъезде был сломан, и я беспрепятственно поднялся на третий этаж, где дверь квартиры была полуоткрыта.

Первым я увидел Атоса. Чёрт, как он был благороден – прошедшие годы его только

красили.

Он и у нас на курсе был молчаливым красавцем, а теперь, с проседью на висках, стал похож не то на знаменитого скрипача, не то на Джеймса Бонда. Он казался аристократом, причём не имея никаких аристократических корней.

Впрочем, это был очень простой рецепт – когда мы все ржали как лошади, он только улыбался. Когда мы давились словами песен и анекдотов, он молчал.

Сейчас он занимал какой-то крупный пост в «RuCosmetics», где занимался, кажется, чернобыльскими артефактами применительно к дерматологии, то есть слабыми воздействиями на биологические структуры. Я считал это немного шарлатанством, поэтому, когда Атос заезжал ко мне в Америке, особо не расспрашивал его об успехах.

Впрочем, статьи его я читал, и особого шарлатанства не обнаружил: типа – «О лечении экземы наружным применением препаратов артефакта E1333/a».

Он был чуть старше нас, пришёл к нам после армии и рабфака. Поэтому среди нас, бывших школьников, он казался стариком.

Атос сразу съехал из общежития и жил за цирком, в съёмной квартире. Хозяйка была москвичка, женщина из тех, про которых говорят: «Сорок пять – баба ягодка опять». Эта женщина сложной судьбы делала ему вполне определённые авансы, но за несколько лет, кажется, так и не растопила его сердце.

Пьянок дома он никогда не устраивал, и я только несколько раз попал в эту квартиру. Однокомнатная квартира в блочном доме – очень чистая. Просто даже вылизанная, с персональным компьютером, который стоил тогда почти как подержанная машина.

Этот компьютер ХТ долгое время был предметом вожделений Портоса. Он готов был отдать десять лет жизни за право поставить его к себе на время, чтобы зазывать наших однокурсниц поиграть в диггера.

Однажды он так достал Атоса, что тот вывернул карманы (денег оказалось неожиданно много) и предложил всё за то только, чтобы не возвращаться к этому вопросу.

Портос устыдился, и больше мы к этому не возвращались.

Портос, впрочем, тоже уже был здесь. Я узнал его по громкому голосу – несмотря на скорбный день, Портос орал на кухне. Он всегда говорил громко, и ему было наплевать, слушают его или нет. Наш друг разговаривал ради собственного удовольствия – ради удовольствия слушать самого себя. Он говорил обо всем, за исключением той самой науки, которую грызли мы вместе. Кажется, получив диплом, он радостно протиснулся сточным знанием и принялся заколачивать деньги.

В отличие от неудачников, что начинали с перепродажи некрупных партий мыла (я ещё застал таких научных сотрудников), он сразу стал работать на крупные корпорации, связанные с медициной.

Жизнь его удалась, хотя веса он не сбросил.

Есть такой тип – жизнерадостного толстяка, пышущего здоровьем.

Вот именно таким и был Портос. Единственно что – одевался он ужасно. Я никак не мог понять этой привычки моих сверстников, что разбогатели в России. Они одевались так, как одевались в Америке сутенёры средней руки. Некоторые из моих сверстников нанимали специальных имиджмейкеров, но это помогло не всем.

Портосу, я знал, не помогло вовсе.

Друг мой Портос сейчас рассказывал о своей бывшей жене – простодушно и искренне, оставляя у всех присутствующих ужасно неловкое ощущение. Видно было, что жену он любил, а она, судя по всему, весь недолгий их брак оставалась подобием пластмассовой короны для ароматизации салона в автомобиле.

Из боковой комнаты вышла Наталья. (Она всё время поправляла тех, кто её так называл, потому что Наталья и Наталия – разные имена. Я думаю, что это для неё превратилось в своего рода спорт. Раз за разом она поправляла и поправляла – в анкетах, статьях и по телефону.)

Наталья-Наталья была не просто главной девушкой нашей группы, есть такая кадровая позиция «самая сексуальная девушка курса». Это не самая красивая девушка, не самая изящная. Это именно такая девушка, от которой у мужиков начинает течь слюна. У преподавателей текло, да и студенты были молоды, и со слюнными железами у них всё было нормально.

Сплошная физиология.

В общем, зрелище это было неприличное, и тем неприличнее было то, что Наташа была умна.

С глупыми студентками такого рода всё проще, они с некоторой успешностью выходят замуж, повышая свой социальный статус и накапливая капитал. Чаще всего они потом сталкиваются с какой-нибудь проблемой, начинают попивать дорогой алкоголь, грузнеют, если муж-богач хочет детей – неохотно рожают, и вот уже звенит звоночек. На встречах однокурсников они служат общей радости: «Гляди-гляди, а как подурнела! Фуфф!» – и давний однокурсник с разбитым в давние времена сердцем теперь с нежностью смотрит на преданную жену – милую и работающую.

Наташа была не из таких, это был эталон цинизма и прагматики.

Она, в общем, сделала себя сама и добилась успеха – не через постель, а через комбинацию удивительно рационального мышления и постелей.

Я знал её историю в подробностях, потому что она часто использовала меня как бесплатного психотерапевта. Мы вели многочасовые беседы по телефону, и это был хороший обмен.

Иногда мне было обидно, что к телу допускались уже совершенно какие-то ужасные убудки, но потом во всём находился какой-то удивительный смысл.

Сейчас я думаю, что без неё бы история нейронного ускорителя окончилась не начавшись.

А она была катализатором удивительного свойства – наша группа в итоге стала похожа на группу вооружённых людей на картине французского художника Делакруа «Свобода с голыми сиськами на баррикадах». Мы были вооружены и отчаянны – кто бы сомневался! Но главное, что наше знамя держала самая сексуальная девушка курса.

Причём ей как-то удавалось держать дистанцию с любовниками бывшими, нынешними и будущими. Самое сложное для таких женщин в компании – равноудалённость от мужчин. Нужно либо спать с одним, либо вовсе ни с кем. Всё остальное – рискованно.

Как-то наша компания поехала в город Мышкин. Там я вышел прогуляться морозной ночью – прихватив с собой д'Артаньяна с Портосом.

Шли мы по ночной дороге, вокруг лежала мягкая зима, точь-в-точь как на рождественских открытках. Падал пушистый снег, а сугробы светились мягким светом.

И вот вдруг друзья мои остановились и одновременно спросили:

– Скажи, брат, а ты с Наткой... Ну, ты её... Ну, тово-с?

– Нет, увы, – потупился я.

Тогда они упали передо мной на колени. Они упали в снег, будто им подрубили ноги и подняли руки, заорав хором:

– Прости нас, друг!

И крик этот, дясь с той зимней ночи, нескоро ещё достигнет отдалённых звёзд.

Я часто думал, скорбеть ли мне об упущенной выгоде – руководствуясь замечанием писателя Набокова о том, что нет ничего более пошлого, чем такое сожаление упущенного случая. Впрочем, потом я нашёл цитату получше: «Я часто спрашиваю себя: если, допустим, Гаррис начнет новую жизнь, станет достойным и знаменитым человеком, попадет в премьер-министры и умрет, прибьют ли на трактирах, которые он почтил своим посещением, доски с надписью: „В этом доме Гаррис выпил стакан пива“; „Здесь Гаррис выпил две рюмки холодного шотландского летом 88 года“; „Отсюда Гарриса вытолкали в декабре 1886 года“?

Нет, таких досок было бы слишком много. Прославились бы скорее те трактиры, в которые Гаррис ни разу не заходил. „Единственный кабачок в южной части Лондона, где

Гаррис не выпил ни одной рюмки“. Публика валом валила бы в это заведение, чтобы посмотреть, что в нем такого особенного».

Училась она блестяще – по-настоящему блестяще. Я как-то подслушал её разговор с Маракиным. Тот, подняв палец, говорил:

– Наташенька, помните: в науке женщина не равна мужчине. Она должна быть на полголовы, на голову выше мужчины, можно по этому поводу сожалеть или писать бессильные феминистские статьи, но это так.

Не знаю, как на голову, но уж на полголовы выше большинства наших однокурсников она была – и за этот и прочие таланты она получила кличку Миледи.

Мы-то что, мы так друг друга и называли – именами из французского романа, вернее, из советского фильма, который давно уже у всех навяз в зубах. Миледи почти никогда так не звали в глаза – но всегда именно так о ней говорили в её отсутствие.

Итак, Миледи вышла ко мне и улыбнулась – улыбнулась своей *особой* улыбкой. Я понял, что она даже похорошела.

«Наверное, она всё-таки продала душу чёрту», – подумал я, улыбаясь ей в ответ.

Поминки получились очень странные, вовсе не казённые. Я уже бывал на таких поминках – среди интеллигентов-шестидесятников. После третьей рюмки люди расслаблялись и вспоминали переиначенный завет классика: «Не плачьте, покойник был человек весёлый и этого не любил». То есть после пятой рюмки появлялась гитара, затем пели, рассказывали смешные истории из общей жизни, и вообще поминки превращались в странное подобие дня рождения.

Так вышло и здесь.

А через некоторое время мы обнаружили, что остались только самые близкие – собственно, группа Тревиля. Ушли и маракинская сестра, и дочь Маракина – оказалось, что они давно жили в других квартирах и других семьях. Маракин доживал свой век один.

Много лет назад наш капитан Тревиль позвал нас в эту квартиру.

Мы так же сидели за столом – только вот закуски были куда беднее. Не в пример этому скорбному столу были закуски.

Но именно за этим столом Маракин изложил нам теорию аппаратного усилителя мозга человека. Вкратце, суть сводилась к тому, что в мозгу у человека выращивался микрокомпьютер, позволявший дополнить человеческое сознание машинной логикой и чётким структурированным хранением информации.

То есть сознание оставалось при своих, но при желании человек мог включать этот компьютер и поступать абсолютно рационально – как машина.

В разы возрастала реакция, совершенно по-другому оценивалась ситуация – можно было чётко отделить рациональные доводы от эмоциональных. Но, что самое главное, упорядочивалась память – по сути, человек ничего не забывал.

Нанолифт перемещал атомы в различной конфигурации, и, по сути, информация хранилась в чрезвычайно малой упорядоченной области – слишком крохотной для того, чтобы помешать нормальному функционированию головного мозга.

Сначала произошёл удивительный прорыв. Обезьяна с выращенным имплантатом прожила нормальную обезьянью жизнь, сдохла от честной обезьяньей старости, но при этом было непонятно, как имплантат работает. То есть обезьяна в серии опытов что-то запоминала, но не сказать, что крыла всех своих товарок по интеллекту.

Это тогда журналисты написали, что «обезьяна стала сверхчеловеком», меж тем обезьяна была обезьяной. Мы все были материалистами, даже Портос, что держал свечу в церкви на каждую Пасху – поэтому мы понимали, что мы не производим сверхобезьяну, а даём ей инструмент.

Но при этом мы не могли понять, пользуется ли она этим инструментом или нет. Поди объясни обезьяне нужность крохотного образования в её мозгу.

Итак, мы днями и ночами не вылезали из лабораторий. Маракин по каким-то своим каналам связался с военным госпиталем и стал понемногу секретить тему. Мы роптали, но сейчас я понимаю, что наш шеф поступал совершенно логично – он как лось, ломящийся через кусты и молодые деревца, старался попасть в закрывающуюся дверь тогдашней науки. Пока не подняли голову журналисты, которые будут писать о новых экспериментах доктора Моро, пока не начали травить и давить академические коллеги, пока не обложили чиновники.

Дело было не только в приоритетах – во всём мире начали угрюмо смотреть на генную инженерию. Комиссии по этике исправно пилили бюджеты и заседали непрерывно.

И вот Маракин старался успеть главное, пока его не связали по рукам и ногам. Он был похож на командира танка, что въехал с экипажем в незащищённое место обороны противника, и зная, что его сожгут, старался уложить побольше врагов.

Сожгли нас быстро, и история с дочерью Маракина поставила крест на всём.

Для меня до сих пор непонятно, как это произошло – отчего Маракин согласился сделать эксперимент на ней. Да, у неё была опухоль, все знали об этом. Да, она сама хотела своего участия в эксперименте, но всё можно было сделать иначе.

Однако мы пребывали в каком-то угаре этой стремительной гонки, ветки били нас по лицу – и мы утратили контроль за реальностью.

Констанции сделали операцию в военном госпитале. Опухоль была удалена, а имплантат прижился.

Она прожила со счастливой улыбкой три месяца, а потом что-то произошло, и она сошла с ума. Она жива до сих пор, но, кажется, никто из наших, кроме Атоса, её не навещал.

И тут наш лось, наш зубр, начал замедлять бег.

Ему перестало хватать воздуха, и не личное горе было тому причиной. Мне всё-таки кажется, что дочь была для него не на первом месте, то есть он по-своему горевал, но ему, по сути, было плевать на людей.

Плевать ему было на страдания, ему нравился сам путь научного познания.

А познанию его мешали, и скоро нашего Тревиля стреножили.

На ногах у лося уже висели прокурорские работники (дело так и закрыли без последствий), коллеги-биологи (с того года он попал в вакуум, и ни одна его статья не была напечатана), но я думаю, что ему было наплевать. У Маракина отняли лабораторию. Ему остался только лекционный курс и какие-то боковые отвилки теории – исследования по раку, трансфер информации между клетками... Всё то, что сейчас напоминает торную дорогу или рыночную площадь. Всё то, где он был «один из», а вовсе не «первый и единственный».

Незадолго до конца я предложил себя в качестве подопытного кролика, об этом мало кто знал, потому что это была тайная попытка вскочить на уходящий поезд. Никто из членов группы не знал об этом, кроме нашего Тревиля.

Операция прошла неудачно, имплантат так до конца и не вырос, но я отделался легко – у меня стала болеть голова при любом изменении давления. Нам удалось сохранить это в тайне, хотя, кажется, Атос о чём-то догадывался, да может, ещё Миледи насторожилась.

Портос был по-прежнему беспечен, тем более его уже сманивали в большой бизнес, д'Артаньян сам собрался уходить, группа редела как под неприятельским огнём.

На нас смотрели, как на прокажённых, так всегда бывает, когда тебе несколько лет завидуют, а потом ты оступился, и тебя не то что топчут, а говорят о тебе брезгливо и снисходительно.

Вот тогда-то я и уехал.

Это была возможность начать жизнь наново, причём мне предстояло не мыть пробирки в неизвестной лаборатории, а заниматься честной биологией. Тем, что было схоже с маракинскими темами, но куда более приземлённо.

Дела пошли хорошо, я женился и у нас уже была своя лаборатория, по сути, клиника – правда, пока для домашних животных. Мы научились многому, и тут опять что-то разладилось. Так бывает: внешне ты кажешься людям чрезвычайно успешным, а внутри себя

понимаешь, что где-то продешевил.

Вот о чём я думал, когда сидел за столом в квартире нашего умершего учителя.

Наш капитан де Тревиль умер, мушкетёры были разбиты и, зализав раны, пристроились на должности гвардейцев кардинала, бакалейщиков Бонасье и охранников Фельтонов.

И тут я безобразно напился.

Так я не напивался с того самого момента, когда приехал в Америку и через полгода испытал дичайший стресс от бессмысленности своей жизни. Тогда я напился в одиночку, а тут, к своему позору, напился среди своих.

Я кричал что-то вроде: «Мушкетёры! Прочь плащи, мы недостойны их! Ломайте шпаги!».

Увёз меня, как ни странно, Портос.

Он, вернее, его шофёр, погрузил меня в машину и увёз куда-то за город, в коттедж Портоса, и я проснулся в комнате, которая ещё хранила запахи его жены – оказалось, что они с Портосом спали раздельно.

Совершенно мутный, шатаюсь, я спустился на первый этаж, где уже сидел Портос, и мы начали пить дальше.

Оказалось, что мы одни в доме, за нами следили только хамские камеры наблюдения, с помощью которых Портос и увидел, какие странные формы приобретает общение его жены с прежним шофёром, подругами по спортивному клубу и даже соседом-чекистом.

Портос был вполне обеспечен провизией, и мы провели день не выходя из-за стола.

Я искренне завидовал старому другу – в конце концов, он был оптимист и вовсе не считал всё это жизненной неудачей. Вообще, кажется, неудач у него в жизни не было.

Он увлекался всем – приготовлением утки по-пекински, шашлыком, хлебопечением, домашним вином, дачным самогоноварением, рыбалкой и охотой.

Он показал мне коллекцию ружей – действительно, их было два десятка в специальных шкафах, и многие вполне антикварной ценности.

Это была странная коллекция в стране, где на руках было полно оружия, меж тем купить его официально было очень сложно.

Охота для Портоса стала светским делом – то есть делом, о котором небрежно говорят чисто вымытые люди.

При этом они часто не покидают пределов своей квартиры – рассуждать о хромированных стволах и их стойкости к коррозии – да-да, отвратительно, старая сталь начинает портиться уже часа через два после стрельбы, а вот... – в таком тоне я некоторое время поддерживал с ним светскую беседу. Он не выезжал никуда – даже палить, даже на стенд, не говоря уж о стерильной экскурсии в лес на убоину под руководством егеря.

Знал бы он, сколько я отстрелял на американском стенде, впрочем, сказать это тогда стало бы верхом неловкости.

А так-то коллекцию охотничьих ружей оживляли виньетки с курками, стволами и прицелами на каждой полке.

В рамочках висели и чудесные цитаты из классики: «В то утро он сам зарядил Эшу ружьё, заложив в магазин сперва бекасинник, потом третий номер и напоследок картечь, чтобы она первой попала в патронник...» (У. Фолкнер. «Медведь»); «Заткнись! – крикнул чернобородый. – Твоё ружьё само всё расскажет. Они осмотрели ружьё Смока, сосчитали заряды, проверили дуло и магазины. – Один выстрел! – сказал чернобородый» (Дж. Лондон. «Смок Белью»); «Потом я взял своё ружьё и решил пройтись к Боскомскому омуту, чтобы осмотреть пустошь, где живут кролики; пустошь расположена на противоположном берегу озера» (А. К. Дойл. «Тайна Боскомской долины»).

Здесь – метафизическая история холодного оружия, начиная от дубины Каина – на итальянском барельефе, где лица стёрты временем, только она, древняя палица, выглядит чётко и ясно.

В ружейной комнате Портоса повсюду висели фрагменты картин с ружьями и мечами. «Пятёрка его дизайнеру», подумал я.

Там, на больших картинах, вовне, шла неизвестная жизнь, но тут, откадрированная дизайнером – холодная притаившаяся смерть. Тут были гольбеиновские бархат и кружева, чья-то холёная рука на эфесе; вот арбалетчик спит, обхватив своё оружие как жену, пальцы неизвестного японца на мече вакидзаси.

Итак, это действительно мир оружия – Портоса тут окружали страны и континенты, обычаи и правила боя, но ещё это и художественный альбом, где живопись чередуется с фотографиями шпаг и кинжалов. Оружейный декор времён войны двенадцатого года плавно переходил в гравировку, рисунки травления и инкрустацию современных авторских шпаг и палашей, кованных в Златоусте.

Надо мной висел Зульфакар, восточная сабля, что ведёт род от священного меча мусульман – с раздвоенным клинком.

(После виски и рассказов Портоса я уже не совсем был уверен, что это копия.)

Вязь на турецких мечах гласила: «Нет героя, кроме Али, нет меча, кроме Зул-Факара». Впрочем, энциклопедия хмыкает: «Боевая эффективность такого оружия сомнительна».

В хрустальной горке застыли церемониальные ножи туми, которыми индейцы резали горло во время жертвоприношений – по мне, так больше всего они были похожи на наши ножи для рубки капусты, только хмурился с их рукоятей угрюмый бог инков...

Портоса несло – из него сыпались без передышки истории про торчащий посреди хижины меч, про то, как свистят при ударе мелкие жемчужины внутри восточного клинка, как выглядит булатный слиток – круглая заготовка будущей сабли.

Он говорил о мистике холодного оружия, о том, как живёт оно своей особой жизнью – будто живое существо.

Между рассказом о ружьях «Зауэр» и сказками о ружьях Гейма Портос начал рассказывать о том, как повышались цены на охотничьи ружья во время Первой мировой войны, о тёмной судьбе великолепных экземпляров: «В первое время большая часть ружей была укрыта людьми в известный „земельный банк“, где они частью нашли свой последний и безвременный приют, а частью же вышли оттуда в большей или меньшей степени испорченными». Но что за «земельный банк», что за «известная» история с ним связана, почему там хранили ружья – это я упустил.

В таких случаях я предполагаю, что человеку кто-то «напел», и он гладко выучил по написанному. Такое с богатыми людьми бывает, но мне так думать не хотелось.

Портос рассказал о том, как и сколько стоило охотничье ружьё к концу НЭПа. Цена прыгала и падала как стреляный заяц – в зависимости от сезона и политической погоды – «Новый! Новый, дорогой при реальной цене раз в десять больше, штуцер Скотта много лет лежал на витрине „торгохоты“, никем не покупаемый при цене всего в 40 рублей вместе с ящиком»!

Портос орал, будто дело шло о жизни и смерти:

– А это объясняется особым отношением нашей чёртовой власти к нарезному оружию! И сейчас тоже!

* * *

Правда, под конец мы всё-таки немного поругались.

Он припомнил мне давнишний роман с Констанцией, и мне нечего было ему сказать кроме того, чтобы сострить по поводу его жён. Мы поорали друг на друга и снова выпили.

Потом я провалился в небытие и снова обнаружил себя в розовой комнате с золочёными рамами. Жена Портоса представляла собой образец вкуса.

Теперь мне было гораздо лучше, я оделся и пошёл искать хозяина.

Портос не откликнулся, и скоро я понял почему.

Он лежал на полу в неудобной позе.

Поза была неудобной, потому что заряд дроби вынес ему половину груди. Я подумал, что он умер мгновенно – при такой-то дырке, и ещё раз тупо посмотрел в удивлённое лицо

Портоса.

Рядом лежало одно из ружей, с которыми мы вчера игрались.

Нет, я как-то не верил, что застрелил однокурсника. Всяко бывает с людьми по пьяни, но – нет, это был какой-то дурной сон. Я пробежался по дому – все двери и окна были закрыты. Понятно, понятно, что тут множество моих отпечатков, да и камеры...

Я ещё раз выглянул в окно и увидел, как снизу, по крутой дороге к дому Портоса, медленно ползёт милицейская машина.

Тут паника захлестнула меня, и я побежал. То есть я тихо, крадучись, вышел из дома, открыл калитку в заборе и принялся спускаться вниз к реке.

Тут был бурелом, но я как-то преодолел его без потерь, пробежался вдоль ручья, на ходу соображая, куда бы мне податься.

Наконец я выскочил на трассу, то есть на одну из тех широких дорог федерального значения, которые расходятся лучами от Москвы.

Я влип, решительно влип.

В шахматах это называется «цугцванг» – когда игрок начинает суетливо делать вынужденные ходы.

К кому я мог обратиться за помощью? К несчастному Рошфору? Ну да, я мог отсидеться у него пару дней, пока за мной не придут.

Бежать в аэропорт? Не факт, что я успею.

Притвориться бомжом на московских улицах?

Да я не бомж – слишком гладок, и кто поймёт, какие у них порядки.

Добравшись до города, я превентивно снял побольше денег с карточки и, сидя в какой-то забегаловке, стал думать, к кому обратиться.

Глава третья

– Я не сержусь. Наоборот, мне очень дорого, что вы так заботливы...

– Заботлив? – переспросил Штирлиц. Он испугался – не сразу вспомнил значение этого русского слова.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Москва, 21 апреля. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Русская женщина – всегда спасительница, хоть и русский мужнина – разрушитель. Старость не радость, а молодость в тягость. Бегство всегда – маленькое поражение.

Я прикинул, стоит ли мне заходить к Рошфору.

По всему выходило, что не стоит. Что мне там делать – забирать свитер и смену белья. Теперь не голодные годы, всё это я могу купить за углом. Документы у меня были при себе, единственное, что там было ценного, так это зарядное устройство для мобильного телефона – но и его можно было тоже купить в ближайшем киоске с проводами, флэшками и прочей требухой. Эти киоски я видел повсюду.

Куда интереснее было понять, куда двигать.

Я внимательно пересортировал содержимое карманов и отложил визитную карточку Планше.

Именно Планше я собирался позвонить, но решил сделать это из телефона-автомата. Однако тут-то меня и ждало открытие – никаких телефонов-автоматов я найти не мог.

В итоге оказалось проще купить дополнительную сим-карту. Ими торговали прямо у перехода, причём не спрашивая никаких документов.

Телефон Планше не отвечал.

Тогда я решил снова найти какое-нибудь заведение, где можно было посидеть, стуча по клавишам и на всякий случай дистанционно привести в порядок свои дела.

Если меня заключат пожизненно в *GULAG* (тут я невесело усмехнулся), то нужно предусмотреть, как переводить средства с карточки в тюремный ларёк. Или как там у них теперь?

Я пошёл по бульвару, крутя головой.

Я несколько забылся, крутить нужно было меньше, потому что я тут же наскочил на женщину. Она обернулась и возмущённо посмотрела на меня.

Мы тут же узнали друг друга – это была маракинская дочь Ксения.

Я лежал в маленькой ванне и отмокал. Я рассказал Ксении всё, что видел или почти всё.

Вернее, рассказал свою историю ровно настолько, чтобы она могла оценить свои риски. Когда я прилетел в середине девяностых, у каждого из моих знакомых была история с трупом. Кто-то ночевал с мёртвым наркоманом в одной квартире, у другого на работе отравили начальника с помощью телефонной трубки (отравилась за компанию ещё и секретарша), рядом с кем-то в ресторане застрелили бизнесмена, а кому-то самому угрожали смертью за просроченные долги.

Но теперь гайки закрутили, трупы на улицах не валялись, да и медведи по этим улицам не ходили.

(Меня всегда восхищала готовность моих американских друзей увидеть на московских улицах медведя. Потом я понял, что это вовсе не от желания утвердиться в дикости русского народа. Когда американский студент прилетал в Индию, он с некоторым умилением наблюдал священных коров, бродящих в непосредственной близости от его гостиницы.) При этом кто-то из друзей рассказывал мне, как весь полёт до Москвы объяснял своему попутчику, что никаких медведей в столице России нет. И тут же, выйдя на взлётную полосу, они увидели, как цирковая труппа ловит вылезшего из клетки медвежонка. Попутчик моего приятеля заглянул ему в глаза и улыбнулся – ничего, дескать, не говори. Я всё, дескать, понимаю и щажу ваши национальные чувства.

Но я отвлёкся.

Наверное, надо было сдаваться милиции, но только для этого нужно было понять, как всё тут устроено.

А понять это нужно было, чтобы не наделать глупостей.

И я снова позвонил Планше.

Планше довольно бодро ответил мне, и мы (не телефонный разговор, да. Да, я тоже понимаю. Встретимся у Огарёва) *забили стрелку*.

«У Огарёва» – это было для тех, кто понимает.

Место это было обозначено памятником, потому что считалось, что там, на Воробьёвых, потом Ленинских, а теперь снова Воробьёвых горах, Герцен и Огарёв поклялись друг другу. В чём поклялись и зачем – этого никто не знал. В нашем поколении было принято клясться, клятва – это было нечто нормальное. В конце концов мы были ещё тем поколением, что занималось клятвами постоянно – пионерскими, военными и прочими.

Место было прекрасное, потому что сразу было видно, кто тебя ждёт.

Ещё издали я увидел грузную фигуру Планше.

Мы поздоровались, и я спокойно изложил ему всё то, что приключилось со мной за последние два дня (опустив, правда, встречу с Ксенией).

Если бы положение моё не было таким ужасным, я бы, наверное, рассмеялся, наблюдая, как на лице Планше борются два чувства – профессиональная радость журналиста, обнаружившего интересную тему, и необходимость эту радость скрывать.

Он был хороший парень, но, в конце концов, я знал, на что шёл, встречаясь с ним. Я шёл к нему как к врачу – ну да, подцепил дурную болезнь, никто не застрахован, «на родной сестре можно триппер поймать», как говорил покойный Портос. Что ломаться-то, вопрос в лечении.

Планше тоже велел подождать – до завтра.

Я вернулся в квартиру Ксении и обнаружил, что она собрала мне вполне годную одежду – оказалось, её бывшего мужа. Мы сели за стол и начали долгий разговор, в ходе которого с меня постепенно слетела обычная ирония и цинизм.

Вечер валился на Москву.

Что было хорошо в её квартире, так это вид из окна. Дом был высокий и стоял на холме близ Садового кольца, с его внешней стороны. Поэтому с его верхних этажей было видно пол-Москвы, включая Кремль. Закат сделал всё небо красным, и новые крыши элитных домов горели в нём негасимым пожаром.

Ксения вдруг спросила, помню ли я её тогда, в свои двадцать лет.

Я медленно, будто верньером, открутил время назад.

Тогда я ухаживал за её сестрой и мало обращал внимания на девочку-подростка, что жалась к косяку маракинской квартиры. Иногда мы посылали её в магазин, когда нам было лень отрываться от разговоров о науке. Сейчас я понимаю, какими жестокими мы были, и не только к этой девочке.

Как отвратительно самонадеянны мы были, но это всякий понимает про себя, когда вспоминает прошлое и себя в нём.

Ксения сказала, что прекрасно помнит, во что я одевался: в полосатую самовязанную кофту, застёгивающуюся на молнию. Точно – я уже и забыл про это сам, точно: самовязанную, с чёрной молнией-трактором, страшным в то время дефицитом. Кофта была вязана из голубых, синих и чёрных ниток, её связала моя мать. И вот я забыл всё это, а она помнила.

Ксения вдруг положила свою узкую ладонь на мою руку.

– А ведь я, Серёжа, была влюблена в тебя тогда.

Она закинула голову и медленно выдохнула.

– Я тебя больше жизни любила, а нашу Констанцию вовсе хотела отравить.

– Это Миледи может отравить Констанцию, а тебе нельзя.

– Я знаю. Знаю. Но всё равно – очень сложно смириться с судьбой не Констанции, а этой девочки-служанки... Англичанки... Как её звали – Китти? Бетти? Ты помнишь, как её звали?

– Кэт, кажется.

– Да. С этой ролью смириться сложно, но я смирилась, я понимала, что вы все меня просто не замечаете, поэтому прожила целую воображаемую жизнь с тобой, в которой мы ругались, ссорились, сходились и расходились.

А потом я поступила на филфак – отец этого, кажется, так и не заметил. Он говорил, что его дело воспитывать и духовно развивать своих детей, а пелёнки и прочие заботы не для него. Но филология ему была не интересна, и с развитием как-то не вышло. Потом мать забрала меня к себе и вот я прожила долгую-долгую спокойную жизнь вдаль от вас и от отца.

И замуж я вышла медленно, и развелась также медленно и спокойно, будто двигаясь в какой-то вате.

В общем, это была жизнь рыбы в аквариуме.

А вчера, когда мы столкнулись с тобой на бульваре, я вдруг поняла, что этой жизни будто бы и не было. Нет, не на похоронах отца, там ты был ужасно гадкий и совершенно пьяный – я даже испугалась, а именно на бульваре.

– Да, когда я к вам пришёл, я уже был нехорош.

– Не то слово! – Она тихонько засмеялась, а потом продолжила: – А вот на бульваре ты был совершенно другой, куда лучше. Ты был как затравленный волк, но не упавший духом, а просто тревожный, всё ещё опасный для загонщиков. Вот ты какой был.

И тут мы поцеловались.

Это вышло как-то просто и естественно.

– Я не очень хороший волк, – сказал я. – Я пугливый волк.

– Ты волк, который увидел флажки и пока не знает, как поступить.

Она пришла ко мне, когда я уже лёг.

Я страшно закрипел кроватью, отодвигаясь, чтобы дать ей место.

– Я боюсь, – сказал я.

– Нет. Не надо бояться. Есть только мы, и больше ничего нет.

– Это как?

– А вот так. Есть только мы. Хочешь, я тебе помогу?

– Ну вот уж нет. – И мы крепко поцеловались. Она перевернулась на спину и сказала:

– Мне стыдно. Мне отчего-то с тобой стыдно – я ведь знаю тебя столько лет. Ты знаешь, я воображала себе, как у нас это могло быть.

– И как?

– По-моему, жуткая порнография.

– Это всё от невинности.

– Да, когда у тебя мало возможностей, воображение ужасно разыгрывается. Просто ужасно – а, чтобы ты знал, женское воображение куда более развратно, чем мужское.

– Догадываюсь.

– Ничего ты не догадываешься.

– Нет, догадываюсь. Я прожил много лет в пуританской стране. То есть, понимаешь, Америка – это такая большая страна, в которой всё есть. И жуткая политкорректность, за нарушение которой тебя со свету сживут, и прямая противоположность этой политкорректности. Городок, в котором последний раз убили человека в 1925 году – какого-то бутлегера. Я не помню, хотя я жил в этом городке. Ну и рядом большой город с кварталами, куда полицейские без надобности стараются не заезжать. Там всё есть – меня поэтому коробит, когда мои друзья здесь глупости говорят. Впрочем, мои друзья там говорят ровно такие же глупости... Итак, тебе не должно быть стыдно. Ну? Ну что?

– Это отдаёт инцестом. Нет, не надо. Мне стыдно, и я боюсь.

– Нет. Зайчонок мой.

– Ну прошу тебя.

– Ну и не надо. У меня и так по уши проблем, и у тебя много проблем, и у нас обоих множество проблем, и ни к чему становиться лишними проблемами друг друга.

– Дурак. Я люблю тебя.

– И я люблю тебя.

– Нет, я тебя люблю много лет, и мне сейчас стыдно за всё. И муж мой был в общем-то хороший человек, а я не любила его, и у нас потом не очень хорошо всё получилось. Я тебя люблю много лет, а ты меня любишь два дня. Я тебе верю, ты действительно это чувствуешь – но два дня. У тебя стресс, это бывает – и тогда мужчины совершенно серьёзно думают, что они испытывают сильные чувства. Они думают, что должны испытывать очень сильные чувства, и – щёлк! – начинают их испытывать. А потом стресс проходит, и у некоторых проходят и чувства.

– А у некоторых не проходят.

– Да, по-разному бывает. У меня муж был офицером, я тебе не рассказывала этого, а это важно. Он был хорошим офицером, награды там всякие, звания. Его гоняли по горячим точкам в командировки, но он несмотря ни на что сохранил себя.

Нет, не в смысле струсил – наоборот, у него было два ранения, и я Бог знает чего натерпелась, когда он в госпитале лежал. Он себя сохранил в психическом смысле – никакого там ужаса видений и кошмаров, не орал, просыпаясь посреди ночи. Не пил, чтобы снять стресс – нормальный спокойный человек, но он думал, что после стресса нужно испытывать повышенные эмоции. А этого вовсе не нужно – с тем, кого любишь, нужно испытывать простые чувства. Это, знаешь, как втягивать живот – все мужчины втягивают живот рядом с красивой женщиной – даже если втянуть живот они не могут физически. Так вот любовь – это когда не нужно втягивать живот и не надо ничего особенного делать.

А мужа как-то послали в Чернобыльскую зону – как раз когда там что-то случилось, и

мутанты совершили прорыв на Киев. До Киева там, конечно, никто не дошёл, но туда быстро накидали уйму войск: кроме ООН, украинцев, наших, белорусов и поляков, там кого только не было. Муж вернулся тогда довольно напуганный, у него были большие потери в части.

И я видела, что он напуган, у него дрожали руки, а он считал, что этого нельзя показывать, он изо всех сил крепился, чтобы казаться более мужественным. Я всё хотела сказать – ну давай вместе напьемся, давай что-нибудь начудим... И в этот момент я поняла, что я его не люблю. Семь лет пыталась себя убедить, что люблю, даже сама себя запутала, а тогда окончательно поняла, что так делать нельзя.

– С пониманием.

– Ничего ты не понимаешь, а я так люблю тебя. Положи мне руку на голову, – сказала она, и я положил ей руку на голову и стал гладить. Мы обнимались как подростки, и она плакала.

В этот момент я почувствовал, что кроме этой женщины, что лежит сейчас рядом со мной, у меня в жизни ничего нет. Это был сладкий и горький итог моей жизни – в том возрасте, когда люди обрастают не просто семьями, а когда взрастут их дети, когда у них крепкий дом, и на семейные праздники собирается человек по сто, у меня не было ничего. Ни работы, ни дома, ни особых сбережений.

Я был потенциальным убийцей, и только один человек в мире был посвящен во все подробности этого дела, и этот человек верил мне. Это был хороший счёт, лучший, чем всё, на что я мог рассчитывать.

– Знаешь, – сказала она. – Я хочу с тобой целоваться. Я вообще не любила никогда целоваться, сама не знаю почему. У меня были замечательные мужчины, очень техничные, но мне никогда не нравились поцелуи, что-то в них было слюнявое, гадкое. У меня к тому же очень хорошее обоняние, я нюхаю хорошо.

Стоит перед тобой красавец, а ты чувствуешь, что он только что сидел в «Макдоналдсе» и ел сандвич с луком. Представляешь? А теперь я, кажется, не могу поцеловать тебя, я не умею.

– Совсем это и не нужно, – ответил я благородно.

– Нет. Я хочу тебя поцеловать.

– Ты знаешь, в одном хорошем романе девушка тоже говорила так, а потом спрашивала: «Куда же нос?».

– Действительно, куда же нос?

– Понятия не имею. Он куда-то потом девается. Втягивается, наверное.

– Мы разберёмся. Ты, главное, никуда не пропадай.

Мне захотелось сказать что-нибудь остроумное, чтобы скрыть собственный страх перед тем, что я сам боялся пропасть, но я удержался. Ничего не надо было – ни острить про жён декабристов, ни про охоту на меня, ни про красные флажки... Ни про Серого Волка.

– А ты как относишься к лабораторным мышам? – спросил я вдруг. – Тебе было их жалко?

– Ты знаешь, не было. Сама удивляюсь – я, видимо, всю жизнь, пока жила в семье биологов, мышей не воспринимала как существ, которых можно жалеть. Ну вот собаку можно жалеть или кошку. А мыши для того и созданы.

Знаешь, мы с отцом как-то поехали на Кавказ, и там нас угощали шашлыком. Вечером перед этим хозяин вывел барана, чтобы его резать. Я была маленькая и заплакала: «Ему же будет больно!» – кричала я. «Не будет! Они привикли!» – сказал мне хозяин, и все взрослые стали ржать. Я ничего, конечно, не поняла, а в семье у нас с тех пор стало ходить это выражение «Они привикли», с таким, знаешь, горским акцентом.

– Я спросил это потому, что сейчас чувствую себя лабораторной мышью. Из тех мышей, что запускали в лабиринт.

– Нет же, ты всё-таки волк. Староватый немного, но всё же годный. Мы тебя откормим.

Мы ещё поговорили про мышей, про лабораторные работы, и вдруг оказалось, что она очень хорошо понимала, чем на самом деле мы занимались. Она всё понимала, а тогда её

принимали за мебель. Её принимали за нечто бессловесное, а теперь оказывалось, что из обрывков разговоров она очень точно составила общую картину всего того, чем занималась наша группа.

– Который теперь час, ты не знаешь?

– Нет. А тебе завтра на работу? – спросил я.

– Нет. Но мне нужно в одно место.

Я почувствовал, что мне необходимо знать, в какое это место ей нужно. Одновременно я понял, что слишком быстро начинаю предъявлять права на её жизнь. Кажется, она могла читать мысли, потому что я сразу понял, что она всё поняла и тихонько засмеялась.

– Хочешь расскажу?

– Не хочу.

А потом мы прижались друг к другу теснее и стали делать всё то, что невозможно описывать. Так устроен русский язык, который работает лучше всякой цензуры.

Теперь мы лежали в темноте, но фонарь за окном был такой сильный, что мне казалось, что я на берегу моря. Огромная луна лезла в окно и заливала комнату белым светом.

Ловко это у нас получилось, потому что вот только что мы были по отдельности, и как-то вдруг получились «мы».

– Ты просто кролик.

– А ты всё-таки – Серый Волк?

– Да, я Серый Волк, только довольно потрёпанный. За мной охотится вооружённый отряд. Среди них снайпер Нуф-Нуф, сапёр Ниф-Ниф, а самый страшный из них – головорез Наф-Наф.

Они идут по моему следу, но вся беда в том, что я не помещаюсь ни в одну нору, даже в нору прекрасного кролика. Оттуда будут торчать мои задние лапы и хвост.

Ночь текла в небе Москвы, размешивая облака, растворяя дым и копоть. Город шумел особым ночным шумом мегаполисов. Я знал этот шум, потому что побывал во многих больших городах мира. Этот шум специальный и особый, он что-то вроде предупреждающих звуков разных зверей. Большие города этим рокотом предупреждают зазевавшихся людей – мы, города, не спим никогда. Мы всё время бодрствуем, и никто не сможет застать нас врасплох.

Поэтому я, беглец, и не спал в эту ночь, приюхиваясь как зверь ко всему: к запахам бензина и дыма, к запахам незнакомой квартиры и прекрасному запаху молодой женщины, что лежала рядом.

А потом я спал крепко, но под утро проснулся и понял, что она ушла. Она ушла только что, потому что одеяло с её стороны ещё хранило тепло. Видимо она ушла в своё непоименованное ночью место, а мне торопиться было некуда.

Я перевернулся на другой бок и уснул. Мне снились яхты и то, как они ночуют на берегу океана, и волна, рассеянная молами гавани, тихонько качает их корпуса, а вокруг раздаётся тонкий звон от металлических частей и скрип от канатов.

На третий день я перезвонил Планше, и он сказал, что уже в курсе моей истории, и стоит ещё раз встретиться и всё обсудить.

Но никакой встречи не случилось.

Глава четвёртая

– Переодевайтесь, – сказал Штирлиц.

– Сейчас, – шепотом ответил пастор, – у меня дрожат руки, я должен немного прийти в себя.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Москва, 25 апреля. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Бежим на Запад. Странный человек Кравец.

Утром у подъезда Ксении меня ждал в машине Атос.

Ксения вышла со мной, и оказалось, что появление Атоса у её подъезда и для неё стало неожиданностью.

Всё-таки у него был аналитический склад ума (если, конечно, в Москве ещё не ввели систему принудительной пеленгации мобильных телефонов).

Он ждал меня и велел быстро собираться – дело, по его словам, пахло жареным. Меня нужно было вывозить из города, и желательно быстро и тайно.

Атос появился внезапно, как настоящий мушкетёр. Он повёз меня к себе в институт. Мы ехали по Москве и я ощущал, что старые времена вернулись – всё было как в прошлом. Развевались мушкетёрские плащи, шпаги сверкали на солнце. Меня спасали, и на войне как на войне, когда твой друг в крови, а la guerre comme a la guerre, когда твой друг в крови... и всё такое.

Один наш друг куда-то пропал, другой наш друг лежал в крови в каком-то подмосковном морге, а мы летели в неизвестность.

Атос, впрочем, был спокоен как всегда.

Его соображения были просты: у него начиналась очередная штатная экспедиция в Зону.

Согласно межправительственному соглашению груз машин, идущих на Зону, не досматривался.

Атос выдал мне запас еды и питья и запер в кузове экспедиционной машины.

Я услышал, как она тронулась. В этот момент я покачнулся, но сохранил равновесие, а потом полез между коробок, прижимая к груди две большие пластиковые бутылки – одна из них была наполнена водой, вторая предназначалась для той же воды, но уже некоторое время спустя.

Среди прочего оборудования внутри кузова я нашёл капсулу для гибернации, влез под крышку, и приладил себе для смеху на грудь наклейку с большими печатными буквами «Опытный образец».

Я и был своего рода «Опытный образец».

Я лежал и старался уснуть, и скоро это мне удалось. Мне начал сниться старый сон про то, как мы идём на сорокафутовой лодке от Доминиканы к Тортуге, которую наш товарищ называет «Тортю». Я только третий год живу в Штатах, и на яхту меня взяли в первый раз, я ничего не умею, и неизвестно, чего больше боюсь – вляпаться в какую-то передрагу или показаться товарищам лохом. И вот мне дают конец в руки, и я ощущаю то, что, наверное, ощущает наркоман, которому игла вошла в вену. Я испытываю чувство абсолютного счастья и одновременно перестаю ощущать силу земного притяжения.

Старый мир цепляется за меня страхом и прочими опасениями, но я уже открыт новому миру, и то, что на нас налетает шквал, меня уже не пугает...

Конечно, я всё равно просыпался несколько раз и я всё время тратил некоторое усилие, чтобы вспомнить, где я.

Меж тем машина несла меня прочь. Я ехал как Ленин – в опломбированном вагоне, впереди у меня были тоже броневики и вооружённые люди, только это была не моя революция.

Атос спасал меня, но иногда мне казалось, что всё это зря – надо пустить мою судьбу на самотёк.

На удивление я проспал все границы, но внезапно услышал, как дверь открывается. На всякий случай я приготовился к самому неприятному, но это опять был Атос.

Он подал мне руку и помог вылезти из кузова, как ребёнку.

Грузовик стоял в полутёмном ангаре.

Мы были только вдвоём, и Атос с облегчением хлопнул меня по плечу. Не дрейфь,

дескать, мушкетёр, всё позади.

Однако мы понимали, что всё было только впереди – и хорошее, и не очень.

Как говорил один литературный герой: «Не дрейфь, лейтенант, дальше будет ещё хуже».

Атос отвёл меня к моей будущей норе.

Это была комната в двухэтажном бараке-общежитии. Впрочем, в моей стране слово «барак» означало что-то ужасное: «скандалы, драки, карты и обман». То, что Атос назвал «баракком», был серебристый сборный дом с комнатами-капсулами, в каждой из которых была душевая кабина, унитаз, кровать и письменный стол.

Дом был собран по стандартным чертежам ООНовского проекта, который был сделан не для Зоны, а для всех научных городков, раскиданных по миру. Такие же дома стояли где-то на Камчатке или в перуанском «Заповеднике аномалий» – с поправками на климат, разумеется.

Дальше здесь были минные поля, а потом полоса охраны спецбатальона ООН. Эта конфигурация сохранялась и в ливийской пустыне, и в камбоджийских джунглях.

Однако компоновка и набор удобств в домиках были примерно одинаковыми – и здесь, и где бы то ни было.

Я принял душ и только решил хлопнуть виски, предусмотрительно принесённый Атосом, как в дверь постучали.

На пороге стоял смутно знакомый мне человек.

Ба! Это был очередной мой знакомый из прошлой жизни – Олег Мушкетин, по прозвищу Мушкет.

Был он, кажется, уже с вискарём внутри, довольный как слон. Круглое его лицо растянулось в улыбке.

Я помню, как мы с Мушкетиным разговаривали во время встречи однокурсников.

Он пришёл уже навеселе, довольно бравый, и в несколько помятом пиджаке.

«Бравый» – это было верное слово. И в своём блоге он вывесил фотографию себя, любимого, в камуфляже, в обнимку с ружьём. Кажется, он только что устроился на научную станцию близ Чернобыля, не на эту, а где-то на другой стороне. Потом, если верить блогу, он сменил их несколько.

– Как интересно! Я впервые взгляделся в твою фотографию с хорошим разрешением, и понял, что это у тебя не автомат, а бутылка с пивом, – подначил его я.

– Я бы попросил! Это не пиво, а коньяк. А MG-42 у меня под столом, как и всегда.

– Ты вынь его оттуда. Во-первых, это не автомат, а пулемёт, а во-вторых – тогда понятно, отчего сам ты за столом не сидишь. Коли такая-то дура всё место занимает.

– Я помню, как выглядит MG-42. И никогда бы не спутал его с автоматом, потому что машиненгевер – это не автомат ни разу, а вовсе даже пулемет.

– А немецкие автоматы тех времен проходили под индексом MP, машиненпистоль...

Мне всегда казалось, что мужчина не должен фотографироваться с оружием – если ему, конечно, не девятнадцать лет и его снимают на фоне воинского знамени части. Ну, или там он не занимается иллюстрированием собственной книги «Теория и практика стрельбы из пистолета». Но нашему доброму Мушкетончику я и это простил. Я понимал, что он в общем-то одинок, несмотря на каких-то вечно присутствовавших в его жизни красивых женщин, что его мотает по жизни как цветок в проруби.

А теперь вот нашёл себя среди опасностей и ужаса.

Итак, Мушкет улыбнулся и произнёс:

– Здорово, братан! Добро пожаловать в наш маленький ад!

И он сдержал своё слово – ад тут был, и действительно небольшой.

Мушкет провёл меня по двум кругам – сначала запихнув меня в комнату, где пили украинскую горилку, а затем повёл меня в бар, который оказался маленьким ресторанчиком при пустующей гостинице.

...Наутро, когда у меня раскалывалась голова, в мою дверь аккуратно постучали.

На пороге стоял человек в аккуратном комбинезоне, в расстёгнутом вороте которого виднелся повязанный не без изящества галстук. Он был коренаст, широкоплеч и одет не без изящества. У него была красивая причёска и румяное грустное лицо.

Он отчего-то извиняющимся голосом, и что уж совсем удивительно, по-английски справился о моём самочувствии. Я отвечал ему по-русски, но он опять спросил меня по-английски, кем я прихожусь Николаю Павловичу.

Мне это стало напоминать алкогольный бред.

– Have you come with Nikolai Pavlovich?³ – опять очень тихо спросил он.

– Yes, – ответил я.

– With that Nikolai Pavlovich?⁴ – человек протянул руку.

– Yes.

– Will You work for us?⁵

Я пожал ему руку, стараясь дышать в сторону и ответил:

– Hardly likely.⁶

Наконец он представился:

– My name is Kravets. Anatoly Kravets.⁷

Я назвал себя, и обнаружил, что он не выпускает мою руку из своей. Ладони были у него тёплые и будто плюшевые.

– No, – сказал я ещё раз. – I am just passing by.

– Ah, travel? Very nice... On the way... So you – are passing by. Tell me, for how long have you known Nikolai Pavlovich?⁸

– Twenty years,⁹ – уже неохотно сказал я. Я уже понял, что это сумасшедший, но всё же спросил: – Why do you speak English?¹⁰

– You know, I gave myself a vow to speak either English or Ukrainian, – сказал Кравец. – I'm Ukrainian. And I doubt you speak Ukrainian.¹¹

– No way.¹²

– So will you'll work here?¹³

³ Вы приехали с Николаем Павловичем?

⁴ С самим Николаем Павловичем?

⁵ Будете работать у нас?

⁶ Вряд ли.

⁷ Меня зовут Кравец. Анатолий Кравец.

⁸ Очень приятно... Проездом... Так вы – проездом. Скажите, а давно знакомы с Николаем Павловичем?

⁹ Двадцать лет.

¹⁰ А отчего вы говорите по-английски?

¹¹ Вы знаете, я дал себе зарок говорить либо по-английски, либо по-украински. Я ведь украинец. А вы по-украински вряд ли говорите.

¹² Да это уж точно.

– I do not know.¹⁴

Ещё немного, и я его стукну и всё спишу на похмелье.

– It's not easy here, but I like Nicholas Pavlovich. He is a great scientist. There are few of us here, – сказал Кравец, – we are all very busy; I work in the Ukrainian team, but I really like the way Nikolai Pavlovich works.¹⁵

Он снова выжидательно посмотрел на меня и наконец сказал:

– I would be glad to be of use to you some day.¹⁶

– Thanks, – уже с нетерпением пробормотал я. – Good luck.¹⁷

И захлопнул дверь.

Глава пятая

Мюллер хмыкнул:

– Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Москва, 30 апреля. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Оружие на Зоне. Секрет Атоса – промышленная добыча артефактов.

– А зачем ты гоняешь своих подопечных на выходы с оружием? Не логично было бы просто ещё двух господ военнослужащих нанять?

– Нанять! Ишь ты какой! У меня бюджеты, да и ты пойми, что выходы у нас это не обязанность, а привилегия. За них платят дополнительно, собранное тоже учитывается, каждая копейка не лишняя.

А оружие здесь нужно – мало ли кто на городок полезет, тут каждый ствол важен. К тому же, если на тебя выйдет одиночный мутант, то сконцентрированный огонь нескольких человек его таки уложит.

Первым делом, я запретил для бывших совграждан личное оружие, кроме автомата Калашникова. Потому что у меня контингент – учёные, некоторые сходят с ума и выписывают себе какую-нибудь пукалку типа «Узи», которая не спасёт ни от кого: ни от зверья, ни от лихого человека.

Более того, наш кандидат наук ещё себе отстрелит что-то, играясь.

А вот с Калашниковым всё проще – так или иначе, все они прошли военную кафедру, или там Начальную Подготовку и выучили неполную сборку-разборку.

Сборка-разборка в нашем поколении это вообще как пароль.

Все помнят, ночью разбуди филолога или химика, так он тебе забормочет: сначала отъём магазина, передернуть затвор, контрольный спуск, потом снимается крышка коробки, потом – пружина, затворная рама и вытряхивается затвор, потом газовая трубка с накладкой.

¹³ Так вы будете здесь работать?

¹⁴ Не знаю.

¹⁵ У нас тут сложно, а Николай Павлович мне нравится. Он – большой учёный. Нас здесь мало, все мы очень заняты, я хоть и работаю в украинской группе, но мне очень нравится, как работает Николай Павлович.

¹⁶ Буду рад оказаться вам полезен.

¹⁷ Спасибо. Удачи.

Шомпол и пенал можно не вынимать, потому что это никого не...

Он сглотнул последнее слово.

Всё было вполне логично. Логикой он всегда славился...

– Они тренируются – по мишеням. Или там по пивным банкам, к примеру.

– Нет, а зачем?

Действительно – зачем? Философский подход Атоса мне жутко нравился.

– А они не стрелялись ещё?

– У французов был случай три года назад. Но человек попался порядочный: написал письмо, завещание, вышел из домика, выбрал место, чтобы ничего не запачкать... Одно слово – культурная нация.

Я не стал рассказывать Атосу, что довольно много пережёт патронов на стрельбище. У нас в штате было разрешено ношение короткоствола, и я, как только оформил свои отношения с Америкой, его прикупил.

Так поступают все русские – и я был не исключением. Так поступали даже ботаники, нет, особенно ботаники. Ботаники всегда растяг в себе комплекс любви к оружию.

На стрельбище, впрочем, было полно оружия – и Калашников с барабанным магазином, которого нигде раньше я не видел.

Поэтому мне было хорошо – я перебесился. За меня Атос мог быть спокоен.

А рассказывать мы никому ничего не будем – а то был у меня такой случай: я проболтался об этом при одном копе.

Человек он был хороший, но правильный в своих поступках вне и внутри службы. Этот коп включил меня в список для проверки, когда какой-то подонок начал стрелять по людям из машины. Включил просто потому что так у него было написано в инструкции – включать, в частности, всех, кто тренируется. Всё обошлось, конечно, а я получил ещё один урок на тему, что хвастаться нехорошо.

Не надо хвастаться, говорит тебе жизнь постоянно, не занимай пустого места в разговоре своей болтовнёй. Не надо этого делать, потому что в результате ты огребёшь по самое небалуйся.

Чтобы как-то оправдать своё присутствие я вызвался на прокладку следующего выхода. Она оформлялась множеством бумаг и регулировалась огромным количеством инструкций. Всё это, разумеется, потом нарушалось, и знали об этом все – включая авторов инструкций.

Атос был гений.

Собственно, я давно это подозревал, что он гений, но как-то это всё блестяще подтверждалось.

Оказалось, что он давно уже работал в Зоне, и главным его достижением было то, что он придумал способ промышленного поиска артефактов.

Сложность была в том, что Зона постоянно менялась. Аномалии переползали с места на место, происходили выбросы, монстры модифицировались, и доля одних уменьшалась, в то время как доля других увеличивалась.

Изменялся и расклад сил у Периметра.

А вот Атос придумал, как оптимизировать процесс поиска и превратить его почти в геологическую задачу.

Он положил передо мной огромный планшетный компьютер. Интерактивная карта Зоны мигала и переливалась разными цветами. Ещё хорошо, что он не стал передо мной кидать понты и играть с трёхмерными образами. Которые так стали модны на презентациях проектов, когда инвесторы не до конца уверены в реальности перспектив.

Трёхмерные голограммы в таких случаях очень помогают – и по обе стороны океана.

Вот он, тёмный массив городских кварталов Припяти, вьющаяся по краю лента реки, разноцветные поля свалок, отходящая от свалки дорога на «Янтарь», и дальше по этой дороге грунтовка к нашему посёлку.

Мигающие аномалии в болотах и переливающиеся фиолетовым у рыжего леса и

Лиманска.

На плоском экране жил целый мир во взаимосвязи выбросов и сезонных явлений (учитывалась, кажется, и активность солнца).

Поперёк карты шли тонкие розовые и жёлтые линии – будто геологические разломы.

В этом и был скрыт успех: двигаясь этими путями, минимизируя присутствие посторонних, Атос прогнозировал результаты поисков.

Но это было полдела – он прогнозировал не максимальный выход каких-то батареек, а совершенно экзотические вещи – вроде темпоральных артефактов, ускорителей и замедлителей времени, акустических резонаторов и «чернобыльского мумиё».

Я понял, что сделал Атос – он собрал чудовищную статистику, одну из самых полных (интересно, как он её собирал), обработал её (это было тоже невероятно, даже при его фантастической работоспособности, даже если он впряг в это дело целую группу) и каким-то образом всё это обобщил.

То есть Атос владел динамикой жизни Зоны.

Понятно, что в эту динамику всегда могли вмешаться внешние силы, понятно, что если перестать набирать данные, то корреляция уменьшится и модель пойдёт вразнос, но всё равно, это было гениально.

Мы закурили.

Я с восхищением смотрел на него.

– Видишь, Серёжа, что мы сделаем? Мы пройдем три маршрута, причём один кольцевой, и будем искать материал по списку. Надеюсь, что никто нам не помешает.

Он водил пальцем по экрану. И я понял, зачем ему понадобились линии розового и жёлтого цвета – они шли на пересечение, и там, где они пересекались, находилось нечто.

Аномалии там группировались по физическим принципам и, кажется, управлялись гравиконцентрами. Гравиконцентраты сгоняли аномалии как пастухи, причём это были не простые аномалии, а порождающие другие аномалии, в свою очередь порождающие что-то из немалого набора артефактов.

Я помнил ещё страшилки в газетах, как когда-то в Зону набирали таджиков.

Это был циничный ход – таджиками (впрочем, среди них были люди самых разных национальностей) называли даже не отмычек, одноразовых стalkerов, а заготовки для артефактов.

Несчастливым недолго пудрили мозги, а потом толкали в одну из аномалий, типа «карусели», человек исчезал в вихре, а исполнители потом собирали артефакты. По экономической эффективности это было сравнимо с трансплантацией органов.

Я решил чем-то помочь своему благодетелю и остался на ночь – если гравиконцентраты держат аномалии, то россыпи артефактов будут идти в узком коридоре, причём, добавляя причины происхождения как исключаящий фактор, можно было картировать россыпи с точностью до метра.

Никакой романтики, чистая наука. Не нужно совершать массу лишних движений, рисковать или соваться в заведомо пустое место.

У Атоса был большой список на поиски, например, был целый план на артефакты «колобок» и «светляк», и ясно было, что это какой-то заказ «сверху» или «сбоку». Было понятно, что артефакты эти медицинские, регенерационные, но никакой косметической корпорации в таких количествах не нужны.

Не смогла бы даже большая корпорация переварить такие объёмы – или я чего-то не понимаю.

Я стал догадываться, что «RuCosmetics» занимается отнюдь не только косметикой, и может быть, косметикой в меньшей степени. Тем более что кроме активных «колобков» в списке значились вовсе неизвестные мне предметы.

Отгнав эти мысли, я произвёл расчёт на «колобки», которые были ещё привязаны к зонам химического загрязнения и подивился результатам. Модель Атоса работала и даже

учитывала поправку на мифацию аномалий.

Я так увлёкся, что досидел почти до утра.

Ну и ладно, будет видно, что я недаром свой хлеб ем. Эти дела как-то отвлекли меня от собственного бедственного положения – я был никто, вернее, я был беглец, преступник, скрывающийся от правосудия. Тут я мог бы жить вечно.

Но только радости в этом было мало.

Глава шестая

– Наша семья никогда не забывает добро, – сказал он. – Мы все – ваши слуги, господин Штирлиц, отныне и навсегда. Ни мой сын, ни я – мы никогда не сможем отблагодарить вас, но если вам понадобится помощь – в досадных, раздражающих повседневных мелочах, – мы почтем за высокую честь выполнить любую вашу просьбу.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 1 мая. Роман Гримович по прозвищу Гримо. Жизнь внутри порядка. Служение порядку – часто синоним служения начальству.

Я, Роман Алексеевич Гримо, не люблю праздники.

Что насупились? Некоторые с таким же пафосом говорят: «Мне сорок два года и я алкоголик». Но по мне это куда глупее, чем честно сказать, что ты не плывёшь по течению.

Мне многие за это пеняют, а я всё равно не люблю. И больше прочих я не люблю странный промежуток между майскими праздниками, который не любил ещё с детства. Время между Первомаем и Днём Победы было всегда странным, нелегальным выходным днём, растянувшимся на неделю.

Это потерянное время, потому что никто не работает, а те, кто работают, вернее – вышли на работу, только смотрят в окно или пьют чай. Раньше меня вывозили на дачу, где росли такие же берёзы, как здесь (ну или почти такие же), и ход моей детской жизни нарушался.

Я говорил маме: «Нужно сделать домашние задания», но она всегда говорила, что успеется, и конечно, ничего не *успевалось*, и я стоял, красный от стыда, у доски, с зажатой в кулаке запиской: «Мой сын Роман был болен», и понимал, что всё это враньё и будет плохо.

А ведь потом это стало прекрасным временем для спокойной работы. В эти несколько дней в лаборатории все компьютеры были свободны, начальства не было и я спокойно мог подготовить и распечатать все отчёты...

Мне нравится, когда всё в порядке, и мне нравится подчинение. Мне нравится подчиняться, а тот, кто хорошо подчиняется, хорошо командует.

Мне нравится мой начальник, моя работа и чёткое планирование.

Это всё врут, что в Зоне планирование невозможно. Я знал людей, что планировали свою жизнь с учётом выбросов. Накануне они писали служебную заявку, расставляли датчики, шла телеметрия и был выброс. Они всё чувствовали. Потому что у них в душе был порядок.

Порядок определяет всё.

А науку губят болтуны. Сначала болтуны погубили науку в восьмидесятых, когда вышли на митинги. Когда учёные выходят на митинги, они кончаются как учёные. Когда они начинают болтать, то в головах у них поселяется мозговая чума. Их нельзя вылечить, а нужно сразу уволить.

Они говорят на митингах, и с каждым движением языка чума в их головах разрастается. Она заражает других, и порядок исчезает. Остаётся только царство энтропии.

Потом болтуны погубили науку в девяностые, когда оставшиеся только болтали по

телевизору, и потом – в нулевые, когда, спохватившись, стали болтать о национальных программах.

Это была ужасная болтовня, потому что она зачищала остатки порядка.

Я устроился в «RuCosmetics» поневоле. Косметика это было пошло, это было стыдно. У меня было две медали в армии, а я шёл на работу в косметическую фирму. Это было унижительно, как боевому офицеру прислуживать в борделе. Я скрипел зубами по ночам от позора, но у меня была жена и две девочки – пять и восемь лет.

И наука тогда кончилась в бормотании телевизора, в визге чиновников, и бессильном скрипе зубов по ночам.

Поэтому я был благодарен начальству, что подняло меня из праха.

Будто вернулись два самых счастливых года моей жизни, когда я печатал шаг, двигаясь мимо трибуны с гербом, строй колыхался и вместо «ура» над плацем плыло раскатистое «а-а-а-а»... У меня с тех пор приличная зарплата, мы с женой откладываем.

И это честные технологии – обработка артефактов, медикаментозные добавки, дозированные воздействия.

Я нужен фирме, но и фирма нужна мне – она островок стабильности в море бессмысленной болтовни.

Поэтому я молился на Николая Павловича. Потому что Николай Павлович был гарант стабильности. Куда он, туда и я.

Шаг за шагом я стал незаменим – потому что я могу организовать починку электронного микроскопа и никто не отведёт мне глаза умными словами. Я могу координировать работу групп и меня не обманут фальшивыми отчётами дармоеды.

Наконец, я могу работать в поле. С тех пор как «RuCosmetics» откупила себе место в исследовательском центре Зоны, я часто работаю в поле.

Армейский опыт помогает мне общаться со сталкерами. В армии меня долго учили работе с местным населением, пока я не понял, что все эти демократические штучки придуманы для журналистов. Строгость и порядок – вот что решает в диалоге со сталкером. Если ты говоришь с ним выпивши или небритым, он решает, что ты такой же, как он.

После этого ты обнаруживаешь в контейнере труху, а не «ведьмины слёзы», ты обнаружил, что принял по описи двенадцать «заячьих яиц», а в контейнере их всего десять.

Три года назад я застрелил сталкера, взбунтовавшегося в специальном маршруте. Нет, я расстрелял его как зачинщика бунта. И по тому, как посмотрел на меня Николай Павлович, как посмотрел на меня тогда товарищ Гольцев, я понял, что он меня никогда не уволит.

Это важно, потому что у меня жена не работает, а старшая пошла в колледж.

Много ещё гнилья среди наших сотрудников, но это ничего. Гнильё-то мы повыведем.

Этот пришлый мужик мне не нравился, я вообще ненавижу этих мальчиков из интеллигентных семей, собственно, они и развалили страну, выпустив джина беспорядка из бутылки.

Они не могли справиться с работой в своих лабораториях, а быстро пересели в министерские кресла.

Этот-то ещё свалил за бугор, переживая наш голод и унижения. Теперь вот вернулся и тут же вляпался во что-то, наверняка, в дело с наркотиками. Они все связаны с наркотиками, эти мальчики-мажоры, оттуда у них всё – половая распущенность, клички их эти дурацкие...

А Николай Павлович даёт слабину и покрывает своих друзей юности – это чувство ложного товарищества, вот что я скажу.

Этот Бакланов со своей развратной кличкой Арамис так вообще выскочил как чёртик из бутылки.

Вчера он встретил меня во дворе и спросил, считаю ли я массовые демократические расстрелы по национальному признаку спасением для наших стран.

– Я думаю, что надо продавать билеты, – говорит. – Только смотрите, объявятся какие-нибудь лохотронщики и будут мухлевать. Напишут «партер», а места окажутся у стенки. А ведь знаете, как при военном порядке? Это в одной пьесе хорошо описано: там

приговорённый возмущается: «Думаю, что у вас могло хватить совести поступить со мной как с военнопленным и расстрелять меня как человека, а не вешать как собаку», а ему один генерал и отвечает: «О, извините меня, но это рассуждение штатского. Вам не известно, видимо, каков средний процент попаданий у стрелков армии его величества короля Георга Третьего. Знаете вы, что произойдет, если мы вышлем взвод солдат расстрелять вас? Половина промахнется, а остальные такого натворят, что начальнику охраны придется приканчивать вас из пистолета. Тогда как повесить вас мы можем с совершенным знанием дела и к полному вашему удовлетворению», а потом так дружелюбно и заключает: «Я вам от души желаю быть повешенным»...

Ну вот зачем он это мне говорит?

Ну да, я люблю армию и на днях говорил, что, если бы расстреливали за растрату и воровство, ну и наркоманов всяких, было бы гораздо лучше.

А он ведь не обсудить это хотел, а с издёвкой, издёвкой.

Потом он анекдот рассказал о старике, которого спрашивают, когда ему лучше жилось: при Сталине, при Хрущёве, при Брежневле или сейчас. Ну и старик, ветеран такой, и отвечает без раздумий:

– Конечно, при Сталине!

– Да ты чё, дед, – суетятся социологи. – Там же тюрьмы, лагеря...

– Да при Сталине мне все девки давали, не то что сейчас!

Это дурацкий анекдот, потому что он против порядка. Этот анекдот над порядком издевается.

Мне часто говорят, к примеру: «Жить стало лучше». Подразумеваю, что они стали лучше и разнообразнее питаться. (Это ещё не факт, что пища стала более здоровой.) Я таким скажу, что жить стало хуже, потому что вот у моей семьи в доме который год нет отопления.

Или там говорят, что теперь свобода слова, можно прочитать всяко разные штуки и съездить за границу. А вся эта заграница завернулась бы в блин, а слова у народа только матерные – потому что денег нет.

Это шулерство. Они меняют карты частного на карты общего. Вот, скажем, тема о том, что все беды нынешнего предопределены СССР. Это одновременно так, и нет. Потому что у Ходорковского было комсомольское прошлое, а у некоторых кандидатов в президенты – нет. У них было две ходки на зону. Но их поступки в чем-то похожи.

При Брежневле членство в ВЛКСМ было проформой (в отличие от того же самого в тридцатые годы) – ну да, это было что-то вроде подписки на лояльность, что-то вроде прописки, современной «регистрации». Надо было иметь хитрый поворот судьбы, что-то совсем уж нонконформистское, чтобы тогда его не иметь. Но в современный институт тоже не примут, если ты нигде не прописан, да. И не примут без денег. Сложнее сейчас поступить в МГУ? Или легче – без всякого на то комсомола? Ответ ясен.

Ясно, что коррупция и воровство сейчас более распространены – на это есть специфические причины. На это находится контраргумент – не важно какой. Иногда начинают говорить: «Всё в твоих руках, теперь-то всё в твоих руках». Мне, честно говоря, это как красная тряпка для быка – вне зависимости от знания иностранных языков. Имущественное и социальное неравенство очень хреновая среда – преодолеть его очень сложно. Попытки выбраться из нищеты по рекомендации: «Выйди за город, накопи глины, налепи фигурок, продавай туристам» ничем не кончаются.

А мне ничего никто не обещал.

Это у Арамиса этого может помрёт американский дядюшка и завещает миллион.

Ненавижу.

Месяц назад до меня довели новый список артефактов на розыск, список там был прежний, за одним исключением. У меня хорошая память на индексы, но что такое Е665, я не помнил.

Пришлось посмотреть в базе. Оказалось, что Е665 – это «аксельбант», в первый раз

обнаружен 23.07.2000, Роман Шухов (Подлин. фамил. неизв., ум. 12.09.2002(?), отчёт отсутствует), продолговатый, веретенообразной формы, слабогнувшийся, на вид – полупрозрачное стекло, белый или жёлтый на концах.

Фотография была отвратительная – сразу было видно, что кто-то, снимавший артефакт, делал это ночью, и вспышка залила белым весь снимок.

Вот дармоеды, а туда же! Наверняка человек получал зарплату. Ему даже платили за выход. Или за условно-боевые. А он вот что в базу загнал! Отчего, интересно, статьи в базе не подписаны – прав был Лазарь Моисеевич Каганович: «Каждая авария имеет своё имя, фамилию и отчество». Тьфу!

Впрочем. На людях я бы не стал никогда выражаться так эмоционально.

Итак «аксельбант» или «подвеска» – свойства не выявлены, радиационный фон отсутствует. Заявки на изучение – «2003 – 0», «2004 – 0», «2005 – 0», «2006 – 0»... Ну, в шестом году вообще не до этого было... Но и дальше были сплошные нули, кроме последних трёх лет, когда заявки под себя оформлял лично Николай Павлович – это понятно.

Я начал смотреть на свойства – свойства были хорошие. То есть в высшем смысле о свойствах я судить не берусь, не моё это дело и не моя должность. Не положено мне об высшей науке рассуждать – мне нравилось то, что «аксельбант» не радиоактивен, не уменьшает работоспособности, не привлекает упырей и мутантов. То есть он лёгок в сборе и транспортировке. Людей не погробим, спецконтейнеров заказывать не надо, да и бумаги будет легче оформлять. Красота.

Глава седьмая

Какая-то шальная девка привязалась к Штирлицу. Девка была пьяная, толстая и беспутно красивая. Она все время шептала ему:

– О нас, математиках, говорят, как о сухарях! Ложь! В любви я Эйнштейн! Я хочу быть с вами, седой красавец!

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 5 мая. Олег Мушкетин по прозвищу Мушкет. Однокурсники держатся рядом, даже если одни любят науку по-прежнему, а другие больше любят мотоциклы. Бар и ресторан – инфраструктура еды на Зоне. Молитва Амону и пусть никто не уйдёт обиженным.

Что я бы себе купил, так это мотоцикл.

Я всегда выглядел внушительно: когда у меня байк был и когда его не было. Я когда учился, даже стал шить на заказ байкерские куртки – они были тогда в дефиците. Джинсы варил, не без этого, но куртки – это была моя страсть. «Если ты читаешь эту надпись, значит, эта сука свалилась с моего байка», и все дела.

Я мотоциклы люблю. На мопеде ещё в школе начал ездить, потом у меня была «Ява».

Как у нас говорили в школе: «Красное, вонючее, между ног болтается, на три буквы называется» Что? Правильно, мотоцикл «Ява».

А после армии у меня как-то не было возможности мотоцикл купить. Да и ездить негде было.

А я скорость люблю.

Я бы в байкеры пошёл, пусть меня научат. У байкеров жизнь известно какая: три правила есть у байкеров. Первое правило: возить только баб, второе: села – дала, а третье: уронил – женился.

Проста жизнь у байкера, вся по мне.

Я подумал об Арамисе и подивится его загадочности. Я-то прост-прост, а всё равно не верю, что он Мишаню завалил. Не то чтобы наш Арамис был очень добр, я от него ничего доброго не видел, но вот бабу завалить – это я понимаю, в это я верю. Такой родную мать

завалит, по крайней мере у него репутация была такая. Но вот убивать он не будет, это не стильно.

Не верю я в его виновность.

Он пижон и любит стиль во всём, так Арамису и положено.

Я запомнил, как на встрече однокурсников к нему подвалили наши и стали предлагать на яхтах в Турции кататься. Я сам скорость люблю, но тут как-то мне уже показалось, что дело чересчур. Я люблю не эти штучки новых русских, а бензиновый запах, хороший мотор... Мотоциклы я люблю.

А вот поминки...

Я на поминки Тревиля... то есть, на поминки Маракина всё равно бы не приехал, что мне отсюда ехать. Он меня не любил, да и выехать отсюда сложно.

Я и на встречи одноклассников-однокурсников перестал ходить. Что мне тупо глядеть, как подурнели наши бабы и на расстоянии угадывать, знакомы ли мне эти лица?

Но Арамиса теперь я узнал сразу – хотя внешне он такой неприметный, и для Дон-Жуана даже невысокого роста. В пору лихих девяностых я потерял его из виду и внезапно встретил в кафе музея Актуальной Политики. Выяснилось, что он снимает офис прямо в этом музее.

– Даже не спрашивай, даже не спрашивай, – отвечает.

А я его спросил, чем занимается, а про себя думаю, не надо мне этого знать, не надо.

Потом он, кажется, уехал в Европу. Ну или в Америку – для меня отсюда это всё равно. Я-то знал, что для меня это невозможно, никому я там не нужен, без языка, с трючным моим дипломом, скукота одна. А полы мыть я и тут могу.

Ну да ладно, хотя у меня было смутное подозрение, что наш Арамис сбежал от должников. Было у нас как-то такое время, когда кредиторы бегали от должников – и убрать кредитора стало самым лёгким способом расплатиться с долгами.

Какой-то у него там бизнес-шмизнес, даже несколько бизнесов, которыми он особо не занимался, только подаивал с них деньги. Была и какая-то частная клиника, где он занимался экспериментами по передаче информации от клетки к клетке.

На встрече однокурсников он всё-таки выпил и разговорился:

– Мы очень продвинулись в лечении герпеса, – гордо так говорит. – А вот раком мы заниматься не будем, потому что для этого нужен крупный центр, много больных и статистика.

Тут подвалили наши шумные однокурсники. Множество моих знакомцев занялось яхтенным спортом. Всё это, по-моему, дело дурное, забава для богатых. Видел я, как после кризиса в девяносто восьмом пытались эти яхты продавать. Один даже жил в яхте на Пироговском водохранилище, потому что его из квартиры за долги и общее безденежье выперли. А пока над ними не висел дамоклов меч русского разорения, они с разной степенью профессионализма бороздили моря и океаны мира, оставаясь в своей обыденной жизни банковскими служащими.

И вот они хлопали Арамиса по плечу и спрашивали:

– А ты ведь тоже яхтами занимался?

– Да, – он им так, с усмешечкой. – Только я этим как спортом уже не занимаюсь.

– Что, – спрашивают его сочувственно, – проблемы со здоровьем?

– Да нет. Я когда выиграл чемпионат мира, то как-то потерял к этому интерес.

Банковские служащие звучно клацнули челюстями.

– Так это ты был в Гамбурге в две тыщи втором, в классе «микро»?

– Да, это мы – только что построили яхту и решили опробовать. Вот так и получилось.

А за несколько лет до этого, в Канаде, меня взяли на борт, чтобы пройти на юг вдоль американского побережья. И когда я взял в руки фал, то будто игла вошла в вену наркомана – я понял, что это моё. Безо всякого соревнования и спортивного интереса.

Ну, ё-моё, думаю, такие люди и без охраны.

Но так или иначе, он приехал сюда.

Потом я узнал подробности, но – нет, не мог он Мишаню завалить.

Даже если бы они поругались, даже если б напились и вспомнили былые обиды – а я знаю, что им было, что делить.

Да и корысти ему нету никакой.

Не тот стиль, вот что я скажу.

И тут вижу, как он себя ведёт. Зона-то всё показывает, она сразу человека выявляет – то ли он для понтов сюда залез, то ли бабла пришёл порубить, то ли вовсе с глузду съехал.

А так-то я любил всех. Я Атоса любил – Атос был благо-о-о-ородный, он всем помогал.

Он нам всем сильно помог, и мне в том числе.

Я-то довольно давно обрелся в научном городке. Квартира в Москве была продана, семейная жизнь не сложилась, я начал попить и сразу же согласился поехать в Зону.

Если бы мне предложили ехать лаборантом, я бы и то согласился. Но контракт был на инженера-исследователя, что даже тешило моё самолюбие.

Я не подозревал, в какую банку со скорпионами я попаду.

Тогда русская группа была небольшая, несколько человек, в числе которых одна женщина.

Начальником у нас был Шершень, человек весьма своеобразный.

Владислав Кимович был человек очень старательный, я помню его ещё в те времена, когда он воевал с несчастным Маракиным, и с небожьей помощью разных партийных товарищей этого самого Маракина и загасил. Моё-то дело сторона, я был просто наблюдатель, но маракинских мушкетёров мне тогда было очень жалко. Но – высоко взлетел, так большее падать.

Владислав Кимович был всегда тщательно выбрит и носил причёску, которая называется «внутренний заём», когда одна прядь накладывается на начинающую лысеть голову. Это, впрочем, была единственная его слабость. Был он полноват, если не сказать толстоват.

Про Владислава Кимовича говорили разное, некоторые были недовольны, что он подписывает своим именем все работы группы, да и все гранты были оформлены на него.

Но тут претензии дело сложное – я знал ещё с университетских времён закон о братских могилах научных публикаций. В эти могилы валились все – и теоретики, и экспериментаторы. Как сюда не включить начальника, непонятно. Он всё-таки принимал участие, и иногда его помощь, даже административная, была куда важнее, чем лишняя серия экспериментов. Но недовольные всегда находятся – отчего Шершень и Шатрова, Шершень и Аврерин, отчего так? Ну я бы не моргнув глазом внёс бы начальство в список авторов – но самостоятельных исследований у меня не было. Я больше сидел в баре и ходил на выходы. Выходы были делом опасным, как ни крути.

Да и в таких случаях начальство всегда отмазывается, и отмазывается довольно правильно: вот скажет Шершень, что молекулярный биофизик Кравец великолепный специалист, только у него недостаточно опыта. Скажет начальство, что при огромном, интереснейшем наблюдательном материале практически нет квалифицированного анализа результатов. И что, неправда? Правда. И всем до боли жалко этот пропадающий материал (а там двадцать выходов, геном кровососа и даже препарация беременной самки этого самого кровососа, а опубликовать это в сыром виде нельзя). А французы на пятки наступают, в Бельгии даже по кровососам нашим публикации есть. Ну и Владислав Кимович обрабатывал результаты, куда деться.

Когда я начал работать тут, мне в общем было пофигу как они там собачатся, я учёным себя не считал, но потом пошли дразги.

Владислав Кимович при этом говаривал, что, дескать, народ у нас после Перестройки то хамоват, то бросается в другую крайность – псевдощепетилен. Работа готова, пора закрывать грант, нужно публиковать и отчитываться – так нет! Все чем-то недовольны, что-то кажется необоснованным... Все хотят ещё раз проверить, и нужны деньги, а у него,

Шершня, денег нет, он их не печатает. И вот получается глупое положение, подрывающее возможность получать новые гранты...

В коридорах или в баре я слышал только раздражённые разговоры типа:

– А тебя это не касается! Понимаешь? Совершенно не касается!

– Нет, меня это касается! Потому что это мои деньги!

– Я уже слышал, и надоело! Я прошу только одного: дайте мне отработать мой контракт, и провалитесь вы в самые глубокие тартарары...

Потом и вовсе люди перестали разговаривать друг с другом, писали какие-то бесчисленные доносы. Объяснялись они через меня, но я быстро это прекратил. У меня был свой способ – я просто переводил все полагающиеся деньги на карточку, а с карточки они каждый день падали на счета бара «Пилов». Этим скопиdomам было меня не понять, но в итоге один я сохранил рассудок.

Один мушкетёр так и говорил, когда его спрашивали: «Что вас вынуждает пить?», отвечал: «Трезвое отношение к жизни». Или это был не мушкетёр? Впрочем, не важно.

Важно было, что рецепт оказался верным.

Затем двое наших не поделили девушку. Я так вообще считаю, что женщинам, тем более молодым, на Зоне не место, а у нас была не просто девушка, а довольно красивая. Этакая Лара Крофт – ходила в Зону, вся увешанная оружием, в составе группы, конечно, но всё равно.

Французы её сманивали, те же бельгийцы... Но укатали сивку наши крутые горки – не начальство, собственно, укатало, а весь этот современный НИИЧАВО, все эти грёбанные пауки в банке, я-то помнил её в тот момент, когда она приехала, а вот через два года у неё было по-прежнему милое, но уже какое-то безнадежно усталое лицо.

Мы как-то оказались вдвоём в прозекторской и на фоне большого цинкового стола, слава богу пустого, проговорили всю ночь. Оказалось, что она жутко боится, что с ней разорвут контракт, а Шершень не раз намекал ей на это. Шершень был вообще единственный из научной группы, кто не воспринимал её как женщину, она была для него только участником общей работы. А она очень боялась вернуться к себе в Новосибирск – работа на Зоне была шансом вырваться куда-то, работать за настоящие деньги в настоящих лабораториях. Ей очень не хотелось возвращаться в вымершие и вымерзшие корпуса захиревших институтов.

А это было чревато сменой специальности.

Тут-то она писала диссертацию, тут-то она была на переднем крае науки, в группе у если не знаменитого, то известного учёного.

Тогда, сидя на цинковом столе, на который завтра положат пойманного зомби и будут резать его по частям, чтобы наблюдать за процессом регенерации, я объяснил ей следующее.

Я объяснил ей, что мне нет смысла перебегать дорогу, я никогда не буду учёным, я давно забил большой болт на все эти их публикации и мне интересно только то, как начинается у меня адреналиновый шторм, когда на краю болота начинает что-то копошиться и вдруг из чёрной воды показывается слепая голова очередного урода.

Я объяснил ей ещё, что фактически здесь проездом. И никакой я не друг начальства – ни прошлого начальства, ни будущего, а обыкновенный раздолбай.

И тогда она, красивая баба, начала реветь как девочка.

Ночью она пришла ко мне в комнату, и мы любили друг друга – я, потасканный и пьяный, и она, молодая и красивая.

Она приходила ко мне много раз, и эти дураки вокруг ничего не замечали. Я клянусь, что ничего они не заметили, потому что бегали в своей воображаемой банке друг против друга, норовя укусить.

Так вот, и двое наших устроили из-за неё дуэль. Хорошо ещё на морозе, из пистолетов Макарова, чистили они их плохо, как настоящие теоретики. В результате этого только ранили, но – поэт роняет молча пистолет, на грудь кладёт тихонько руку и падает...

Началось разбирательство, и вот тогда, вместе с Генеральным инспектором приехал

Атос.

Генеральный инспектор был лицом, по традиции назначаемым МАГАТЭ, но эта фигура была номинальная. Генеральный инспектор сидел в кресле за столом на общем совещании, и лицо у него было такое старое и жалкое, что я как-то растерянно оглянулся на Атоса. Но Атос еле заметно кивнул мне.

Этот кивок означал, что он меня помнит и даёт понять, что теперь всё будет хорошо.

Генеральный инспектор только кивал головой, а Атос невозмутимо зачитывал донос за доносом, и все вжимали голову в плечи.

Оказалось, что даже наша Лара Крофт писала какие-то гадкие письма начальству, и она снова бессильно плакала. Но, чёрт возьми, я вовсе не изменил своего мнения о ней.

Шершень ещё огрызался, когда Генеральный инспектор стал нас стыдить. Выглядело это устыжение не очень убедительно. Он говорил:

– Все это до того омерзительно, что я вообще исключал возможность такого явления, и понадобилось вмешательство постороннего человека, чтобы... Да. Омерзительно. Я не ждал этого от вас, молодые. Как это оказалось просто – вернуть вас в первобытное состояние, поставить вас на четвереньки. Всего три года, один честолюбец и один интриган. И вы согнулись, озверели, потеряли человеческий облик. Молодые, веселые, честные ребята... Какой стыд!

Это было ужасно глупо. Генеральный инспектор был из тех людей, что остались в конце восьмидесятых, где был академик Сахаров, митинги в Академии наук и эстетика братьев Стругацких. А перед ним, седым стариком, сидели люди, которые уже прекрасно знали, как сейчас финансируется науки и вообще, каковы мотивации у людей.

Под конец он царственно махнул рукой:

– Слушайте, Шершень, – сказал он, – на вашем месте я бы застрелился.

Я чуть не заржал в этот момент.

Помешало мне то, что опять встал Атос и очень сухо и спокойно начал зачитывать решение Генерального инспектора, которое, как было понятно, писал он сам. Ссылаясь на пункты контрактов, он фактически разгонял группу, но происходило это так, что никто не терял своего лица. На моих глазах Атос съел всю группу Шершня и самого Шершня, продал и купил их, оптом и в розницу.

Личный состав сменился на девяносто процентов.

Последней уехала моя Лара Крофт – куда-то Финляндию.

Она чувствовала свою вину за те свои дурацкие письма руководству, в которых упоминался и я, и как я ни убеждал её в том, что мне это безразлично, она не успокоилась.

В ночь перед отъездом мы яростно любили друг друга, и я думал, что нас слышит вся Зона – вплоть до загадочных упырей, что живут в подземельях близ Саркофага. Но это была очень грустная гимнастика, прощальные выступления накануне разлуки.

Мы переписывались в Сети, но я видел, что я для неё – только деталь прошлого.

Деталь, напоминающая о пережитом ужасе.

Чёрт его знает, может, что-то и изменится, но это было только пространство надежды. Никакой уверенности.

Именно поэтому я так любил ходить в маршруты, хотя польза от этого для науки была весьма относительная.

Недолго пропьянствовав с Арамисом, я стал собираться в Зону.

Атос погнал меня искать артефакт «аксельбант», или как его в былые времена окрестил покойный Трухин – «подвески». Это предмет, похожий на веретено, часто сдвоенный, особой формы стержень нефритового цвета (гусары, молчать!), который зачем-то был нужен Атосу.

Он гонял меня за ним не первый раз, и ничего я ему не приносил – то есть, приносил-то много всего, но с «подвесками» выходила беда. Я стоял перед Атосом, будто несчастный подчинённый герцога Бэкингема, которого послали за драгоценным ларцом, а в ларце

обнаружилась недостача.

Было видно, как мой начальник недоволен, но разжаловать меня было некуда, а условий контракта я не нарушал. Это только в анекдоте можно кричать: «Мы обязуемся найти до конца квартала три гробницы с золотом, серебром и слоновой костью!». В жизни все, даже самые высокие начальники, понимают, что ничего так просто не найдёшь.

Мы, сталкеры, – те же бомжи. Вооружённые бомжи, и я-то ещё везучий, потому что у меня есть прописка в научном городке. А так – чистые бомжи. Вернее – нечистые.

Ты вот замени хабар на пустую тару, и получишь абсолютное тождество.

Но я сам во всём виноват, сейчас я думаю, что если бы вместо меня был Атос или даже этот военный болванчик Гримо, то они бы прожили тут положенный срок и вышли из Зоны после окончания контракта со славой и приличным счётом в банке, женились бы, прожили с супругой тридцать лет и оставили бы своим наследникам виноградник и ворох акций. Я же почувствовал себя лохом-неудачником с первого дня. В Зоне то невыносимая жара, безлюдье – не то безлюдье, когда ты сидишь в одиночной камере, а то, когда нет друзей. А выйдешь в маршрут, там под каждым кустом и камнем чудятся мутанты и смертельные ловушки. Чужие люди, чужая природа, жалкая культура – водку пить в «Пилове» или лабораторный спирт из химической посуды. Все это, брат, не так легко, как гулять по Москве и врать девкам о Зоне и бодром пути конкистадора.

Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, причём не возвышенная, а тупая, с отключением всех страданий. Всей этой глупой рефлексии. А какой я боец? Глупый неврастеник, белоручка... А я хочу по-чеховски жить, на веранде, с самоваром.

Ты сидишь, в крыжовник какой-то пялишься, на участке-то своём. А в доме жена тебе рубашку гладит. Пшшш, пщщщ! Утюг шипит.

– Утюг вещь в хозяйстве необходимая, – задумчиво сказал Селифанов.

– Чёрт! Нельзя с вами говорить.

Более того, я в этот раз попал на патруль военных сталкеров.

Вместо того чтобы проверить мои данные и отпустить, они транспортировали меня до другого КПП и продержали три дня в кутузке.

Когда меня отпустили (изрядно при этом облепив контейнеры с хабаром), то сержант-негр отвлёкся, и я смог долго разглядывать то, что лежало у него на столе.

А лежал на столе протокол от предыдущего задержания: «Шухов Р... года рождения... два контейнера... „пустышки“ малые – две штуки; „батарейки“ – девять штук; „черные брызги“ разных размеров – шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; „губки“ прекрасной сохранности – две штуки; „газированной глины“ – одна банка...»

Господь!

Сколько ж ему было сейчас лет! Уму непостижимо. А для сержанта что тот сталкер, что этот. Произошла смена поколений, и сталкерские легенды стали никому не интересны.

Глядишь ты, Роман Шухов, жив, курилка!

Но это было, пожалуй, единственным светлым пятном на в общем-то пустой ходке в Зону.

В довершение всего на обратном пути я напоролся на редкую инфразвуковую аномалию «вувузела» и у меняло сих пор шла кровь из ушей.

Аномалия была редкой, потому что являлась особым случаем превращения живой природы в аномалию Зоны. Я столкнулся с ней в одной роше на краю болот, которую даже на картах ласково обозначали «Трифидник».

Никаких триффидов, столь знакомых всем по фантастической литературе там не наблюдалось, зато рос гигантский борщевик.

О ядовитости и прочих неприятных свойствах этого борщевика ходили легенды, пока оказалось, что он, высыхая на солнце, может образовывать своего рода гигантские флейты.

И человек, случайно оказавшись рядом (не могу представить себе персонажа, что

специально бы припёрся в Триффидник послушать инфразвуковой концерт) тут же получал инфразвуковой удар.

Кравец мне пытался объяснить природу этого явления, но, как всегда, говорил на плохом английском, да так, что я только рукой махнул.

Сам Атос снизошёл до меня и сказал что-то вроде того, что на самом деле там, внутри борщевика, образуются полости, откуда звук идёт – в случае лёгкого ветра, особый низкий звук. Дальше Атос пустился в рассуждения о резонаторе Гельмгольца, стал меня подначивать вопросами типа: «Ты вот, поди, монографию Немкова не читал?» и прочее, и прочее.

– Не читал, – гордо сказал я. – И боюсь, читать не буду.

Так я и ушёл.

Ушёл, собственно, недалеко, потому что рядом в лаборатории Кравец о чём-то спорил с Базэном.

Потом Базэн махнул рукой и ушёл.

Кравец заскучал, прихватил английский словарь с полки и тоже исчез.

Но на смену им в помещение ввалилась толпа прекрасных украинцев.

Арамис подружился с ними с моей подачи, и теперь они пришли все вместе и радостно орали над какой-то очень длинной распечаткой.

Когда я прислушался, оказалось, что они говорят уже не о науке – Арамис явно острит, разговаривая о чём-то с высоким украинцем. Это был именно тот украинец, который так горячился, говоря о политике в коридоре.

– Черт, я уже путаю все к старости. Ганнибал победил Аттиллу или наоборот? – спросил, смеясь, Арамис.

– Ганнибал-лектор. Он не мог никого победить. Он мирный преподаватель, – отвечал, улыбаясь, украинец.

– Ганнибалов вообще было много – пока они друг друга не съели!

– Ганнибализм. Хоть имя дико.

Я присоединился к ним, мы сели в баре и стремительно напились.

Это только так кажется, что в нашем «Пилове» обстановка чопорная и аристократическая. Выпивается тут не меньше, наверное, а больше. Причём если считать финансовый эквивалент, то раз в сто больше.

А когда люди напиваются, то им важно пофилософствовать. Без этого у нас нельзя. Всё врут, что сталкеры – сухари, в любви мы Эйнштейны... Хорошо ещё петь перестали, а то русские, украинцы и белорусы, вспомнив былое, начинали исполнять такое, что русский шансон в баре «Сталкер», казался вечером в Ла Скала. А Ла Скала, как говорят нам путешественники в телевизоре, это такой чудесный театр, в котором пафоса больше, чем красного плюша и золота, и человек, которому воткнули на сцене перо в живот, ещё полчаса поёт и страдает, вместо того чтобы сразу помереть.

Конечно, время от времени в пьяном бреду у меня возникали странные желания.

Я представлял себе, что я попрошу у Монолита, если судьба приведёт меня к настоящему Исполнителю Желаний.

Я себе представил, как тысячи сталкеров будто дети выходят на закате в Зону. Я представил, что это нечто вроде игры и они просто играют в Зону. Тысячи сталкеров, которые играют во взрослую игру, сам смысл которой им непонятен. Вернее, это Зона играет с ними, а никто ничего не понимает, кроме меня. А я стою на самом краю Периметра, понимаешь? И моё дело – указать этим дурачкам направление движения, чтобы они вышли, перестали играть в эти чужие игры.

Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и останавливаю их, чтобы они не оступились. Вот и вся работа – не знаю, есть, наверное, занятия много лучшие, но это единственное, чего я всё время хотел. Вот что бы я просил у Монолита, или как его там, в зависимости от веры. Я тоже дурак, да?

Арамис мне, правда, сказал:

– Ну почему же дурак? Нормальные желания. Раньше были очень модные. Только я не верю в исполнение желаний. Легенде этой уж много лет, а ничего не изменилось. Если бы это работало, то понятно, что было бы, когда в Монолит поверили бы все? И все кинулись бы сюда – ну ладно, не все, а те, кто мог дойти. А ведь это вопрос времени! День заднем, десятки, тысячи... Как говорил один писатель, не помню какой, все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, генеральные секретари, вожди, кондукаторы, кормчие, фюреры всех мастей должны ломануться сюда. И не свой миллион на садовый домик бы просили, вовсе нет. Мир переделывать! Некоторые даже счастье нести, вот возьми шахидов, желание которых совершенно откровенно и выстрадано.

– Они не дойдут. Такие никогда не доходят.

– Никто из тех, кто идут, не знают, что хотят. Поверь, они не знают даже, могут ли на самом деле дойти или не могут.

– Ну и у нас есть ещё одна степень защиты: при мне один писатель говорил, что не может быть у отдельного человека такой ненависти или, скажем, такой любви... которая распространялась бы на все человечество! Ну деньги, девка, ну там месть, чтоб начальника машиной переехало. Ну это туда-сюда. А власть над миром! Справедливое общество! Царство Божье на земле! Это ведь не желания, а идеология, действие, концепции. Неосознанное сострадание еще не в состоянии реализоваться. Ну, как обыкновенное инстинктивное желание. Вот что нам этот писатель говорил, и я ему верю – у него такая минута откровения была, что ему не верить нельзя было.

– Отчего не предположить, что к Монолиту дойдёт какой-нибудь сатанист. Вот и он решит разом всё дело – забормочет свои глупые заклинания, а они распространятся на всех. Всё это ложь, что нельзя ненавидеть человечество целиком – можно. Многие вырастили в себе это яростное чувство, что у них есть самое заветное желание. Самое искреннее! Самое выстраданное! Для них ведь главное – верить!

– Верить? Тебе сложно, потому что на самом-то деле сам ты в Бога не веришь. А как человек в Бога верит, так сразу оказывается, что он в домике. В самое ужасное время, в кошмарных обстоятельствах – и в домике!

Тут вступил неизвестный мне украинец, с которым Арамис накануне так славно острил.

Он сказал:

– Есть такая история у одного поляка, который писал про Древний Египет. Там был фараон, такой хитроумный, потому что сам был бог – просто так, по служебному положению. И вот этот фараон, потому что был бог, видел много того, что не видят другие люди.

А увидел он стаю серебристых птиц, что вылетали из храмов, дворцов, улиц, мастерских, нильских судов, деревенских лачуг, даже из рудников. Сначала каждая из них взвивалась стрелой вверх, но, повстречавшись с другой серебристой птицей, которая пересекала ей дорогу, ударяла ее изо всех сил, и обе замертво падали на землю. Это были противоречивые молитвы людей, мешавшие друг дружке вознестись к трону предвечного. И раз за разом он лучше разбирал слова молитв: вот больной молился о возвращении ему здоровья, и одновременно лекаря, который молил, чтобы его пациент болел как можно дольше; хозяин просил Амона охранять его амбар и хлеб, вор же простирали руки к небу, чтобы боги не препятствовали ему увести чужую корову и наполнить мешки чужим зерном.

Молитвы их сталкивались друге другом, как камни, выпущенные из пращи – и это выражение у поляка, поверьте, братья, было самым лучшим.

Итак, падал ниц путешественник в пустыне, потому что уже помирал без воды, а северный ветер мог бы принести ему воду, молились и моряки о том, чтобы ветры дули с востока, потому что они там сумели бы что-то перевезти, а крестьяне хотели, чтобы пересохли болота, а те, кто ловил в болотах рыбу, наоборот, хотели, чтобы болота не пересыхали никогда.

Рабы, конечно, молились. Ведь чуть что, начни рассказывать о древнем мире, так там сразу рабы. Особенный шум царил над каменоломнями, где закованные в цепи каторжники с помощью клиньев, смачиваемых водой, раскалывали огромные скалы. Там партия дневных рабочих молила, чтобы спустилась ночь, и можно было лечь спать, а рабочие ночной смены, которых будили надсмотрщики, били себя в грудь, моля, чтоб солнце никогда не заходило. Торговцы, покупавшие обтесанные камни, молились, чтобы в каменоломнях было как можно больше каторжников, тогда как поставщики продовольствия лежали на животе, призывая на каторжников мор, ибо это сулило кладовщикам большие выгоды. Молитвы людей из рудников тоже не долетали до неба.

А на границе со страной, где заходит солнце, стояли друг напротив друга две армии. Бойцы лежали в песках и, раскачиваясь, молили своих богов о победе над врагом. И молитвы воинов сталкивались в воздухе, как стаи хищных птиц, и ни одна из них не поднялась выше прочих – все они рухнули на песок.

И повелитель мира Амон вовсе не заметил ни одной из этих молитв.

И куда ни обращал фараон утомленный свой взор, везде было одно и то же. Крестьяне молили об отдыхе и сокращении налогов, писцы о том, чтобы росли налоги и никогда не кончалась работа. Жрецы молили Амона о продлении жизни фараона и истреблении финикийцев, мешавших им в денежных операциях; номархи призывали бога, чтобы он сохранил финикийцев и поменял фараона, который пресечёт самовластие жрецов. К богу обращались голодные хищники, что хотели горячей свежей крови, а их живая ещё пища – зайцы и олени, в страхе думали о том, как бы прожить лишний день.

Но все понимали, что кровь прольётся, и каждый заяц молился о том, чтобы это была не его кровь.

В общем, не было никакого порядка, все молились кто в лес, а кто и по дрова. Каждый в молитвах вольно или невольно гадил другому. И все просили для себя, и никто для всех.

Поэтому молитвы, хотя и были летучи как серебристые птицы, но летали плохо и высоко не поднимались. А сам божественный Амон, до которого не долетала с земли ни одна молитва, опустив руки на колени, все больше углублялся в созерцание собственной божественности, а в мире продолжали царить слепой произвол и случай.

Но вдруг фараон услышал голос одной женщины:

– Эй, быстрее домой, тебе пора молиться!..

– погоди чуть-чуть! Чуть-чуть! – ответил взрослому голосу детский.

Фараон всмотрелся и увидел маленькую хижину своего мелкого слуги. Там жил его писец. Хозяин ее при свете заходящего солнца кончал свою дневную запись, жена его дробила камнем пшеничные зерна, чтобы испечь лепешки, а перед домом играл, смеясь, маленький мальчик.

По-видимому, его опьянял полный ароматов вечерний воздух.

– Сынок, а сынок! Иди же скорее, помолимся, – повторяла мать.

– Сейчас! Сейчас, – отвечал мальчуган, продолжая бегать и резвиться.

Наконец женщина, видя, что солнце начинает уже погружаться в пески пустыни, отложила свой камень и, выйдя во двор, поймала шалуна, как жеребенка. Тот сопротивлялся, но в конце концов подчинился матери. А та втащила его в хижину и посадила на пол, придерживая его, чтобы он опять не убежал.

– Не вертись, – сказала она. – Подбери ноги и сиди смирно, а руки сложи и подними вверх. Ах ты, нехороший ребенок!

Тот пацан, которого притащили в хижину, понял, что хочешь не хочешь, а молиться придётся. То есть, пока не помолишься, снова играть не пустят. Ну и действительно начал молиться, но как умел – то есть, не как взрослые, а честно.

Честно-пречестно.

Ну и стал он говорить с богом так:

– Спасибо тебе, добрый бог Амон, за то, что сегодня ты весь день оберегал моего отца от напастей, а матери моей дал пшеницы на лепешки... А еще за что? За то, что создал небо

и землю и ниспослал ей Нил, который приносит нам хлеб. Еще за что? Ах да, знаю! И еще благодарю тебя за то, что так хорошо на дворе, что растут цветы, поют птички и что пальма приносит сладкие финики... И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я, и восхваляют лучше, чем я, потому что я еще мал и меня не учили мудрости. Ну, вот и все...

– Скверный ребенок! – проворчал писец, склонившись над своей записью. – Скверный ребенок! Так небрежно славить ты бога Амона!

Но фараон в волшебном шаре увидел нечто совсем другое. Молитва расшалившегося мальчугана жаворонком взвилась к небу и, трепеща крылышками, поднималась все выше и выше, до самого престола, где предвечный Амон, сложив на коленях руки, углубился в созерцание своего всемогущества.

Молитва вознеслась еще выше, до самых ушей бога, и продолжала петь ему тоненьким детским голоском: «И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я...» При этих словах углубившийся в самосозерцание бог открыл глаза, и из них пал на мир луч счастья. От неба до земли воцарилась беспредельная тишина. Прекратились всякие страдания, всякий страх, всякие обиды. Свистящая стрела повисла в воздухе, лев застыл в прыжке за ланью, занесенная дубинка не опустилась на спину раба. Все забыли о всяком случаемся с ними ужасе и, к примеру, изможденный и больной человек перестал думать о своей болезни, человек, умиравший в пустыне без глотка воды, перестал думать о жажде, ну и всё такое.

Затихли ветры в Средиземном море и больше не трепали корабли, а те из них, что должны были утонуть, всё держались на плаву.

И в общем, стало на всей земле такое в человеках благоволение, что...

– Ну да. И никто не уйдёт обиженным. Как я ненавижу эти притчи, кто бы знал, как я ненавижу, когда мне это начинают парить, вся эта псевдопсихология, все эти поэтические эссе, которыми снабжают, как анекдотами, свою речь публичные психологи... Всё это ваше стругацкое-перестругацкое «счастья для всех, пусть никто не уйдёт обиженным», все эти исполнители-исполнители желаний, при условии их выстраданности... Ненавижу, мать вашу!

Глава восьмая

Холтофф усмехнулся:

– Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек...

Штирлиц внимательно посмотрел на Холтоффа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекладывать бумажки на столе с места на место, и только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе...

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 5 июня. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Бар «Пилов», истории о жизни. Сталкер Рублёв и Чёрный Сталкер. Бывают сумасшедшие герои, что спорят по ночам о формулах, а бывают те, что говорят о политике – вот они-то самые сумасшедшие и есть.

Ещё одного знакомого из прежней жизни я обнаружил в лабораториях.

Это был Базэн, в миру Андрей Баженов. Андрюша учился несколькими курсами младше нас и загремел в армию, вернулся и тут-то мы с ним познакомились.

Была у нас такая традиция – старшекурсники становились шефами над группами младших курсов того же номера. Шефство это было странное, часто приводившее к тому, что старшие сходились с прелестницами из младших групп. Случились, кажется, даже какие-то браки.

Андрюша держался особняком, и тут оказалось, что он тоже работает здесь.

У нас в университете были очень странные отношения – он меня полюбил. Нет, не в том голубом смысле, который сразу чудится теперь за такими словами. Нет, он просто смотрел мне в рот и старался мне подражать.

Это было поведением цыплёнка, который, вылупившись, увидел движущийся предмет и, приняв его за курицу, стал за ним ходить. Я знал, что это пройдёт, и не обращал на Андрюшу внимания.

Тут удивительно было то, что я занимался чёрте-те чем, а он был человек какой-то особой провинциальной порядочности, не очень мне приятной. Иногда он увязывался за мной на пьянки и был там удивительно неуместен. С одной стороны, он не делал никому замечаний, но то, что он сидел среди общего галдежа нем, слеп и глух и только улыбался – вот это всё портило мне (и другим) праздник. Я шпынял его, гнал – но его верность могла выдержать любое испытание.

Был Андрюша всегда одет в чёрное и всегда сохранял спокойствие, даже когда над ним подшучивали (в особенности над тем, что он был довольно толстенький). Если надо было бы определить его одним словом, я бы сказал – «кроткий». Да, именно кроткий. Это слово ему очень подходило.

Оказалось, что теперь он воцерковился, и в его личной комнате, куда он меня привёл, вся стена над кроватью была увешана иконами.

Под иконами на стене висел чёрный автомат. Когда брови мои поползли вверх, Андрюша только развёл руками. Выражение его лица как бы говорило: «На всё Господня воля. Мир этот так ужасен и жесток, я рад бы не соприкоснуться с ним, но таково моё послушание – оно допускает в крайнем случае искоренение зла силой».

Искоренял ли он его уже и умеет ли вообще он обращаться с оружием – было непонятно.

Свободное время он посвящал чтению духовных книг и умел в случае необходимости приготовить превосходный обед, состоящий всего из нескольких блюд, но зато отличных.

– Я ем дома, – сказал он и указал на микроволновку. – Мне не нравится есть в баре. Там по большей части невоспитанные люди. Ужасные. Все и так-то Бога забыли...

Но в бар он меня всё-таки привёл и терпеливо высидел полчаса, чтобы снова скрыться в своей келье.

А бар тут был примечательный, и в несколько приёмов мне рассказали его историю. Андрюша Базэн рассказывал её скорбно, будто повесть о грехопадении, Атос – иронично, а Мушкет – с любовью. (Для Мушкета это вообще было любимое место в жизни – отрада дней его сталкерских суровых.)

– Мне братва хвалила разные места, – горячился Мушкет. – Вон гуру Успенский говорит, что бар в Зоне – всё равно что поэт в России. То есть он больше, чем бар. Это и гостиница, и филиал банка, и медпункт, и фактория для сбора артефактов, и клуб по интересам. Правда, он считает, что самый главный бар – это «Хардчо», но это всё из-за того, что все сразу вспоминают такие едадьни, как «Боржч» и «Шти».

Это всё фигня, наш – лучше, и потому что чище, и потому что публика тут умнее, да и повара круче.

Назывался бар «Пилов».

Я сперва решил, что это экзотическая фамилия, или чья-то франшиза – скажем, неизвестной мне фирмы «Pivav Ltd», но нет, это оказался обычный плов, только искажённый в написании. Откуда-то пошла странная мода называть бары на Зоне такими причудливыми именами еды, причём обязательно искажёнными.

Бар «Пилов» основали таджики, которых наняли на строительство научного городка.

Таджики куда-то растворились – одни по привычке нанимались на тяжёлые работы в Зоне, служили отмычками, и, видимо, все сгинули в болотах и ржавых лесах. Другие мигрировали дальше на запад, продолжая копать котлованы. И выполнять нехитрую строительную работу. Честно говоря, все мои собеседники рассказывали об этих таджиках

так, что я понимал – «таджик» название условное, то есть это просто восточные люди.

«Таджиком», вне зависимости от национальности, давно называли неприхотливого восточного человека, который ни на что не обижался, работал постоянно, прерываясь только на сон и все небогатые деньги переводил на родину.

Итак, таджики куда-то пропали, но гигантская столовая, которую они построили, осталась. Её на какой-то срок откупил некий дагестанец, что мечтал заняться туристическим бизнесом. Поэтому он пристроил к столовой небольшую гостиницу и – в охраняемом закутке отделение связи и банк. Связь представляла собой два телефонных автомата и неработающую аппаратуру wi-fi. Туристы в научном городке чувствовали себя более защищенными – под боком стояли военные, и место было вполне безопасное.

Но вдруг дагестанец куда-то пропал – не разорился, не бежал, а просто пропал, будто его и не было. Его немногочисленные работники уныло бродили среди пустых гостиничных комнат и холодных помещений кухни.

И тут появился Алик. К этому времени поток туристов иссяк, после знаменитого прорыва на Киев туристы почуяли реальную опасность и поток их превратился в тонкий пересыхающий ручеёк, а учёные питались своей немудрёной едой по своим комнатам-норам. Алик сохранил дурацкую надпись «Пилов», сделанную на неизвестно каком языке над входом, отладил систему безопасности (оказалось, что неизвестные таджики по своей землеройной привычке отрыли под своей столовой целый бункер на случай выбросов) и нанял новый персонал.

– Итак, – говорил Мушкет, – хозяином в нашем заведении стал Алик Анкешеев, да продлятся дни его и расточатся враги его, и да пребудет с ним баранина и рис! Алик всегда был человек суровый, такой, что его самый забубённый сталкер боялся. Чуть что, схватит сковородку, да как треснет по башке!

Это был такой рецидив Клондайка.

Дело в том, что Зона, брат, представляет собой полный аналог Клондайка – того самого, что мы помним по рассказам Джека Лондона.

Цивилизации нужен Клондайк, потому что цивилизации нужны герои в агрессивной среде, так-то, брат.

А в жизни всё не так. Больше всего во время Золотой лихорадки зарабатывают не те, кто стоит с лотком у реки, а те, кто обеспечивает старателей продовольствием и перекупает драгоценный металл.

Старатели лишь низовые работники – гибнут пачками, страдают от болезней, дерутся и убивают друг друга.

Век старателя короток, а реальные деньги приносит инфраструктура. Только инфраструктура, понимаешь, Серёжа? А мы, сталкеры – такие романтики, у нас денег-то реальных и не было никогда. Только в легендах и байках. Деньги в инфраструктуре (он с каким-то странным наслаждением произносил это слово), деньги – они в снабжении. Когда канадцы и американцы основали Доусон, соль там продавалась по цене золота, одно яйцо стоило доллар, а корова – шестнадцать тысяч баксов. Золото вообще оказалось самым дешёвым товаром – как и артефакты внутри Зоны и в барах по её Периметру. Говорят, что в Калифорнии золотая лихорадка началась вовсе не с того, что была обнаружена первая россыпь, а с того, что один торговец смекнул, что с его торговли будет больше дохода от пришлых людей. Он начал всюду носиться со своим золотом, даже бегал с ним по улицам – и вот результат!

Со сталкеров кормились все: бандиты и журналисты, перекупщики и специалисты по логистике. Артефакты были золотом Клондайка, Калифорнии и Колымы, а сталкеры – старателями.

Всё повторялось, мир был устроен празднично и мудро, хотя и недобро.

Я понимал весь пафос этой истории, рассказанной Мушкетом.

Это действительно была романтика, мужская неустроенная сентиментальность – я помнил такое отношение к месту проживания и питания у многих людей. Например, в

«Приюте одиннадцати» на Эльбрусе, в горнолыжных гостиницах, где контингент не меняется десятилетиями, в барах при яхтенных клубах, где я сам зависал почти всю мою американскую жизнь. Алик был той частью инфраструктуры, от которой нельзя было отказаться. Он был частью этого сталкерского мира, хотя редко показывался за стойкой. Для этого у него был не менее популярный помощник по прозвищу Борода.

Звучало это несколько издевательски – борода у этого помощника оказалась жиденькой и тоненькой. Такие бороды рисуют на старинных китайских гравюрах – у стариков-философов, что сидят над книгами. Борода этот, конечно, не сидел, а стоял, но был очень похож на даоса, по непонятным причинам вынужденного поить своих странных клиентов.

Я подсел за столик к старым знакомым.

Столик – это, впрочем, было одно название. Тут были столы, даже столища – ни в одной драке не разломаешь.

За столом сидели сталкеры с фамилиями, что было у них редкость – Селифанов и Петрушин, чуть дальше ел что-то из огромной миски Мушкет, а двое других, неизвестных мне, курили, попивая омерзительное пиво из банок. Пиво в лилово-оранжевой банке не может быть хорошим, я так считаю.

Селифанов и Петрушин сидели рядом. Вдруг Селифанов выплыл из какого наркотического трипа, сказал:

– А знаешь, кто на самом деле Чёрный Сталкер? Знаешь, кто?

Голос у него дрогнул, как обычно бывает у людей, что рассказывают историю не по первому разу, но хотят привлечь к ней особенное внимание.

– А это капитан Рублёв!

Петрушин крикнул:

– Какой, на хер, Рублёв! Что ты городишь!

– А вот такой Рублёв, – стукнул Селифанов по столу кулаком. Алик Анкешеев неодобрительно посмотрел в его сторону, но смолчал. Селифанов начал рассказывать.

Повесть о сталкере Рублёве

После знаменитых событий шестого года и прорыва на Киев, в нашей военно-страховой компании появился капитан Рублёв. Во что он в те чёрные дни вляпался, какая аномалия стала у него на пути, то ли тушканчики объели его по краю, то ли слепые собаки оторвали ему руку и ногу – неизвестно. Однако остался он настоящим героем-инвалидом. Медали, орден от ООН, нашивки за ранения и всё такое.

Но при этом почётная отставка и обычная военная пенсия в две копейки, как если бы он сам себе ногу по пьяни отстрелил. И руку, впрочем, тоже.

Оказалось, что никакого особого бюджета на инвалидов не было выделено, не ясен был и их правовой статус. Правовой статус-то и сейчас не ясен, просто перемерли все инвалиды по большей части. И так, не было на капитана Рублёва никакого приказа. А без приказа, может, в армии и может что случиться, а вот в финансовой сфере не может такого случиться никогда.

И вот отставной капитан Рублёв, скрипя пневматическими протезами, приезжает к своим родным – а там туда-сюда, отец-пенсионер, мать болеет и денег никаких, кроме продовольственных скидок, не предвидится. У нас ведь как: отставной капитан сразу устраивается в охрану, а какая может быть охрана, когда у человека только левая рука и дубинку держать неудобно.

Тогда Рублёв поехал по начальству и завертел известную шарманку: я за вас кровь проливал, я на колчаковских фронтах ранен, имею право на лучшую жизнь, Родина, помнишь ли ты своих героев? А, помнишь? Помнишь, сука? Ну, как только ты начинаешь такие слова произносить, так на тебя и своя охрана находится. Пришлось пробираться дальше и выше. Приехал капитан Рублёв в столицу, а там золотые купола, огни неоновых

реклам, казино Семирамиды и прочие радости. Пытался квартиру снять, тут-то его военная пенсия и кончилась. На улице просто так и пахнет деньгами, зайдёшь пельмени с соточкой в забегаловке взять, так сдерут прямо как здесь. (При этих словах Селифанов воровато оглянулся на барную стойку, но Алик Анкешеев уже ушёл куда-то на кухню, и его место занял бармен Борода.)

Начал Рублёв бегать по инстанциям, справки собирать да медалями звенеть. А начальства-то нет, то оно занято, время идёт, деньги кончаются, уж на бритвенные лезвия перестало хватать, а от пены для бритья капитан Рублёв давно отказался.

Наконец отправился капитан Рублёв в главный офис, уже не военный, а гражданский, туда, где не пластик по стенам, а мрамор, где не обычные лампочки, а энергосберегающие, где перед тем, как цапнуть ручку у двери, нужно сначала в сортир сбегать и руки помыть. А в том сортире тебя ещё обморок хватит, какое мыло там в дозаторе да какие зеркала.

Капитан Рублёв сел в приёмной, проходит час, другой, охрана в «тетрис» играет, народу вокруг набежало, причём не простого, а в орденах – у кого звезда «Меценат года», у кого «За достоинство предпринимателя» на пузе горит. Тут и хозяин вышел. Ну... можете представить себе: государственный человек! Подходит к одному, к другому и ласково так спрашивает: «Чё? Как? Зачем вы?»

Добрался и до Рублёва, а тот ему, собравшись с духом, и говорит: «Так и так, проливал кровь, пять ранений, в глаза кровососу глядел, слепые собаки моё тело рвали, пенсия маленькая. Спасите-помогите». Хозяин поглядел – всё правда, и справки в искусственной руке дрожат на сквозняке.

– Хорошо, – говорит, – зайдите завтра.

Капитан Рублёв радостный ушёл, нажрался, будто дело сделано, а через два дня снова в офис. Там говорят, что надо ещё подождать, а куда ждать, если уже и бритвенные лезвия кончились.

Потом и вовсе его в приёмную пускать не стали – охранник сразу перед ним турникет запирает.

Наконец капитан начал кричать у подъезда, как самый настоящий диссидент.

– Спасите-помогите!

Это дело увидел важный человек-с-мигалкой и говорит:

– Ведь сказал я уже вам: ждите, не сегодня.

Слово за слово, разговор стал накаляться, Рублёву говорят, что бюджеты не подписаны, а он гнёт, что кровь поливал. Ему – что кризис, а он – что товарищи, съеденные и недоеденные, по Зоне лежат.

Ему так:

– Сами пока поищите себе средств к существованию!

А он такой:

– А я здесь пенсии ждать буду!

Не нашли понимания.

Вызвали охрану, потащили к выходу да и выкинули в сугроб.

– Ну и ладно, – тогда заорал капитан Рублёв прямо в камеру видеонаблюдения. – Сам найду себе средство! Сказали – средство, будет вам средство! Существованию? Будет мне к существованию! Уж найду себе кусок хлеба, чё!

И пропал капитан Рублёв, будто его и не было. Так, понимаете, и слухи о нём канули в реку забвения, в Лету, как выражался покойный поэт Доризо. Итак, куда делся Рублёв, неизвестно, но не прошло, и двух месяцев, как появилась у нас тут на Зоне группировка Чорного Сталкера и паханом там был не кто другой...

– Да что за хрень ты городишь, – не утерпел Петрушин, – группировки такой нет. «Чёрная кошка» – была, да вся, как один, в болоте сгинула. Анархисты из «Чорного передела» пытались тут бомбу из «ведьминого студня» собрать, да их всех как один повязали. «Белые Сталкеры» были, да это оказалось подразделение «Долга», вот и всё.

Селифанов как-то растерялся, но тут же вывернулся, говоря, что это нам ещё

неизвестно, и если полицейские нам дадут почитать сводки, то там про Чорного Сталкера всё будет, всё там написано, и про искусственные руки и ноги в качестве примет – тоже.

Но тут Борода, всё слышавший, обидно заржал, да и все остальные тоже. Селифанов крепился-крепился, да и стал смеяться вместе со всеми.

Я пошёл к себе в отведённую комнатку и забылся рваным сном, в котором ко мне пришёл несчастный Портос.

– Да, – говорил он, – обещал на яхте покатать, а видишь, что вышло...

Сон прерывался, но каждый раз чувство вины накатывало снова.

Я стал ворочаться и вдруг услышал что-то странное.

За тонкой стенкой звучали два голоса.

Я прислушался и стал различать слова. Сначала я не поверил своим ушам – так взволнованно можно было говорить о личном, о неисправном осциллографе, о грантах, наконец. Это бы я понимал.

Но два человека, мужчина и женщина, видимо давно знакомые друг с другом и давно работающее в этом месте на Зоне говорили совсем о другом. О, Боже – они говорили о политике!

Рядом с непонятой и непонятной Зоной – да о политике.

Итак, слышал два голоса – мужской и женский, мужчина обладал хорошо поставленным баритоном, видимо, сказывалась какая-то преподавательская практика, женщина горячилась, сбивалась иногда не только с мысли, но и с самого ритма разговора.

– Я понимаю, я сама за новое. Я доктор наук и знаю, что жизнь моя не ограничивается пределами Зоны. Господи, я не знаю, как говорить об этом, моё дело – протоплазма. Мне всегда кажется, что все нужно разжевать. Иначе остается «поле для дискуссий». А все разговоры на эту тему уже говорены-переговорены. Но вот я уже написала половину длинного текста обращения – и пытаюсь выкинуть его в корзину, чтобы было, наконец, коротко. Аргументацию пытаюсь оставить за кадром. На выборы идти надо каждому, и даже нам – скоро выборы в Раду, и если мы будем прикрываться тем, что нам сложно выехать и положить лист в избирательную урну, то всё рухнет.

Я буду голосовать за «Союз Демократов» – без иллюзий. Но считаю это необходимым. Если вы не хотите голосовать за «Союз Демократов» – проголосуйте за «Апельсин». Хотя я лично Осташинскому не могу простить именно того, что он ни с кем не хочет объединяться и хочет остаться в белом. Но проголосуйте за «Апельсин», если не за «Союз Демократов». Если не за «Союз Демократов» и не за «Апельсин», то даже за коммунистов. Это может сработать в отдаленной перспективе, теоретически – для следующего поколения, если эта партия не только совершенно обуржуазится, но, главное, привыкнет, что она всегда в парламенте, и сила, и следующие поколения политиков будут достаточно амбициозны, чтобы считать, что они могут получить большой кусок пирога в открытой борьбе – и вот тогда борьба начнется, может быть. Альтернатива походу на выборы – выход на улицу с дубьем. Я так не хочу. В общем, идите и голосуйте за «Союз Демократов» – это мое мнение...

Вот идиоты! Я слушал это всё с удивлением. Какой-то «Апельсин»... Что за «Апельсин»? По Зоне бродили мутанты, солдату на прошлой неделе откусили голову, все ждали выброса, а эти двое говорили о политике. Я, конечно, с уважением относился к другому государству, но для меня это было дико. Видимо, мой жизненный опыт вытолкнул у меня весь давний ажиотаж выборов и битв политических карликов с административными гигантами.

А соседи мои продолжали беседовать, будто находясь в аудитории.

Они действительно были на своём придуманном семинаре, и я стал думать, что у них тоже есть правота – ничуть не хуже моей. Да какая у меня, беглеца, правда? Нету никакой, а тут – партии, выборное начало, демократия...

Другой голос продолжил:

– Но ваши мотивы не хуже прочих, но ведь, согласитесь, совершенно иррациональные. И дело не в том, есть шансы у «Союза Демократов» или нет, а в том, что это очень интересная протестная модель поведения. Что за партия, при этом – никто не знает. Кто назовёт мне третью фамилию за Миколой Квитко и Осташиным? Кто назовёт четвёртую фамилию за ними? Кто объяснит мне, что эти люди хотят, сколько их? Почему не представить, что весь этот призрачный «Союз Демократов» просто часть партии чиновников, которую отпихнули от кормушки? Нет, я понимаю людей, что голосуют за «Апельсин» – их традиция в рамках какого-то стиля. Ну, там Квитко, вечно обиженный Осташинский... Но стиль, стиль! А тут-то что? Мотив «Осташинский – мой друг» мне понятен. Или там «А моя девушка у них в предвыборном штабе работает»... Я вижу со стороны акт некоторого отчаяния, когда рвут на груди рубашку и кричат: «Пропадай, ридный край, или там что-то делай! Хватай мешки, вокзал отходит!». Но и тут я бы согласился – потому что к шаманизму я тоже отношусь с уважением. У меня впечатление, что для многих людей это французский симулякр, за которым нечто выдумываемое каждым самостоятельно: «Союз Демократов – это те, кто против Лещины», «Союз Демократов – это интеллект и бизнес», «Союз Демократов – это что-то хорошее, а если не будет хорошего, то всё будет плохо». Вот что такое «Союз Демократов»?

– Это партия, за которую я голосовала раньше, потому что считала ее хотя бы отчасти наследницей «лучших времён», наших надежд, за которую принимала уже решение не голосовать больше и за которую тем не менее пойду голосовать, сейчас мне больше не за кого. По любэ...

Я клянусь, они так и сказали «по любэ», как какие-то подростки. Нет, эти учёные с их лексиконом и их негасимыми, как Вечный Огонь, убеждениями были бесподобны.

– Причём тут выборы как фикция? Говоря проще – это как эмоциональные всплески после прочтения «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдючит бокрѣнка»¹⁸ – оно, конечно, бокрѣнка жалко, но его нет. Нет ложки. За символом «Апельсина» нет реального содержания. Ну, с «Великой Украиной», мне, например, не всё ясно. Я вообще завидую, людям, которым ясно всё. Например, мне совершенно непонятно, как функционирует «Великая Украина», какая там система внутрипартийной дисциплины. Я вот довольно хорошо представлял, какова она была в КПСС, но вот как функционирует «Великая Украина» (в которой, кстати, бывших членов КПСС больше, чем у нынешних коммунистов), мне непонятно. «Союз Демократов» имеет те же шансы, что NSDAP¹⁹ – (понятно, что это пример) а в том, что это как раз протестное голосование. Когда включается механизм бытовых объяснений: «холодно, далеко идти, напился в субботу, партайгеноссе – мой друг», этот механизм безупречен, потому что на многое не претендует, а вот когда кто-то декларирует рациональный механизм – мне хочется понять, какова степень его рациональности. Нет ли тут какой-то драки фантомов вроде куздры с бокрятами?

За стенкой помолчали, а потом тот же голос продолжил:

– Это, ну смешно писать такое, это «несогласие». Если сказать: «Я не хочу», наверняка всё равно сделают, но если не сказать, то уж сделают сто пудов, а жаловаться не на что будет. Просто переношу с житейской ситуации на политическую. «Холодно, не пойду» – это

¹⁸ Искусственная фраза на основе русского языка, придуманная академиком Л. В. Щербой в 1928 году, в которой все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков. Однако общий смысл фразы понятен. Это и является иллюстрацией того, что значение слова можно понять из его морфологии.

¹⁹ NSDAP – Национал-социалистская партия, Национал-социалистическая рабочая партия Германии (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), германская политическая партия (1919–1945).

рационально, когда приглашают на гулянку, тут не рациональное, а житейское. Житейски же это и понятно, по типу «все люди, все человеки», но здесь задача такова, что нельзя её решать таким способом, мне кажется. «Холодно, не пойду» здесь равно «Доверяю свой выбор соседу», что ж тут рационального?

– К этой позиции я отношусь с пониманием. То есть, к позиции именно, а не к её осмысленности. Потому как она как раз и изобилует симулякрами: «используем маленькую, но гордую партию как символ, а не как ставку» – вот конструирование этого символа как раз и есть производство симулякра. Почему не аграрии, к примеру? Что мы знаем про аграриев? Ничего, и то не все – как говорил Борис Заходер по другому поводу. Про «Союз Демократов» мы знаем только то, что они ведут себя сейчас ужасно безобразно. То есть я наблюдаю как раз симулякр «вот-правильный-выбор-потому-что-это хорошо», непонятно даже, отчего участие в выборах необходимо. Отчего массовая неявка миллионов – меньшее послание обществу, чем голосование за «Союз Демократов»? Я не против голосования по мистическим мотивам. Я против объявления его рациональным выбором.

– Вы множите сущности. Американцы мне вообще не указ, известно, что никакой Америки нет и волны Атлантического океана разбиваются о брег Шепетовки. Как они там в своей воображаемой Америке – мне даже подумать страшно. Мы тут сами виноваты – я занимался матстатистикой и упустил многое в жизни нашей страны. Я пока не знаю, как мне нужно было поступить, но явно не так. Вы занимались мутагенными структурами, может, вы знаете ответ? Мы честно делали свою работу, и нас не в чем упрекнуть. Мы выполнили свой долг как учёные и теперь должны выполнить свой долг как граждане.

Я лично вижу всего два варианта поведения, при условии, что идти на выборы решено. Первый – это отринуть все и проголосовать за наиболее близких. Например, «зелёных» (условно, потому что то, что зелёные хотят сделать с Зоной, – ужасно). Возможно, я так и поступлю, вы меня вольно или неволью к этому подтолкнули. Второй – попробовать совместить в голове все эти проценты, избирательные залогов, «эффекты бабочки»... Поймите, в политике нам нужно идти от нашей работы – от криминала в Зоне, от хищников, от торговли бесценными артефактами...

– Во-первых, я всё время говорю, что я как раз «враг всем», а вовсе «не враг никому». Во-вторых, Америка тут вот при чём: это пример, показывающий, что выбор можно делегировать. Это такой пинг-понг: вы говорите «нельзя» или «мы должны», а я каждый раз объясняю, что вы в этот момент как раз и создаёте новую, сакральную сущность, когда говорите, что нельзя, но под этим запретом нет рационального начала. Предъявите начало – тогда другое дело.

В-третьих, в самом слове «симулякр», как в понятии, нет ничего зазорного – если понимать, что это. Это такой выход эмоций (интеллигенты обычно любят крикнуть про какой-то мор и глад – но мы-то знаем, что произошло с населением Зоны и как с ним обошлись). «Нанотехнологии» – тоже вполне себе симулякр, и понимать, что миллионы людей употребляют эти слова, наполняют их разным смыслом, иногда договариваясь о значении, иногда нет – очень полезно. Вполне себе работоспособное понятие.

В-четвёртых, я отделяю «научное решение задачи» от эмоциональной компенсации. Причём и за тем и за другим признаю равное право на существование. Это как с курением – одно дело, когда знаешь, что происходит у тебя в организме, а другое – нет.

Поэтому если человек говорит: «Я голосую так, потому что мне так сердце велело» – это позиция этически, эстетически и логически безупречная. А вот если он говорит: «Я голосую так, потому что это приведет к тому-то и тому-то, и будет хорошо (плохо)» – то с неё, с этой позиции совсем иной спрос.

– Вы, мне кажется, нападаете в моих репликах на частности и раскрываете мои кавычки, т. е. приписываете мне то, что я не говорила, не замечаете специально сделанных оговорок. В ваших словах тоже стало заметно стремление возражать воображаемому оппоненту. Может быть, к этому располагает формат разговора.

– Ну вот, вот, глядите – я снова получил от вас пакет умноженных сущностей.

Показываю, где они: вот, например, вы говорите: «Только, на мой взгляд, это фиксация предпочтений неизвестно кого, неизвестно чему, поскольку те, кто сейчас голосует за „Великую Украину“, голосует за образ. Это вообще огромная и большинством не осмысленная гомозня».

Я не сторонник партии «Великой Украины» (хотя функционирование чиновничьей партии мне более понятно), однако вы здесь упрекаете голосующих за неё в непонимании, что она такое. Так вот, на протяжении нескольких циклов разговора вы убеждаете меня, право, успешно, что и Союз Демократов и «Апельсин» для вас такие же симулякры, как «Великая Украина». Не о том мы говорим, не о том, что нужно. А нужна теория малых дел – надо рассматривать ту партию, которая вернёт науке реальную силу. Которая обеспечит ассигнования. Вы посмотрите, какой позор у нас с исследованиями.

– У москалей не лучше...

– А это не важно! Нам здесь трэба прогнуть политиков, чтобы они обеспечили бы борьбу с коррупцией и Теневыми Хозяевами Зоны. Без этого не начнётся нормальная жизнь и не начнётся нормальная работа. Пока мы не встали с колен, пока бандюки жируют, мы ничего не добьёмся. И только с помощью выборов...

* * *

«Вот ужас-то», – подумал я. Я представил себе этих немолодых людей, что изо дня в день занимаются своей нелинейной оптикой, а дети их подрастают в Киеве, и внуки, поди, тоже подрастают.

А они брошены здесь со своими симулякрами и безумцами, с электронным голосованием и голосованием личным – и нет ничего, нет перспектив, я вот, со стороны, вовсе не понимал различия между теми партиями, которые они тут называли.

Внуки подрастают, а здесь всё то же – серое небо Зоны и никакой политики.

То, что они говорили о своей политике по-русски, только добавляло сюрреализма.

Глава девятая

«Это после Эрвина, – понял он, – они перекрывают дороги на восток и на юг. В общем, довольно наивно, хотя в принципе правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии».

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Москва, 1988 год, начало июня. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. На кого надежда современной науки? А не отправиться ли нам в путешествие?

– На вас вся надежда, – приблизив своё лицо к моему, сказал Тревилль. Он говорил тихо, но яростно.

В этот момент наш учитель выглядел будто одержимый.

– На тебя и на Атоса. Портос – хороший человек, но он не учёный, он станет идеальным докладчиком, он будет выбивать для вас фонды и представлять. Но он не учёный. Д'Артаньян – человек слова и внутреннего порядка, но он тоже не учёный. Он умён и инициативен, но он не учёный, ему нужно что-то другое, то, чего он не знает сам. Я тоже этого не знаю.

Так что вся надежда на вас.

– Да-да, – говорил я в ответ, потому что действительно понимал: вся надежда на нас. Нас четверо, и мы делаем субмолекулярный компьютер. Да-да, ещё год, и мы сделаем компьютер, который в качестве процессора будет использовать атомы человеческого тела. Человек, подвергнутый сложным воздействиям, должен как бы вырастить у себя в голове дополнительный процессор, который позволяет в сотни раз быстрее анализировать

ситуацию, мгновенно принимать сложные решения и обладать феноменальной памятью. По сути, это модификация одного из участков головного мозга. Несколько лет мы бились над проблемой, пока надежда не улетучилась.

Исчезли надежды, а это дело такое – когда исчезает надежда, то документов по этому поводу не составляется, но все знают: все изменилось неотвратно.

Теперь надежды были другие, и Мушкет говорил:

– Человечество не живёт с артефактов, человечество живёт с производства. Производству не нужны минералы Зоны. Ему нужно что-то другое, почти невидимое – как воздух.

Промышленности, к примеру, не нужны золотые самородки, промышленность живёт золотой пылью, мелкими фракциями – под них стоят на северных реках драги, их химическими способами выделяют из твёрдых растворов.

Зона нужна туристам и ювелирам – вот что я скажу.

Она нужна ещё романтикам, но с романтиками было проще. Они быстро выгорали, как мотыльки, прилетевшие из прохладного сада к огоньку лампы на веранде.

В первые времена я видел тут нескольких ребят с портретами Че Гевары на груди. Говорить об этих романтиках сейчас как-то неловко. Они давно погибли, и не мне глумиться над их наивными попытками установить вокруг саркофага царство мира и справедливости.

Первым делом они привозили в Зону свою подружку в хипповских фенечках и книгу Че Гевары «Партизанская война».

Мы хорошо знали летопись партизанской войны на Кубе. Мы были в юности не меньшими романтиками, чем наши отцы, для которых Куба была современностью, и не меньшими, чем эти городские мальчики и девочки, что хотели найти романтику вокруг саркофага.

Поэтому события, выросшие из мелких стычек, небольшой стрельбы («В то время у нас было девять винтовок с телескопическим прицелом, пять полуавтоматических винтовок, четыре простые винтовки, два пулемёта „Томпсон“, два автомата и одно охотничье ружьё 16-го калибра»), стали полномасштабной войной.

И тут, среди болот и холмов Зоны, они хотели замутить что-то подобное.

Вместо гангстерских автоматов Томпсона у них были Калашниковы, вместо «Гранмы» – катера на Затоне.

Батиста тут был виртуальный – Батистой служили бандиты и военные сталкеры. Тут некоторым романтикам пришёл конец – их вывели в расход, а их подружек, пустив по рукам, застрелили позднее.

Я тогда не мог понять, помогает ли книга «Партизанская война» в реальном создании группировок внутри Зоны.

В это бы я не верил, но один из выживших утверждал, что перед своим успехом выучил эту книгу наизусть.

По его словам, в этой книге как повидло внутри пирожка притаился настоящий учебник настоящей партизанской войны. Это не война в городе, не манёвренная война на равнине – все рекомендации привязаны к латиноамериканской географии. Че Гевара пишет: «...Из этого следует, что партизану надо действовать в малонаселённой местности... Он выражает волю огромных крестьянских масс, желающих стать подлинными хозяевами земли, средств производства, скота – всего того, к чему он стремился в течение многих лет и что составляет основу его жизни». Помимо рассуждений о социальном предназначении партизана, там были инструкции по созданию партизанского отряда – которые вполне годились для условий внутри Зоны.

Там среди текста были рисунки автоматического оружия, клейма на донных частях патронных гильз, а также учебные рисунки самого Че – устройство противотанкового рва, обучение стрельбе и прочие суворовские премудрости. Это не просто учебник по тактике и стратегии, а скорее учебник партизанской жизни с наставлениями вроде: «Важную роль в жизни партизана играет курево (сигары или мелко нарезанный табак для трубки). Курево –

неразлучный спутник солдата. Для тех, кто курит, весьма кстати трубка. Благодаря ей табак расходуется более экономно, что особенно важно в те моменты, когда курево на исходе. В трубке можно курить и остатки сигар и табак из окурков».

Че Гевара был абсолютно актуален.

География меняется, а приёмы остаются прежними – «источники получения взрывчатки различны. Одним из источников могут служить невзорвавшиеся бомбы, сброшенные с вражеских самолётов. Можно также самим изготовить взрывчатку в партизанской зоне в подпольных лабораториях». А уж методика засад на войсковые колонны будто взята из сегодняшних газет.

И в царстве аномалий и мутантов всё это вполне годилось, потому что с наружной стороны Периметра было вполне буржуазное общество. Массовое безумие западной интеллигенции шестидесятых и семидесятых, связанное с романтикой революционного восстания, давно сменилось безразличной буржуазностью. Раньше, для поколения отцов тех мальчиков, что рвались внутрь, через Периметр, Че Гевара был у нас чем-то вроде экзотического фрукта, какой-нибудь маракуйи, вкус которого неизвестен и неизвестно даже, существовал ли он на самом деле. А для этих Че был реальностью.

Зона, исполнение желаний, мысль о том, что счастья хватит всем и никто не уйдёт обиженным, была для них не отвлечённым суждением, а прямым руководством к действию. Они пришли в Зону сличить романтический миф о восстании с трагической кровавой неразберихой, которая начинается потом, перемешивая плоть правых и виноватых с землёй.

Да только они создали две, нет – даже три секты. Доказали они только то, что экзотический фрукт давно уже пророс на нашем огороде, просто мы долго принимали его за обыкновенную картошку.

Две секты выкосили военные сталкеры.

Они просто окружали места проживания всей этой хиппоты, вооружённой автоматами Калашникова, и шаршили по площадям из ротных миномётов. Все эти сектанты, как правило, были укурены или не могли отойти от «ведьмина порошка».

Третья секта долго меняла точки и дислокации, дожила до нашего времени, и этот мой приятель сидел в своём бункере и приторговывал «ведьминой пылью» – какой-то наркотической супесью, что собирали около саркофага.

Он по-прежнему носил майку с Че Геварой. Че смотрел вверх, видимо, на дреды бывшего мальчика, а сам мальчик окончательно стал похож на колумбийского наркобарона...

* * *

Я слушал Мушкета внимательно, пока не понимая, зачем мне нужны эти истории из летописного свода легенд о Зоне. Но они точно были мне нужны, как-то они оказывались важны для переосмысления моей жизни.

Прошло совсем немного времени, но мне казалось, что я тут засиделся.

Атос однажды улетел в Москву, и я слонялся без дела по комнате. Но вдруг что-то меня толкнуло – скорее всего это была чистая интуиция. Я выглянул в окно и увидел украинского полицейского в тёмно-синей форме. Он вышел из соседнего корпуса и теперь прогуливался по дорожке, рассматривая наши окна.

Это мне сразу не понравилось, и я пошёл к Гримо.

Он был не рад мне. Он вообще никогда не был мне рад – сомневаюсь даже, что он радовался чему-нибудь, кроме своевременной сдачи отчёта.

– Я, Роман Алексеевич, заявляюсь на поиск. Маршрут, прокладка и прочая документация уже у вас в компьютере.

Гримо поджал губы.

– Вам нельзя выходить одному. Более того, я не уверен, что Николай Павлович хотел бы, чтобы вы выходили даже в коллективный поиск.

- Об одиночном поиске речи нет. Я пойду с Палачом – он сказал, что поможет.
- Он хочет дополнительных денег? – озабоченно спросил Гримо.
- Нет. Вроде нет, всё в рамках контракта.
- Тогда хорошо.

Мы раскланялись – преувеличенно вежливо.

Наутро я вышел из домика, и, ёжась от утренней свежести, забежал в «Пилов».

Там я увидел знакомый капюшон. Палач пил свой кофе, медленно и со значением, будто причащался.

– Ну как? – это вообще означало что угодно.

– Нет, я не смогу, – сказал Палач, помедлив, – у меня работа подвалила.

Глава десятая

Штирлиц все понял. «А я считал его трусом», – вспомнил он.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 7 мая. Эрик Калыньш по прозвищу Палач. Отправляясь в путь с богатыми людьми, никогда не знаешь, какими проблемами это обернётся. Охота на кровососа и битва со снарком.

Работа у него действительно подвалила.

Она была на грани закона, то есть незаконной, но редко наказуемой.

Но сначала нужно сказать об имени. Имена, на самом деле, – это самое важное, и всегда сначала нужно говорить о значении имени.

Кличку ему дали за то, что он носил старинную обрезающую плащ-палатку – а там огромный капюшон, потому что плащ-палатка рассчитана на то, что её на фуражку натягивают.

Вот и пошло – «палач» да «палач».

У него и плащ-палатка пропала давно, а кликуха осталась.

Палач всегда говорил: «Я хабар принципиально не собираю. Я служу проводником. Раньше я водил туристов, в основном иностранцев – у меня прилично с языками. Теперь я у учёных, и всё прошлое не важно».

Но это была неправда, важно было многое, и прошлое тянулось к нынешним поступкам Палача, определяло их, иногда отменяло... Просто не все это могли видеть.

Вот, например, Мушкет считал себя учеником Палача и знал о нём много.

Но Мушкет, за исключением редких случаев, своего знания не проявлял.

Эрик Калыньш был среднего роста, рыжеватый, с жёсткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Улыбался он, впрочем, редко.

Проводник по кличке Палач хорошо помнил одну такую историю. Один небедный человек, приехал в Зону на зимнюю охоту. Его вывели на развалины старого завода, который в обиходе назывался «Корпорация монстров». Но сталкеры-проводники забыли его предупредить, что надо оттоптать снег вокруг себя, создать площадку для перемены позиции. Сам он не догадался, и вот когда большой как медведь монстр вылез из подвала, охотник не успел убежать – ноги его увязли в снегу.

Монстр схватил незадачливого гостя и стал грызть ему лоб.

Так, собственно, и кончилась охота. Потом выяснилось, что покойный был знаменитостью, и Палач сам видел заголовки газет «Зомби выгрыз мозг знаменитого писателя», «Нравственное начало съедено на Зоне».

Но это были издержки, под которыми всякий подписывался – коли уж хочется за Периметр.

А теперь у него были новые клиенты.

Это были муж и жена, что приехали в Зону с целью охоты. Охота была странной целью – все туристы делились для Палача на три категории.

Одни – румяные весельчаки с пивными животами. Они много о себе не думали и довольствовались путешествием в специально отведенные участки, которые и находились-то по ту сторону Периметра, на незаражённых территориях. Там не было радиации, не было аномалий и мутантов. Впрочем, была сделана поддельная «комариная плешь» с гигантским магнитом, куда при известной сноровке броска и точности кидающего, легко засасывало гайки. Был неопасный искусственный ржавый пух, который пускала машина, ранее делавшая мыльные пузыри в киевском Парке культуры и отдыха. Время от времени в кустах поднимались резиновые зомби, по которым радостно палили все – и проводники и туристы.

Всюду была жизнь – и деньги капали: как и за пребывание на этой фальшивой Зоне, так и за страховку этого пребывания.

Самое интересное в этом было то, что все знали, что зона фальшивая.

Виной всему Интернет. Естественно, что все пользовались и GPS, но благодаря блоггерам, что постили в своих уютных дневниках фотографии и отчёты, скоро стало понятно, что каждый раз зомби появляется в одних и тех же кустах. Каждый раз до Монолита не удаётся дойти по совершенно объективной, но одной и той же причине. Всё повторялось – и даже лица каких-то бандитов из непоименованных группировок, что пытались напасть на отряд туристов.

Но оказалось, что это всех устраивает. Хозяев аттракциона устраивали деньги, туристов устраивала возможность врать у себя на родине о пережитом, причём всем не объяснишь, что это – подделка.

Палач даже всерьёз не презирал этих людей. Он и за людей-то их не считал. Разве это люди, что хотят отдать свои деньги не за что-то реальное, не напиться наконец, а отдать заработанное за очевидный обман.

Вторая категория была трагической, и Палач её избегал.

Это были люди, что всерьёз хотели, чтобы их желание исполнилось. Некоторые сталкеры-проводники их тоже обманывали. Обычно их действительно водили по Зоне, и за большие деньги они тайно пересекали Периметр, но ни до какого Монолита их не доводили. Проводники вместе с ними спускались в один из тоннелей, долго гоняли по кругу, а потом заявляли, что они находятся в специальном штреке под реактором. Этот штрек был якобы прорыт московскими метростроевцами для контроля обстановки – на самом деле проводник и его подопечные стояли в никому раньше не интересной части тоннеля. Просто стены тут были покрашены чёрным, и повсюду торчали ведущие в неизвестность трубы.

И вот тогда люди рушились на колени и начинали просить у Монолита здоровья себе или близким, чтобы сын-даун стал нормальным мальчиком, чтобы дочь выздоровела, чтобы исчезла раковая опухоль у отца, чтобы случилась ещё тысяча чудес, о которых говорилось тихо, так что не слышали проводники.

Но на этом деле сталкеры, даже самые циничные, долго не выдерживали.

Некоторые вешались, довольно много проводников к фальшивому Монолиту как бы невзначай шагнули в аномалии, вмиг испепелившие их или же разорвавшие их тела.

«Бог есть, – говорил учитель Палача. – Бог есть, только не всем виден».

Палач только один раз провёл одну женщину к фальшивому Монолиту. Она долго трогала дрожащими пальцами холодный бетон, а обратно ему пришлось тащить клиентку на себе. Когда они прощались, Палач смотрел в сторону, и его внутренности жгло, будто от смертельного лучевого удара.

На его удивление, через два месяца на адрес бара, где он просиживал день за днём у стойки, пришло письмо из Австралии. Женщина благодарила его, потому что сын её выздоровел.

В тот день, ошарашенный, он напился как последний сосунок и дал себе зарок никогда, никогда, никогда не повторять этого опыта.

Слово, данное себе и неназываемым им силам, Палач держал крепче военной присяги.

Но была ещё третья категория клиентов – это были специальные заказы. Заказы от ученых (иногда в Зону нужно было доставить не человека, а контейнер с аппаратурой, убедиться в его исправности, а потом снять) или принести образцы воды и почвы.

Бывали заказы от военных, которые прекрасно понимали, что можно сунуться в незнакомое место, но лучше скинуться и дать немного (или много) денег, чем потерять трёх-четырёх бойцов.

Палач любил такую работу – она была опасной только внутри Периметра, но вовне придаться к нему нельзя.

Мужчина и женщина, американцы, вышли на него через посредника. Сперва у Палача было впечатление, что всё это психологические штучки. Совет психолога для сбережения брака, или ещё что-то.

Он не вдавался в подробности – не его это дело.

Мужчина сказал, что ему нужно убить кровососа. Убить и всё, именно кровососа и только его. Американец был очень высокого роста, очень хорошо сложен, если рост баскетболиста не считать недостатком. У него были тёмные волосы, аккуратно подстриженные как у офицера. Палач отметил, что клиент кажется очень молодым – вряд ли ему больше тридцати пяти.

Сама по себе охота на кровососа была ненаказуемой.

Обычно богачи оформляли себя как независимых исследователей-зоологов – за деньги можно было сделать всё. Наказуемым актом был вывоз за пределы Периметра живого материала или живого, ставшего мёртвым.

А кровосос был королём фауны внутри Периметра. Высокий, чуть выше среднего человека, чрезвычайно сильный.

Все узнавали его, даже на размытых фотографиях, по специфическому ротовому отверстию. Не было комикса о Зоне, где кровосос не раскрывал бы свой рот, наполненный игловидными зубами.

Эрик ходил к учёным и из любопытства смотрел на препарированного кровососа – с коротким пищеводом и огромным желудком, который занимал почти всё туловище. Было интересно посмотреть то место, где можешь как-нибудь оказаться. Вернее, где может оказаться твоя выжимка. Сухой остаток жизни – крохотная мумия – окажется потом в кустах и её подьедят крысы.

Эрик тогда стоял в сторонке, а учёные пили горилку за другим столом. На одном столе лежал разрезанный труп, а люди в белых халатах резали сало и хлестали водку за другим, стоявшим рядом. Это Эрик одобрял – цинизм спасает разум.

Учёные при этом спорили, как кровососы размножаются и характерен ли для них гермафродитизм или нет. Причём и те, и другие спорщики время от времени тыкали пальцем в труп, лежавший у них за спиной. Видимо, он подтверждал одновременно разные их версии.

Как хороший сталкер-проводник Эрик знал повадки всякой твари, охотно рассказывал о них туристам, но понимал, что всё в Зоне условно.

К примеру, кровосос очень любил комнатную (или близкую к комнатной) температуру – потому что его тело собственной постоянной температуры не имело и подстраивалось под окружающую среду. Но однажды он увидел кровососа, спокойно прогуливающегося по снегу и явно не очень страдавшего от холода.

Палач собрал группу из трёх человек и через некоторое время они были готовы отправиться в путь.

Но вдруг всё осложнилось.

Американка пришла к Палачу в номер, когда они остановились в гостинице при баре «Пилов». Гостиница пустовала, но условия там были очень хорошие.

Причина сложностей была в том, что Американец ужасно трусил, он начал трусить уже на подходе, задолго даже до того, как они встретились. Жена им была чрезвычайно

недовольна, ей было стыдно перед людьми, стыдно перед собой, перед прожитой с мужем-трусом жизнью. И, видимо, чтобы отомстить, пришла в номер к Палачу – всё равно её муж оплачивал обе комнаты.

Она пришла и отомстила.

Эрик Калыньш по прозвищу Палач отнёсся к этому равнодушно, он и не такое видел.

А теперь она думала, что между ними возникало какое-то напряжение. Он-то так не думал, вовсе нет.

Плохо было то, что Американец это заметил, и ему было не всё равно. Но Эрику было это интересно только с той точки зрения, не начнётся ли у них взаимная истерика. Истерика может помешать, а дуться они могут сколько угодно.

Американец, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о кровососах, проснулся и понял, что жена ушла. Он пролежал без сна два часа, а потом жена скрипнула дверью и долго принимала душ. Он спросил её, где она была, хотя сам уже догадался. Жена ответила, что выходила покурить. «Ну и подышать воздухом», добавила она.

– Тебе не кажется, что это бессмысленное сочетание? – спросил Американец.

– А что я должна сказать, милый?

– Шлюха! Шлюха! Шлюха! – и голос его сорвался.

– А ты – трус. Вот так-то.

Это был мощный аргумент, жена попала в самое яблочко, так что они начали ругаться. У них давно было всё плохо, и насчёт семейного психиатра Эрик был прав. Они ругались, и Американка говорила, что хочет спать, а потом Американец говорил, что хочет спать и завтра тяжёлый день, но они не могли остановиться и обменивались репликами ещё час.

А Эрик Калыньш по прозвищу Палач спал спокойно, вовсе не думая о женщине, что была у него. Если будешь думать о таких мелочах, то на работу останется мало времени. Он думал о кровососе, который сейчас тоже не спит в своём убежище, а может, и спит, чтобы утром выйти и искать себе подругу – если не врут те из учёных, кто считает, что им нужны подруги. Кровосос, до которого он хотел добраться, сидел в развалинах, а днём должен выйти на большой луг перед ними. Лучше всего, конечно, было выманить кровососа на открытое пространство, где Американец, вероятно, смог бы пострелять по нему с меньшим риском.

Ему не хотелось охотиться с Американцем ни на кровососов, ни на какого другого монстра, но он был профессионал, и контракт, пусть и устный, был для него законом. Эрику еще не с такими типами приходилось иметь дело.

Если они завтра найдут кровососа, то сделают своё дело быстро, и даст бог, всё обойдётся. А вот если они будут искать кровососа долго, то может произойти невесть что. Этот трусливый бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдётся. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Американец тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват.

Плохо только одно – она переспала с ним до основного дела, а не после. После – это часто бывало, когда туристы возвращались обратно, но их ещё трепал адреналиновый шторм. Они тут же напивались, и мужчины часто напивались сильнее своих женщин.

Эрик знал свою клиентуру – веселящиеся светские львы и львицы, спортсмены-любители из всех стран, их женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке со сталкером. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. И этих своих клиентов, как ему казалось, он *вычислил*. Это такой очень стабильный союз, который он не раз видел. Союз, в котором мужчина и женщина похожи на зомби и наперегонки выедают мозг друг другу. Красота жены была залогом того, что муж никогда с ней не разведется; а богатство мужа было залогом того, что жена никогда его не бросит.

Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока он был нанят, их мерки были его мерками.

Они были его мерками во всем, кроме самой охоты на Зоне. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого проводника. Он знал, что все они уважают его за это.

И он перестал думать об этой супружеской паре и принялся думать о гипножабе. Он всегда думал перед сном о гипножабе, то есть о Чернобыльском Земноводном Контролере, потому что поймать Земноводного Контролёра было главной мечтой его жизни.

Они позавтракали до рассвета.

Супружеская пара смотрела в разные стороны, и американцы не разговаривали друг с другом. Всё оказалось хуже, чем он думал. «Значит, она его разбудила, когда вернулась, – подумал Эрик Калыньш по прозвищу Палач, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. – Плохо, но он сам виноват. Ну и следил бы за женой получше, ведь видно же, что она ни в грош его не ставит. Следил бы за ней получше, а не катался на опасное сафари». Женщина, кстати, показалась ему более красивой, чем ночью – в ней была поутру какая-то особая свежесть, прелесть невинности. Ночью она показала, что умеет очень много, даже слишком много. И говорила такое, что даже Эрику было внове. «Нет, этот Американец сам виноват, что женился на такой. Только как бы он на маршруте не закатал бы разрывную пулю не в кровососа, а мне в затылок».

– Как вы думаете, найдем мы кровососа? – спросила американка, отодвигая тарелку с консервированной спаржей.

– Вероятно, – сказал Эрик Калыньш и улыбнулся ей. – Только вам лучше остаться в посёлке.

– Ни за что, – ответила она. – Вы же помните про контракт?

– Прикажете ей остаться в гостинице, – сказал Эрик Американцу.

– Сами прикажете, – ответил Американец холодно. Сталкер даже удивился, как твёрдо и непреклонно он это бросил.

– Давайте лучше без приказаний! – сказала она, а потом, повернувшись к своему мужу, добавила: – И без глупостей с нравоучениями.

Вышло у неё это даже как-то весело.

– Так пошли? – спросил Американец, а сам подумал, что вот это и есть дрянь, и он тоже виноват, он должен был это предчувствовать. А теперь они все в дерьме.

– Может, вы сами останетесь с ней в гостинице и предоставите мне поохотиться на кровососа одному? То есть, с вашей командой, ведь там ещё два человека? – спросил Американец.

– Не имею права, – сказал сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач. – Бросьте вы вздор болтать.

Перед выходом супруги опять обменялись негодующими репликами, и Эрик стал думать, не покружить ли с ними в течении дня по ближним тропинкам, и не привести ли обратно, пока ничего не случилось.

Ещё до того, как окончательно стало светло, Эрик вывел группу в Зону.

Они шли довольно долго, чтобы успеть миновать место, где через долину обычно ходили сталкеры с хабаром на нелегальную скупку. Многих из них Эрик знал, они знали его, но всё равно, лучше было не светиться. Тут он заметил, что Американец нервничает.

Когда клиент отстал и Эрик подошёл к нему, чтобы понять, что случилось, тот поднял на него полные страха глаза.

– Я не хочу туда идти, – сказал Американец. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит.

– Я тоже, – сказал Эрик бодро. – Но ничего не поделаешь.

Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Американца и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо.

– Вы, конечно, можете не ходить, – сказал он. – Для этого меня и нанимают. Поэтому я и стою так дорого. Боюсь, правда, скидки не будет.

– То есть вы хотите пойти один?

– Ну нет, мы вернёмся все. Но ведь кто узнает? А с женой вы как-нибудь договоритесь. Фотографий мы всё равно наделаем красивых, ну и купим сувениров – они уж точно будут настоящие.

Эрик до сих пор был занят исключительно кровососом и прикидками, как дойти до его логова вовремя, и вовсе не думал, что Американец может так трусить. Он скорее боялся, что тот будет в бешенстве и неровен час затеет драку, и что тогда делать – непонятно. А теперь Эрик почувствовал себя так, словно подсмотрел что-то неприличное. Уж лучше б он пошёл в маршрут с тем москвичем из группы Гольцева, который предлагал ему отправиться на поиски экзотических артефактов.

Это было, правда, за зарплату, на официальных выходах много не заработаешь. Но уж точно, что такого дерьма, как тут, не огребёшь. Москвич был с виду нормальный, хоть и тоже жил в Америке.

Он точно был не турист. Нормальный мужик с нормальным для учёных фанатичным блеском в глазах. Но удерживать зелёных непрофессионалов было всё же легче, чем толкать вперёд эту размазню.

Проходя через холмы и миновав заросшее мочалой колхозное поле, они подняли стадо тушканчиков.

Это не были, конечно, обычные тушканчики – просто тварь, которую проще так называть. Непонятно вообще, от кого они произошли – может, от зайцев, а может от крысы или иного грызуна, почуявшего силу Зоны. Причём они двигаются также быстро, но подпрыгивая на длинных лапках – прыг-прыг, и вот они собрались в стаю – и не дай бог оказаться у них на пути в одиночку. Тушканчик зоны чем-то похож на помесь крысы с собакой – не больше полуметра высотой.

Палач этих тварей не любил, хотя Абдулла, усмехаясь, говорил, что он просто не умеет их готовить. Их ели, да – кажется, только лапки – лузгали эти жареные лапки, как семечки.

Но Палачу было это не интересно – мало ли причуд, годных для залётных гостей.

Тварь была зряшная и сейчас не опасная. Но Американец вскинул снайперскую винтовку и, тщательно прицелившись, убил его очень метким выстрелом, который свалил тушканчика на расстоянии метров двухсот. Двести метров, и очень быстро движущаяся цель, по которой стрелять приходилось с упреждением, да и то – тушканчик ежеминутно меняет направление прыжков. Нет, таким выстрелом можно было определённо похвалиться. Остальные тушканчики в испуге умчались, отчаянно подсакивая и даже перепрыгивая друг через друга, поджимая лапы, длинными скачками, такими же плавными и немислимыми, как те, что делаешь иногда во сне.

– Хороший выстрел, – сказал Эрик Калыныш по прозвищу Палач. – В них попасть нелегко.

– Правда? – самолюбиво спросил Американец, и Эрик понял, что он пытается изжить в себе страх.

– Правда-правда, – ответил Эрик. – Всегда так стреляйте, и все будет хорошо.

– А как вы думаете, найдем мы завтра кровососа?

– По всей вероятности, найдем. Он выйдет рано утром, у них сейчас брачный период. Всё-таки весна, понимаете. Если посчастливится, мы застанем его рядом с «Корпорацией монстров», когда он вылезет из подвала.

– Мне хотелось бы как-то заглядеть эту историю с моим страхом, – сказал Американец. – Перед женой стыдно.

– Отношусь с пониманием, – сказал Эрик себе, подумав, что это все равно, видит вас жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом.

Из леса вышел кабан.

Он помотал головой и остановился. Кабан стоял, встали и охотники, ожидая, не

двинется ли кабан вперёд.

Когда они увидели кабана, то американца вновь захлестнул страх. Палач видел, как побелели пальцы Американца, лежавшие на цевье его винтовки. Видно было, что страх его не кончился, ничего не кончилось и не начиналось. Он был испуган и, что хуже, Американец ощущал стыд.

Стыд и страх – очень страшное сочетание, это как гранаты без чеки в ящике со взрывчаткой. Страх, смешанный со стыдом, заставляет людей совершать необдуманные поступки. А то и совершать разные поступки, которые должны хорошо выглядеть в глазах кого-то другого.

Мужчина считает, что он должен хорошо выглядеть, он хочет хорошо выглядеть – вот он и совершает всякую глупую мальчишескую дребедень.

И Эрик Калыньш по прозвищу Палач очень хорошо знал, как опасно стоять рядом с человеком, совершающим необдуманные мальчишеские поступки. Сейчас Эрик видел, как холодный сосущий страх наполняет Американца.

Страх был налит в него, как вода бывает налита во фляжку. Страх плескался в нём, как вода во фляжке.

Это была холодная вязкая жидкость внутри человека, с которой не было сладу. И Эрик видел, как Американца трясло. Ствол его винтовки ходил из стороны в сторону. Страх был в нём и не покидал его.

Началось это в тот самый момент, когда специально нанятый вертолёт подлетал к Зоне.

Не было ещё ничего в его жизни, ни самой Зоны, ни аномалий-ловушек, ни этих тварей – только тщеславная мечта убить кровососа.

Но страх уже покорила Американца.

Не зная этих подробностей, Эрик сказал:

– Вы знаете, есть такая сталкерская поговорка: храбрый человек три раза в жизни пугается кровососа: когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его тяжёлое, с присвистом, дыхание и когда впервые встретится с ним. Ничего удивительного, всё у вас получится.

Про себя он подумал: «Странно, отчего он не спросил, почему у кабана четыре уха». Они всегда спрашивают. Кабанов Эрик не очень опасался – сейчас в отряде достаточно людей, а кабан, как правило, не умён, разогнавшись, он не может маневрировать, и, сместившись, мы его уделаем с нескольких стволов. А вышел оглядеться вожак. Завалим вожака, и всё стадо разбежится. Да что там, просто не выйдет из кустов.

В этот момент Американец, чтобы отвлечься от грызущего душу страха, сказал:

– А почему у кабанов четыре уха?

Через три часа они вышли к роще, состоявшей из очень странных, плотно растущих деревьев. Ветви деревьев сплетались и проникали друг в друга. Тут по ложбине тек ручей, который Эрик давно приметил. Вода в нём была горячая, но совсем не радиоактивная. Нормальная, чистая вода, что было редкостью в Зоне.

Они расположились на отдых.

Эрик снял ботинки и тщательно помыл уставшие ноги в ручье.

Сзади к нему подошла американка, он ощутил её присутствие раньше, чем под её ногой треснул первый сучок.

– Не все ли равно, трус мой муж или нет? Он не сталкер. Он совсем не сталкер и больше никогда не поедет в Зону. Это не его профессия. Сталкер – профессия господина Эрика... не помню фамилию... по прозвищу Палач. Господин сталкер Эрик, тот действительно интересен, когда выбирает маршрут, ведёт группу и, наконец, убивает. Ведь вы всегда убиваете, правда?

– Нет, не очень часто, – сказал сталкер по фамилии Калыньш. – Вовсе не всегда, и даже не очень часто. И уж точно не всё, что угодно.

Ему было неприятно. «Такие вот суки, – думал он. – Если живут с женщиной, то быстро

становятся самыми бездушными на свете. Они могут отдавать тысячи долларов на „Гринпис“ и при этом усыплять своих собак одну за другой, потому что надоели. Они самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные – им нравится причинять боль своим мужьям, а если любовник привяжется к ним по-настоящему, то и любовнику. Любой мужчина рядом с ними становится неврастеником. Или он изначально – трус и у него просто не хватило сил даже на то, чтобы убежать. Может быть, они нарочно с самого начала выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Или всё-таки самое главное – деньги? Но в прошлом году были другие туристы, а расклад – тот же. Там жена вышла замуж за бедного юношу, и только потом он разбогател. Откуда ей было знать? А не сумевшие разбогатеть тут не бывают – Зона им не по карману».

Но эта была очень красива.

– Думаете, я вас презираю? Ошибаетесь, – сказала американка, по-прежнему стоя над ним, бережно вытирающим ноги. – Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. А теперь вы разнесёте в клочья какого-нибудь монстра, если мой муж замешкается.

– Выпьете кофе? Там в термосе много, – сказал Эрик, будто не услышав её слов. И прибавил: – Вам, кажется, очень весело?

– А почему бы и нет? Я не за тем сюда приехала, чтобы скучать.

– Да, скучать пока не приходилось, – сказал Эрик.

Он посмотрел на камни в ручье, на край поля, на деревья в этом месте. И он вспомнил, как прямо здесь, там, где стоит американка, снарки напали на рыжего сталкера Толика по кличке Чубайс и мигом освеживали его до состояния скелета. У мясников, кажется, это называется «обваловали».

– Нам пора, – сказал он, встав и закинув автомат за спину.

Они вышли к развалинам и остановились в тени деревьев. Развалины завода были прямо перед ними.

– Я чувствую кровососа, – сказал Эрик. – Похоже, что старый.

– Он очень близко отсюда?

– С километр, наверное.

– Мы увидим его?

– Постараемся.

– Разве его всегда так далеко слышно?

– Слышно очень далеко, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач. – Но только тем, кто его может слышать. Это чутьё странного рода, и когда будете рассказывать о ваших приключениях друзьям, то можете добавить в этом месте поэтический рассказ о чутьё старых сталкеров, вызванном радиацией. Что-нибудь в духе Хемингуэя – «Снега Килиманджаро» и всё такое. Это всегда пользуется спросом, даже удивительно. Будем надеяться, что кровосос даст себя застрелить.

– Ещё раз расскажите, если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его? – спросил Американец. Эрик рассказывал ему это раза три, но сейчас терпеливо стал повторять. Он понимал, что этот рассказ своего рода психотерапия.

– Стреляйте куда хотите. Это не важно, всё равно мы будем вас страховать, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач. – Если сможете, в шею. Но, главное, не ломайте строй. Старайтесь убить наповал.

– Надеюсь, что я попаду, – сказал Американец.

– Вы прекрасно стреляете, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач. – Не торопитесь. Стреляйте и всё.

– С какого расстояния надо стрелять?

– Трудно сказать. На этот счет у кровососа может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка. А мы всё равно поддержим.

– Ближе чем пятьдесят метров? – спросил Американец.

Эрик Калыньш по прозвищу Палач бросил на него быстрый взгляд.

– Они разные. Везде они разные. Я их видел у «Агропрома» и на юге Тёмной долины, на Дикой территории и у радара. Я видел их на цементном заводе и у армейских складов. Они везде разные. Я видел одного кровососа, что съел зомби, что по определению быть не может. Я видел, как в двух концах одного коридора сидели зомби и контролёр, не обращая внимания друг на друга. Мы с вами скорее всего встретимся с обычным или сухопутным кровососом. Он как правило сидит где-нибудь в развалинах, лишь изредка выходя на открытое пространство. Если бы вы хотели взять подземного, то это требовало бы особой группы, гораздо большего времени, возни в канализации, где плохой запах и гораздо больше опасностей, и обошлось вам в три раза дороже.

– Дело не в деньгах, – вздохнул Американец.

– Когда мы с вами обсуждали план, то сразу отказались от мысли о болотном прыгающем кровососе. Когда вы его завалите, то вряд ли на снимке будет видно, что он раньше прыгал, и то, какими водорослями он порос. Но если бы вы выдавали вашего за болотного, я бы советовал вам говорить, что вы сняли его в прыжке.

Это был бы эффектный рассказ.

Но с болотной тварью мы бы намучились, а так имеем дело с классическим экземпляром. Правда матёрым и довольно умным.

Главное понять, когда он включит стелс-режим. Вы это сразу поймёте, когда он станет полупрозрачным и местность за ним начнёт подплывать, будто бы вы смотрите через нагретый воздух над костром. Тогда лупите во всю мочь и держите запасной магазин наготове.

И главное, не нарушайте строй.

Ни в коем случае не нарушайте строй, потому что он в своём стелс-режиме обычно хочет зайти к вам со спины, а нам нужно не дать ему это сделать. Если бы мы были в канализационных трубах, то я рекомендовал бы вам прижаться к стене или стать в проёме. И цельтесь в голову или шею.

Эрик не стал говорить Американцу, что есть кровососы, у которых стелс-режим таков, что их не видно вовсе – никакого дрожания воздуха. Ничего – и даже если посылаешь пули в то место, где он был, они необъяснимым образом уходят «в молоко». Охотник понимает, что проиграл только в тот момент, когда его сноровисто и ласково берут на руки и перебивают хребет.

А потом кровосос начинает высасывать костный мозг. Или он начинает с головы и, влекая техническим вакуумом, вся жидкость, содержащаяся в теле, устремляется в желудок кровососа.

Да, этого говорить не следовало.

И тут они увидели Кровососа.

Тот, как и думал Эрик, выполз в тумане из развалин и вынюхивал что-то.

Кровосос почуял кого-то, вовсе не обязательно людей – просто почуял какое-то изменение в ландшафте. Он выпрямился, и щупальца его затрепетали. Он пытался определить местонахождение еды.

Сейчас главное понять, как он будет атаковать – в скрытом режиме, или, зарывав, пойдёт вперёд.

Но кровосос вдруг пропал.

Эрик теперь лихорадочно соображал, забрался ли он обратно или перешёл в состояние невидимости.

Американец тронул его за плечо:

– Я бы пошел, но, мне, понимаете, просто страшно.

– Я пойду вперед, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач, – а ребята поищут его тепловизором. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он вдруг возникнет перед нами, и мы увидим его и услышим. Как только увидим его, будем оба

стрелять – разом. Как «Катюша». Знаете, что такое «Катюша»?

Американец кивнул.

– Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше.

– Нет, я пойду.

– Как знаете, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач. – Но если не хочется, не ходите.

– Я пойду, – сказал Американец.

И они пошли вперёд, стараясь не разрывать строй.

Американец шёл потный, и Эрик видел, что у Американца не хватает духу попросить его отпустить. Теперь он внутренне был готов сдаться и умолять, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Эрик Калыньш по прозвищу Палач в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене.

– Мне бы глотнуть воды, – сказал Американец.

Эрик сказал что-то своему приятелю, и увидел, что и того трясёт.

В тридцати метрах от них кровосос присел в ямку среди уже высокой летней травы и готовился к прыжку. Он сидел неподвижно, подрагивали только его ротовые щупальца. Он был стар и теперь не мог становиться прозрачным, вернее, это отнимало очень много сил. Но старость имела оборотную сторону в виде мудрости и сообразительности. Поэтому кровосос залег сразу после того, как почуял запах свежего мяса. Но недавно его ранили – случайно, просто так, наобум пущенной пулей за два километра. Пуля попала в набитое брюхо и он ослабел. С возрастом процессы регенерации шли медленнее, и уже заросшая было рана несколько раз открывалась. Её облепили мухи, и глаза кровососа от боли стали почти человеческими. Они были сужены и полны ненависти к этому огрызающемуся металлом мясу, подбирающемуся к нему.

Всё в нем – боль, тошнота, ненависть и остатки сил – напряглось до последней степени для прыжка. Теперь он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание – напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда кровосос почувствовал, что голоса приближаются, он хрипло зарычал и кинулся.

Эрик Калыньш выстрелил первым и попал – но не туда, куда хотел, а в живот. Затем он попал ещё раз, и тут его поддержали автоматным огнём ребята.

Наконец заговорила и винтовка в руках Американца.

Тот, когда кровосос вылез из своего укрытия, впал в ступор и вообще не думал ни о чём. Он знал только, что руки у него дрожат и, встав с винтовкой, едва мог заставить себя поднять ствол. Руки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился кровососу в шею и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и опустил ружье, чтобы перекинуть флажок.

При этом он сделал неуверенный шаг назад.

Кровосос, оценив расстояние, в свою очередь, сделал шаг к нему.

Наконец Американец выстрелил и, услышав характерное чмокание, с которым крупнокалиберная пуля попадает в живую плоть, понял, что не промахнулся; но кровосос шёл все дальше.

Американец выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтанчик пыли, земли и травы прямо под ногами кровососа.

Но кровосос шёл вперёд и шёл он прямо на американца, пока наконец тот не выстрелил в третий раз.

Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться в голову или шею, и даже через грохот автоматных очередей все услышали, как чмокнула пуля, пробив позвоночник. И тогда кровосос, у которого к этому моменту другими попаданиями снесло полголовы, завалился на бок.

Американец стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись.

Наконец возле него очутился сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач.

– Я попал в него, – сказал Американец. – Два раза попал. Попал. Я точно в него попал.

– Вы пробрили ему позвоночник в районе пятого позвонка и, кажется, попали в грудь, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач без всякого воодушевления. – Я думаю, что вы его и убили, – продолжал Эрик Калыньш по прозвищу Палач.

Эрик решил, что он минуту был уже мёртв – такая плотность огня была сконцентрирована на монстре, но не стал отнимать у Американца победу. Ведь, в конце концов, это были деньги клиента. И им, клиентом, был оплачен каждый автоматный патрон, каждый глоток воды из фляжки, который делал Эрик или его ребята.

Кровосос издох.

Щупальца несколько раз открылись, раскрылись и опали.

Из развороченной груди на траву неохотно подтекала чёрная жидкость.

Эрик повернулся к Американцу и, посмотрев на него, сказал:

– Снимки делать будете?

Потом они решили выпить, вдосталь нафотографировавшись с трупом.

Палачу это не понравилось, он был против алкоголя на Зоне. Зона алкоголя не прощает, она сама умеет дурманить голову круче всякой выпивки.

Но заказчик всегда прав, и у него было право контракта и денег.

– Ну, выпьем за кровососа, – сказал американец. – Выпьем за кровососа, – сказал Американец ещё раз. – Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали.

Палачу это ужасно не понравилось, но он пригубил.

Его жена посмотрела на Палача.

– Не будем больше говорить про эту гадость, – сказала она, и Палач посмотрел на неё с интересом.

– Ну и давайте кончим, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач.

– Но, с другой стороны, тогда нам совсем не о чем будет разговаривать, – сказала американка, будто продолжая беседовать сама с собой.

«И всё же нам повезло, – думал Эрик. – Я не был до конца уверен, что получится».

Он был готов, что потеряет всех охотников, а уж то, что даже опытные сталкеры становились добычей кровососа, всем было известно.

Но американец убил кровососа.

Почти сам – его, конечно, страховали, а потом ударили со всех стволов, чтобы уж кончить тварь наверняка. И всё-таки он не испугался, вернее, победил свой страх. Он лучше многих, а этих *многих* Эрик уже повидал.

Подошла его жена и, сев рядом с Американцем, стала смотреть туда, где лежал кровосос. Ребята свежевали его, уже были видны белые мышцы и сетка сухожилий, белое брюхо вздулось, и сталкеры снимали с него шкуру. Такой был неписанный закон – тело убитой твари принадлежало сталкерам, и они продавали его учёным по сходной цене. Это был как бы бонус.

Правда, отдельные богачи за отдельные богатые деньги пытались вывезти тело, чтобы сделать из него чучело, но сейчас был иной случай.

Надо было похвалить клиента, и Эрик сказал:

– Вы убили замечательного кровососа. Такого сильного и мощного.

Американка посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплатится. Сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач ждал этого и очень боялся.

Он боялся этого потому, что когда один член команды плачет, это хуже, чем если бы все дулись друг на друга. Это значит, что человек теряет себя и способен сделать что-то неожиданное не боясь своего стыда.

Его приходится контролировать как настоящего монстра. Ошибки умножаются и пострадать могут все. А вот Американец давно перестал бояться своей плачущей жены, сейчас он её просто не замечал.

– И зачем это случилось? Ах, зачем только это случилось? – сказала она и пошла к своей палатке. Они не слышали плача, но было видно, как вздрагивают её плечи под комбинезоном.

Но Американец преобразился.

Эрик удивился, потому что такие преобразования случались редко. Вернее, Эрик их не встречал вовсе, хоть и допускал, что человек может разом потерять свой страх.

Они отправились в обратный путь, и Эрик шёл впереди.

– Смотрите, – сказал он Американцу и протянул руку. – Видите вон те заросли?

– Да.

– Вот туда и ушел наш первый кабан. Ребята говорят, что он потихоньку ушёл в заросли, а там как раз мясорубка была. Тут-то ему и конец.

– Пойдем за ним сейчас? – нетерпеливо спросил американец.

Эрик Калыньш смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой.

– Нет, переждем немного.

– Пожалуйста, пойдите в тень, – сказала американка. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной.

Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели.

– Очень возможно, что он уже издох, – заметил Эрик Калыньш по прозвищу Палач. – Подождем немножко и посмотрим.

Американец, кажется, ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще им не испытанное. Он как бы примерялся к этому счастью, как к кладу, думал, как им будет пользоваться и как он его мог бы унести.

– Да, вот это была скачка! – сказал он. – Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было?

– Отвратительно, – сказала она.

– Чем?

– Отвратительно, – сказала она горько. – Мерзость.

– Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь, – сказал американец. – Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохотился на кровососа. Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?

– Правильно, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач. – В худшем случае они высосут вас как апельсин.

«Ведь вот какой стал», – думал Эрик Калыньш по прозвищу Палач. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская. Пресловутые американские мужчины-мальчики лезут за адреналином в каждую дырку. В женскую дырку или в эту Зону, которая сама по себе большая дыра. Чудной народ, ей-богу. Но сейчас этот Американец ему нравится. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь.

Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Этого сталкера она видела таким же, каким увидела накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но её муж изменился, и она это видела.

– Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? – спросил американец, продолжая осматривать угрюмый пейзаж Зоны. Сейчас он казался полководцем, что выиграл свою главную битву и теперь осматривает пространства побеждённой страны.

– Об этом, как правило, молчат, – сказал Эрик Калыньш по прозвищу Палач, глядя на лицо американца. – Скорее принято говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, ещё не раз будет страшно.

– Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?

– Да, – сказал Эрик Калыныш по прозвищу Палач. – И точка. Нечего об этом распространяться. А то всё можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает.

– Оба вы болтаете вздор, – сказала американка. – Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

– Прошу прощения, – сказал Эрик Калыныш по прозвищу Палач. – Я и правда наболтал лишнего.

«Уже встревожилась», – подумал он.

– Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? – сказал американец жене.

– Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый, – презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей просто было очень страшно.

Эрик Калыныш по прозвищу Палач проверил все стволы – свой, как обычно, но и стволы американцев, хотя им оставалось всего два-три часа хода по Зоне.

– Если что случится, вы стреляйте из «Калашникова», – сказал Эрик Калыныш по прозвищу Палач. – Вы к нему привыкли. СВУ оставим у вашей жены. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу. – Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить американца. – Место тут опасное. Я предлагал вам не праздновать, пока мы не вернёмся, но вы отказались. Так вот, здесь я в прошлый раз видел снарка. Это бывшие люди, чрезвычайно опасные – быстрые и сильные. Вы сразу отличите их от других существ – если они далеко, то они будут нюхать землю, у них такие лица, будто на голову надет рваный противогаз – никто не знает, настоящий ли это противогаз, истлевший от времени или просто у них отрос хоботок, похожий на шланг, ведущий к банке с активированным углём. У нас раньше эту банку носили в сумке на поясе, а не как у вас, сразу прикрученную к маске.

Так вот, снарки могут разорвать вас пополам, и убежать от них нельзя. Они всё равно быстрее вас. Вы будете обязаны их убить, причём сразу. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел.

Да, я понимаю, что вас тревожит – снарки как бы не звери, не обычные монстры.

Снарки – это бывшие люди.

Но знайте, закон будет на вашей стороне. Эти случаи официально оговорены во Втором международном соглашении по статусу Зоны.

Американец дёрнулся, но ничего не сказал.

* * *

Они уже миновали пространство между холмами, и Палач стал думать, что напрасно пугал американца, который сиял как блин.

Они остановились, чтобы хлебнуть воды, а американец снова приложился к фляжке.

И тут на них выскочили два снарка. Видимо, они вынюхали след кого-то другого, но в какой-то момент он пересёкся со следом группы Эрика.

Снарки выскочили из-за кустов как гончие и стали стремительно приближаться. Хоботки на их мордах стремительно мотались, что стороннему наблюдателю могло показаться смешным. Но Эрик не был ни новичком, ни сторонним наблюдателем.

Он открыл огонь с дальней дистанции.

Его помощники не отставали, но первым счёт открыл именно Эрик. Первого снарка Палач снял очередью, почти не целясь. Второго застрелил его друг Абдулла.

А вот третьего они как-то упустили.

Стрелял по нему американец, а его жена была слишком далеко и просто громко кричала.

Американец взял прицел повыше и снова шархнул по снарку из автомата экономной очередью в три патрона. Снарки подпрыгивали, как бы отжимаясь от земли всеми четырьмя

конечностями. Они пришли сюда по запаху, догадался Палач. Нет ничего более сильного, чем запах секса, и вот они пришли по этому запаху, и теперь, из-за этого приключения, счёт идёт на секунды.

Он скинул ствол и выстрелил в третьего снарка, пока американец только поднимал свой автомат.

Эрик Калыньш по прозвищу Палач отступил в сторону, чтобы выстрелить снарку в голову.

Американец стоял на месте и стрелял в грудь, каждый раз попадая чуть-чуть ниже, чем нужно, его жена выстрелила издали, когда снарк прыгнул на её мужа. Она попала своему мужу в череп, сантиметров на пять выше основания, немного сбоку.

Теперь Американец лежал ничком всего в метре от того места, где валялсядохлый снарк.

Эрик Калыньш по прозвищу Палач опустился на колени, и осмотрел коротко остриженную голову американца. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю.

Эрик Калыньш по прозвищу Палач встал и увидел лежащего на боку снарка: ноги его были вытянуты, а по животу, в рваных дырах истлевшего обмундирования ползали вши. «А хобот хорош, черт его дерит, – автоматически отметил его мозг. – Маска противогаза просто вросла в кожу. Я, правда, не буду отдирать, чтобы посмотреть, что там». Потом Эрик Калыньш по прозвищу Палач свистнул товарищу, чтобы тот обшарил карманы убитого американца, а потом пошёл к женщине, что плакала в стороне.

– Ну и натворили вы дел, – сказал Палач совершенно безучастно. – А он бы вас непременно бросил.

– Перестаньте, – сказала она.

– Конечно, это несчастный случай, – сказал Палач. – Я-то знаю.

– Перестаньте, – сказала она.

– Будет много возни, – сказал он. – Это хорошо, что вы так придумали. Обычно комиссары ООН не выезжают на труп, если он находится внутри Периметра. Можно было убить его как-нибудь иначе. Мы не сумеем составить акт, мы сталкеры, и нам вовсе не хочется под суд. Хотя мы что-нибудь придумаем, если в Америке подойдёт не визированный администрацией Периметра документ.

– Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! – крикнула женщина.

Эрик Калыньш по прозвищу Палач посмотрел на неё своими равнодушными глазами остзейской голубизны.

– Больше не буду, – сказал он. – Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.

– О, пожалуйста, перестаньте, – заплакала она. – Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, перестаньте.

– Ладно, – сказал Палач. – Пожалуйста – это много лучше. Теперь я перестану.

И группа пошла дальше.

Американец остался лежать чуть в стороне от тропы и смотрел в низкое пасмурное небо Зоны открытыми глазами.

Лицо у него оставалось абсолютно счастливым.

Глава одиннадцатая

– И там посмотрите, – сказал он, – а в общем-то всё это настолько глупо, что работать практически невозможно. Мы не сможем понять логику непрофессионала.

– А может, он хитрый профессионал? – сказал седой, закуривая.

– Хитрый профессионал не поехал бы в приют, – хмуро ответил Мюллер и вышел.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 9 мая. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Путешествие за загадочным артефактом. Брошенная деревня. Первый опыт уничтожения людей. Выброс как он есть.

Ну и ладно.

Это мне было только на руку, хотя рассудок говорил: «Останься».

Но сзади был украинский полицейский, которого не спросишь: «Не меня ли вы ищете». И сзади было своего рода психологическое болото, которое меня засасывало.

Я спешно собрался и отправился в Зону. За спиной я чувствовал незримое дыхание – тут уж ушёл в бега, так и ушёл в бега. Начали за тобой гнаться – лучше сразу стой, а побежал – так всё, беги до конца, пока хребет не хрустнет.

На меня уставился странный зверь, не то кролик, не то хомяк. Пушистый и симпатичный. Крупный заяц, очень крупный для зайца, если точнее сказать. Но что-то было в нём не то, кроме собственно размеров.

Мы смотрели друг на друга – спокойно и без страха.

Вдруг заяц зевнул, и оказалось, что пасть у него открывается на сто восемьдесят градусов, причём обнажая при этом не большие зубы грызуна, а множество мелких зубов как у акулы.

Я на всякий случай положил руку на автомат.

Зверь взмахнул ушами – тоже как-то не по-заячьи, подпрыгнул и ломанул в сторону, скрывшись за камнями. Передо мной был, как говорят, переходный участок – насыпь обрывалась, начинался болотистый луг, на котором бликовали лужи.

Атос велел взять мне ещё пистолет, но я решил ограничиться запасом патронов. Пистолет тут хорош во-первых для того, чтобы застрелиться. Однако это в мои планы не входило – по крайней мере пока. Стреляться имело смысл, если мне какой-нибудь студень растворит ноги и я буду сильно мучиться – некоторые учёные на выходах, как мне сказали, сперва носили на этот случай яд, но потом от этого отказались – и не успеешь, и случаи такие редки.

Во-вторых, функция пистолета тут была очень простой. Подвыпивший человек – будь то вольный сталкер или кто-то из учёных (гораздо реже) – в припадке тоски и сидя в баре вырывал пистолет, и в этот момент буквально тут же получал от бармена бейсбольной битой по голове. Пистолет таким образом был чем-то вроде снотворного – вынь его и несколько часов забвения тебе обеспечено. Причём, если бармен будет находиться чуть дальше, чем это нужно для удара, тебя приложат другие, такие же, как ты, посетители, что сидят рядом.

И еды я брать не хотел. Пожавшись, я взял коробку с шоколадом и тонизирующие таблетки.

Я посмотрел на экран ПДА²⁰ – вокруг меня была пустота: «ни аванса, ни пивной», как сказал поэт, правда, по другому, конечно, поводу.

Рядом с тропой виднелось странное сооружение – если бы я не видел вокруг сплошной лес, то решил бы, что это домик полевых рабочих.

Маленький, серого кирпича, он был похож на задание кассы, которое обычно ставят на маленьких железнодорожных станциях. Или домик путевого обходчика, да только до ближайшей узкоколейки было километра два – вряд ли начальство путевых рабочих было такими безумцами.

Я отомкнул замок, и полупустой рюкзак почти неслышно свалился у меня за спиной. Я по кругу обошёл домик – всюду были следы запустения, лавочка у двери, а вместо самой двери пустой проём.

Осторожно заглянув сначала в мутное окошко, я сунул нос внутрь, не забыв положить

²⁰ ПДА (PDA) – «personal digital assistant», персональный цифровой помощник, смесь компьютера и коммуникатора. До сих пор арена противоборства Apple и Windows.

палец на спусковой крючок. Посередине висел на длинном проводе лишённый лампы шнур. Пустой патрон висел криво, но я отчего-то был уверен: вверни туда лампочку и она загорится.

Пол был покрыт травой, которая отчего-то росла не вертикально, а горизонтально. Стол, тоже покрытый мхом, койка и два стула – типичное жилище сторожа, но вот что он мог тут сторожить – непонятно.

Если бы я был настоящим сталкером, то, верно, кинул бы внутрь гранату – чисто профилактически.

Но гранат у меня было всего две, и жаль было тратить их на профилактику.

Да, как выясняется, никого тут не было.

Я вытащил маленький котелок-кружку и разжёл костёр. ПДА молчал как проклятый, то есть вообще молчал – аномалий в окрестности не было замечено, никого из носителей аппаратуры тоже.

Я прислонился к стене домика и стал смотреть, как закипает вода в котелке.

Один мой приятель-геолог научил меня носить вместо котелка консервную банку. (Отчего-то он любил банки из-под сладкой экзотики и утверждал, что самый лучший чай получается в банке из-под консервированных персиков.)

И вот, пока настаивался чай, я стал смотреть в экран ПДА. Если связи нет, то можно ещё раз поглядеть, как устроена местность согласно квазигеологической карте Атоса. Интерактивностью и GPS можно пока пренебречь. Построена она была на основе космического снимка и была в общем-то точной. Спутники занимались съёмкой Зоны раз в месяц, чаще смысла не было.

Всё дело было в том, что примерно раз в месяц происходил Малый Выброс.

Хочешь – не хочешь, раз в месяц что-то изменится – а уж снимок прошлого года поменяется так радикально, что его сразу и не узнают даже работающие «на земле» люди.

Зона жила своей жизнью, как океан Соляриса. Оставались неподвижными, или сравнительно неподвижными, русла рек, некоторые дороги, железнодорожные ветки, а вот границы лесов, водоёмов и форма озёр менялась сильно.

Интерактивная карта была подробной, прекрасной, но это уверенности не прибавляло – мне предстояло пройти довольно большой кусок, и только в двух точках мог обнаружиться искомый артефакт «аксельбант», или, как я его сразу окрестил, «подвески».

Вдруг меня что-то осветило – инстинктивно я повалился набок, чтобы уменьшить видимую площадь тела. Но тревога была ложной – просто разошлись облака, и вся окружающая местность засияла.

Облака тут расходятся чрезвычайно редко, вызвано это тем, что сам воздух над Зоной, и все атмосферные явления тут были частью Зоны, частью её общего механизма.

А пока облака разошлись и казалось, что это кто-то там наверху раздвинул тучи и огромной световой указкой выцеливает что-то на земле.

Станным цветом засинел лес на горизонте, сверкал какой-то конус на вершине бело-красной мачты в отдалении, Я подумал, что неплохо было бы туда залезть и оглядеться, но с другой стороны, это значило стать лёгкой мишенью.

Вечерело, местность неуловимо менялась, и надо было где-то примоститься, чтобы не шастать в темноте. Я вытащил из рюкзака тонкий синтетический спальник и укутался им, но так, чтобы в случае чего легко вскочить.

Ночевать внутри домика мне не хотелось, там пахло сыростью и какой-то дрянью. Тут бы надо было закурить, но курить я бросил лет десять назад. В Америке курящему человеку плохо, не жизнь ему там. А вот теперь я жалел, что не обзавёлся трубкой, табаком и прочими табакокурительными принадлежностями.

Но сожаления не было. Главное, голова у меня не болела, да и ничего не болело – страх смерти был не в счёт.

Я отчего-то перестал бояться смерти. А пару лет назад я, видимо, из-за кризиса

среднего возраста, серьёзно затосковал и начал думать, не наложить ли на себя руки. Это не было серьёзными раздумьями, но всё же, всё же... А тут я чувствовал себя прекрасно, сердце мерно билось, не болело ничего и приходили мысли о бессмертии. Это было какое-то свойство рождённого в СССР, хотя я был гражданином двух стран, это была даже не Россия, а иная страна, хоть и братская, да что там! Я уже был не на Украине, на экстерриториальной земле, временно отчуждённой от всякой власти. Мечта анархиста, я бы сказал.

Проснулся я резко, в прекрасном самочувствии.

Приведя себя в порядок, я ещё раз оглядел местность. Что-то заставило меня ещё раз заглянуть в домик – ничего внутри не изменилось, но вдруг я посмотрел вверх.

То есть не просто посмотрел вверх, но и оглянулся. Там, на потолке у входа, я увидел странное образование. Будто гигантская клякса приклеилась к бетонной поверхности, но самое в ней неприятное было то, что эта слизь жила. Она дышала, подрагивала, будто огромная мембрана метрового диаметра непонятного динамика. Я с лёгким ужасом слышал, как свистит воздух, выходящий по краям этого явно живого образования.

Хорош бы я был, если бы допустил саму мысль о ночёвке внутри! А с другой стороны, многое, чего мы боимся, просто непонятная вещь.

Но никакого желания потыкать слизистого осьминога на потолке палочкой у меня не возникло. Я на всякий случай сфотографировал его и описал в комментарии координаты и размеры.

Это у меня превратилось тут в привычку вроде бриться. Именно потому что путешественник записывает то, что видит, он живёт дольше.

Ну, если его не съедят туземцы.

Хотя и тогда он будет жить дольше – благодаря тому, что записи кому-то могут пригодиться. Я быстро собрал рюкзак, закинул его за спину и зашагал вперёд.

Утро было по-летнему ранним, всё вокруг было в сером свете, но даже на фоне этих унылых облаков выделялась гигантская, совершенно чёрная туча.

Я понял, что меня начинает тревожить. Слишком тихо стало вокруг. Не было слышно даже комаров, а комаров тут боялись многие сталкеры, и из самых вменяемых.

Но нужно всё же дойти до узкоколейки, а не гадать, что готовят мне эти небесные явления.

Я шёл долго, и кажется, однажды всё-таки свернул не на ту тропинку, но всё же вышел к железной дороге.

Никого я не встретил, только кто-то иногда дышал в кустах рядом. Или это мне чудилось?

Это дыхание, которое я про себя назвал «Ослабленным дыханием Дарта Вейдера» могло быть просто шумом у меня в ушах.

ПДА у меня в кармане вдруг пискнул и определил координаты. Затем он принял несколько сообщений, в том числе два рекламных, а потом определил ворох аномалий справа и слева от тропы.

Я принялся их обходить, начал прыгать с кочки на кочку, и к вечеру так умаялся, что постелил свой спальник просто под деревом. Дождь так и не пролился, но в воздухе было тепло и сыро.

Я опять не стал залезать в спальник, а просто завернулся в него.

Я лежал в сгущающихся сумерках и понимал, что сейчас что-то произойдёт.

Где-то в отдалении кто-то завыл.

Непонятно, кто это был – слепой пёс Зоны или что похуже. Но как он завыл, так и заткнулся. С шумом пробежал мимо, метрах в пяти, какой-то зверёк – не то крыса, не то какой-то другой грызун.

Лес жил своей отдельной, непонятной жизнью. Кладёзь для биолога, которым я в общем-то не являюсь.

Тихо в лесу,

Только не спит хомяк,
За ночь хомяк устал и обмяк,
Только не спит хомяк.

– пришёл мне в голову детский стишок. В лесу действительно что-то происходило, и вдруг на меня стал сыпаться какой-то песок. Сначала я решил, что это снег, но потом стало понятно, что это именно песок, какой-то прах.

Да-да, прах, будто наверху открыли огромный люк. Прах был не активен, ничего страшного в нём не было, но я из психотерапевтических соображений обнял автомат, как единственного друга.

Но уже наваливался сон – съедят меня, так съедят, чёрт с ними.

Я понемногу отплывал в сновидение, где был океан, и наша яхта разворачивалась у островов, а на горизонте болтался катер береговой охраны, и я помнил, что к берегу мне сейчас нельзя, к берегу пока рано, и заходить можно только в специально отведённый порт.

В кронах деревьев зашумело, и снова посыпался песок.

Я решил не подсвечивать экраном или фонариком, а изучить эти атмосферные осадки поутру. Я прополоскал горло водой из фляжки, а потом сглотнул.

Вот так, ведёшь нравственный образ жизни, не пьёшь, а во рту поутру всё равно кошки насрали, как если бы всю ночь пьянствовал.

Лес был засыпан чёрным снегом.

Я тоже описал его, потому что про чёрный снег много говорили – одна из прозаических идей была в том, что особая гравитационная обстановка держит в небе над Зоной большое количество пыли и частиц земли, что никуда не могут улететь. Именно поэтому в Зоне почти всегда дурная погода.

А иногда эта супесь просыпается на землю – чему я сейчас был свидетелем.

Но дело было в том, что природа чёрного снега была вовсе непонятна. Никакого такого грунта никто не знал, отчего и как он просыпался на землю, было непонятно. И больше всего это напоминало работу гигантского крематория на общественных началах.

...Когда я вышел к железной дороге, то поразился тому, что передо мной вырос ровно такой же домик, у стены которого я ночевал накануне. В домик я заходить не стал, тем более, что рядом с ним я увидел то, что нужно – рядом с рельсами стояла на боку ржавая дрезина. То есть, маленькая тележка с ручным двигателем.

Рядом высилась стопка пластиковых коробок неизвестного происхождения. Странные это были коробки – с тросиком, пропущенным через крышку.

Для чего они служили в прежней жизни, было непонятно, но я решил прибархлиться.

Но вот когда я подошёл к дрезине, то чуть не расхохотался.

Опаньки! – вот они, следы человека: к тележке была привязана растяжка с вечной гранатой системы «лимонка». Вечная она была оттого, что прошёл уже почти век, а эта граната всё служит одним людям и убивает других. Я аккуратно снял гранату с проволоки, и воткнул самодельную чеку из проволоки на место.

Теперь у меня три гранаты, но я бы не стал, пожалуй, полагаться именно на эту.

Зачем минировать дрезину, да таким кустарным способом, для меня осталось загадкой.

Чёрного снега тут навалило сантиметров пять, и местность представляла собой довольно страшное зрелище. Перед новой дорогой стоило передохнуть, и я снова разжег костер. Греясь у огня, я выпил полный котелок очень крепкого чая, затем ещё один, запивая им консервы.

Я с напряжением перевернул дрезину и поставил её на рельсы.

Прямо передо мной начинался изгиб дороги, торчали вверх, будто перья, куски оплавленного грунта.

По другую сторону дороги начиналось торфяное болото с идущей внутри какой-то

бешеной жизнью. В болоте что-то хлюпало и поминутно всплывали и лопались огромные пузыри.

Смотреть туда не хотелось, но из соображений безопасности я туда всё время оглядывался.

Вдруг там произошло какое-то шевеление, и на рельсы выскочил заяц.

Это был либо тот самый заяц, которого я видел третьего дня, или же его брат. Я бы их не отличил.

Интересно, перебежит ли заяц мне дорогу, будто Пушкину, едущему в Петербург из Михайловского?

Заяц смиренно сидел на рельсах, время от времени открывая свою зубастую пасть. Ещё интереснее, может ли быть скрещен местный заяц с собакой. Зубы-то у него либо акульки, либо собачьи. Никакого желания приблизиться или перебежать дорогу заяц не выказывал.

Мне это было только на руку.

Хоть я был и не суеверен, но психологический настрой одиночки – штука тёмная, зайцев туда пускать не стоит.

Сталкеры так вообще, как мне кажется, стихийные мистики. Более суеверных людей я не встречал. Даже Мушкет, признавая себя материалистом, исполнял десятки неписаных ритуалов Зоны. Я когда указал ему на это, он лишь скорчил рожу и стал отбрехиваться:

– Вообще нет, никаких суеверий, никогда, ты чё?

И сразу же мелко, пулемётной очередью сплюнул через левое плечо.

Я понял, что без этого никак, и Мушкет не будет никогда обижать чьих-нибудь богов, наоборот – будет приносить жертвы всем, до кого он сумеет дотянуться.

Итак, дрезина была поставлена на место, механизм, сколько можно было судить по пробным качкам, работал, и я поехал.

Сперва было непривычно тяжело жать на рычаг, но потом я приноровился. Дрезина шла ходко, но это всё из-за того, что дорога здесь шла вниз с незаметным, но всё же уклоном.

Колёса постукивали, минуя огромные щели между рельсами, обычные шпалы сменились самодельными, чуть ли не простыми поленьями, а значит, я удалялся от цивилизации.

Начинало казаться, что судьба милует меня, как на очередном повороте ко мне из лесу вышли трое и молчаливо встали у пути. Никто из них не делал мне знак остановиться, никто не вскинул оружия (а оно у них было). Было у них оружие, но эти существа как бы забыли о своих стволах.

Останавливаться мне совершенно не хотелось, и я быстро положил одну из гранат в коробку, зацепив кольцо за верёвочку на крышке.

Подъехав ближе, я понял, что меня поджидают не совсем люди – одеты они были в подобие формы, да только было такое впечатление, что на них вылили тазик новокаина.

Нехорошие были это люди. Для того чтобы быть людьми, они были слишком похожи на зомби, а для зомби – слишком опрятны.

Я сунул одному из них в руки коробку, будто передал посылку.

Вдруг ошарашенный псевдочеловек припустил в сторону, а его товарищи погнались за человеком с коробкой.

С досадой я подумал, что можно было отдать ему и пустую тару, как сзади вдруг ухнуло и поднялся лёгкий столб дыма вперемешку с чёрным снегом.

Я вышел на точку, где могла быть аномалия. Но аномалии не было. Было поле, по которому ветер гнал пыль. Был ещё старинный брошенный трактор, что по самую кабину вошёл в землю.

Посреди поля тёк ручей. Разве там, хотя это не то место, не то...

Всё же я полез в ручей, который был неожиданно широк. Вода сжала щиколотки, а потом ливанула внутрь высоких ботинок. Дно было мягким и податливым, но вода –

ледяной.

Как может быть в июне вода такой холодной, было непонятно.

И тут я увидел мостик. Вернее, не мостик, а стальную ферму, часть давно рухнувшего моста, по которому много лет назад сюда, наверное, и приехал этот трактор.

Но главное, что над водой висело нечто.

Точь-в-точь как сталактит, с железной ржавой балки свешивались два странных образования. Ещё не разглядев их тщательно, ещё не сверившись со списком в ПДА, я уже знал – вот они, «подвески».

Вот он, искомый артефакт «аксельбант», две штуки.

Я перекинул рюкзак на грудь и, не снимая его, достал контейнер для сбора.

Дозиметр молчал, ПДА вообще не жужжал ни о чём, и я спокойно отломал две сосульки с моста руками.

Как только контейнер отправился в рюкзак, я почувствовал упадок сил. Это было то, что называется «реакция».

Я сделал, что хотел.

Намеченная задача была выполнена.

И теперь меня даже не трясло, а мотало – как марафонца, наконец одолевшего дистанцию.

На мгновение я ощутил, что именно я являюсь центром мира, но при этом совершенно одинок. Позабыт-позаброшен, но с набитым контейнером в рюкзаке.

Надо было пускаться в обратный путь, но это было свыше всяких сил.

Предстояло выспаться, и тут-то везение моё кончилось, выспаться не вышло.

Во-первых, не вышло развести костра, потому что всю ночь моросил мелкий дождь.

Затем тент, который я натянул между двумя кустами, разорвался.

Еда кончалась, и ночью мне уже снились не море и яхты, а большие батоны белого хлеба, раскиданные по опушке леса.

Я лёг спать почти в лужу, подложив под голову полупустой рюкзак.

Сон был короток, и я проснулся среди влажной темноты ночи оттого, что в голове, ближе к затылку, родился огненный шар боли.

Я просыпался несколько раз и снова засыпал, но боль никуда не уходила.

Когда рассвело, я снова увидел гигантского зайца. Заяц появился передо мной и начал внимательно смотреть на меня. Странное дело, ужаса он у меня не вызывал.

Но я подтянул к себе за ремень автомат и попробовал поднять ствол. Ничего не получилось – пламегаситель водило по метру в сторону, и я уронил автомат обратно на землю.

Заяц посмотрел на меня и вдруг упрыгал прочь.

У меня не было сил повернуть голову, и я забылся сном.

Проспал я немного – может, полчаса, а когда открыл глаза, то снова увидел зайца. В зубах заяц держал большую крысу. Он положил крысу передо мной и исчез.

Но, наверное, это всё же был бред.

Крысу, если она и была, я решил оставить на потом, а пока доел последнюю шоколадку. Мне было ужасно жарко, и чувствовалось, что пот льёт рекой между лопаток.

«Одна радость, – подумал я. – В этих местах бережешь фигуру».

...Сны были – чистая дрянь – я шёл на яхте, однако мачта была подломлена шквалом, тело яхты подпрыгивало на волнах, и я знал, что скоро обшивка не выдержит. Через палубные лючки плескало водой и весь мир несколько раз переворачивался.

Кажется меня рвало, я вставал и тут же падал.

В момент просветления меня мучил вопрос – съел ли я всё-таки крысу, принесённую мне добрым зайцем, или нет. Кажется, я видел её окровавленный хвост, или мне это тоже почудилось? Непонятно.

Временами мне казалось, что голова моя то пухнет, увеличивается в размерах, то становится маленькой, будто теннисный шарик.

В какой-то момент я отпихнул в сторону рюкзак, который использовал в качестве подушки. Стало немного легче, и я начал думать, что дело в артефактах, но спецконтейнеры казались прочно закрытыми, и я явно не мог открыть их в бреду.

Более того, ни одного активного или опасного артефакта я с собой не тащил, а уж что-то, с описанием я сверялся несколько раз.

То, что у меня приключилось, никак нельзя было списать на лучевую болезнь – везде уровень был фоновый, да и счётчик меня обнадеживал.

Вот вирусных заболеваний я боялся, но и тут всё было непонятно.

Это напоминало контролируемое сумасшествие.

Вдруг ко мне пришёл леший. Я сначала хотел его спросить, почему он теперь не заяц и будет ли зайцем, но не спросил. Это было жутко интересно, но сил уже не было.

Фигура наклонилась надо мной, и я понял, что всё равно не успею дотянуться до оружия. В таких случаях нужно расслабиться и получить удовольствие. Хотя, конечно, это универсальный рецепт.

Но фигура никаких агрессивных намерений не проявляла. От неё пахло смолой, костром и нагретым деревом.

– Ну что, живой? – спросил меня леший, или местный бог.

Точно, бред мой изменился. Я поверил, что ко мне пришёл дачный бог. Это был лесной бог, что караулил меня за дачным забором. Суровый, но справедливый – он знал все мои прегрешения.

У этого бога, похожего на лешего, была клочкастая борода и морщинистое лицо, он пах вонючим табаком, и иногда он светился в темноте.

Убежать от него было нельзя, а можно только подружиться.

– Ты со мной пойдёшь? – спросил он. – А? Пойдёшь?

– Пойду, что ж не пойти, – сказал я непослушными губами.

Надо было только встать. Получилось это у меня только с третьей попытки, когда я встал сперва на четвереньки и поднялся, опираясь на автомат.

– Вот и чудненько.

Я увидел место, где пролежал два дня, кажется – да, именно два дня, в странном ракурсе, чуть сбоку. Это происходило оттого, что головку-то я, как младенец, не держал. Я ещё раз посмотрел на своего дачного бога, странным образом теперь напоминавшего мне собственного деда.

– У меня рюкзак.

– Не бойся, – сказал бог. – Я захвачу. Ты, главное, иди попробуй. Мне тебя нести не с руки, не сдюжу.

Мне как-то стало лучше, и я даже сумел умять спальник в рюкзак.

Правда для этого мне пришлось снова упасть на колени.

Кажется, я понял, отчего мне стало легче – зарядил дождик, и на голову мне лилась обыкновенная прозрачная вода.

Мы пересекли опушку, ручей, а затем поднялись на взгорок, и я увидел небольшую деревню – в пять-шесть домов.

И вот тут я наконец окончательно отключился. Очевидно, я дошёл до одного из домов сам, но ничего этого не помнил.

...Я открыл глаза и уставился в низкий, покрытый какой-то плесенью потолок. Что-то непонятное было с этим потолком. Он шевелился. Приглядевшись, я понял, что по потолку шли рабочие муравьи.

Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Это было будто картина из фильма, что я видел давным-давно, или образ из книги, что читал в детстве.

Муравьи.

Совершенно осмысленные существа, ничем не хуже прочих других осмысленных – людей, к примеру. Только маленькие – просто они меньше нас: вот у меня, мечущегося по Зоне человека, мотивы куда более бессмысленные, чем движение этих муравьев. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. И я точно уже это видел где-то.

Скрип двери отвлек меня от воспоминания.

Передо мной появилось лицо старика, лесного бога.

– Ну вот и чудненько, паренёк, – сказал он в бороду. – Миленько да чудненько. Далеконько ты забрался.

Я привстал и вторым после муравьев для меня было другое видение из прошлого.

Это было знакомое лицо.

Первым делом я увидел большой портрет Ленина на стене. Нормальный такой, официальный портрет – я такие помнил по детству.

Ленина довольно сильно засидели мухи – или уж муравьи, не знаю. Но он всё равно оставался улыбочивым всеобщим дедушкой.

Только я успел додумать эту мысль, как откуда ни возьмись появилась женщина, лица которой я не видел, но она стащила с меня ботинки и брюки.

Я совершенно неприлично заржал, но одним ловким движением она воткнула мне в рот пучок травы. Рот мой сразу наполнился горькой слюной, и я снова забылся.

Нужно было спать, даже если меня тут будут держать на откорм.

Это всё равно.

И я снова спал, долго, непонятно сколько, потому что когда я снова проснулся, было тихо и темно. Ночь окутывала меня, и это было очень странное ощущение.

Я никогда не спал в русских избах за печкой, а тут ощущал себя будто в тёплом коконе, в мирной домашней теплоте, которая и должна быть за домашней печкой.

Это было почти наркотическое ощущение спокойствия и радости, причём, испытывая его, я понимал, что нахожусь посередине Зоны. То есть я находился посередине смертельно опасного для человека пространства, помнил это, и всё же чувствовал себя совершенно счастливым.

Я подошёл к опушке и увидел, что сразу за деревней начинается кладбище.

Причём размеры кладбища были куда больше, чем площадь самой деревни. Более того, кресты уходили стройными рядами в лес, теряясь там в темноте.

– Не пугайся, паренёк, – сказал дед мне в спину. – День сегодня такой, радостный день единения. Сейчас все приехали.

– Все? – переспросил я. – Кто это – все?

– Те, кто здесь жил. У кого родственники здесь.

И правда, только сейчас я заметил, что к могилам идёт довольно много людей.

– Что это? Зачем это? – напрягся я.

– Ну как же, день такой. Мы приходим со своими поговорить.

Вечерело. На могилах зажглись огоньки.

Люди сидели – кто на лавочках, а кто на земле. Было это не очень страшно, скорее чудно – так в больших городах говорят люди, у которых в ухе беспроводная гарнитура от телефона. Я так принял однажды одного человека за сумасшедшего.

Тогда я ехал в нью-йоркском метро, а напротив меня сидел человек, который чётко и внятно что-то говорил невидимому собеседнику. На коленях у него лежала пачка деловых бумаг с какими-то графиками и диаграммами. Я быстро понял, что на самом деле у него телефон в ухе, и он никакой не сумасшедший. Но поезд подошёл к станции, и человек вдруг швырнул веером бумаги и пошёл к выходу. И я понял, что никакого телефона у него нет.

Но Нью-Йорк остался в далёком прошлом (в этот момент я вспомнил, что эта история случилась всего два месяца назад).

А тут была своя жизнь, и у каждой могилы сидели родственники и говорили со своими мёртвыми.

Разговор ладился не у всех – какая-то женщина, кажется, слушала поучения и время от времени, не сдерживая слёзы, говорила «Да... Да... Да...». Видимо, покойник был не в меру строгий. Разговоры были и более живые – на одной могиле сидела семья с детьми – они тихо, но всё же перебивая друг друга, о чём-то взволнованно рассказывали.

Огоньки уже мелькали в самой чаще леса, и заходить туда я не хотел.

Моё дело – сторона, моих знакомых тут нет. Ну а мешать этим людям мне было неловко. Я вернулся в дом. Там было тихо и пусто, дедушка куда-то подевался.

На столе одиноко коптила керосиновая лампа.

Мне ужасно хотелось есть, и я открыл стоявший у двери старый холодильник «ЗиЛ», белый, облупленный, с автомобильной ручкой на дверце.

Внутри было пусто и пахло каким-то старческим валокордином.

Однако в самом низу обнаружилась глиняная миска, полная какой-то каши. Я с опаской понюхал это варево и даже потрогал его пальцем.

Каша была кашей, но непонятно из какой крупы. Передо мной была чёрная масса, но по виду съедобная. В конце концов, зачем иначе тут кто-то ложку забыл? Ложку я взял и принялся есть – сначала деликатно, а потом просто жрать.

Керосин в лампе кончался, и она начала мигать, язычок пламени то исчезал, то с шумом появлялся. Звук был такой, будто лампа плюётся. Наконец стало окончательно темно.

– Поел? Это хорошо, – сказал в темноте старик. Я так и не понял, откуда он взялся. – Это значит, ты, паренёк, на поправку пошёл.

– А что это? Ну, что я ем?

– Это грибы. Хорошие, вкусные. Поел? А теперь ты спи, спи. Сейчас не твоя ночь, а наша.

Я и заснул. Что у меня, выбор был?

Когда я проснулся, то первым делом проверил содержимое рюкзака, разложив его на столе. Заодно я вытряхнул из него какую-то кору, крошки и аккуратно сложил спальник.

Потом я принялся чистить автомат. Оказалось, что я его довольно сильно испачкал в грязи, а ствол был забит толстой пробкой из земли и травы. Видимо, я действительно на него опирался, когда шёл сюда.

Я аккуратно всё вычистил и собрал барахло.

Никто так и не объявился, и мне стало интересно, где же все. Я, оставив своё барахло в сенях, пошёл в соседний дом. Но там была труха на полу, рваная бумага, мерзость и запустение. В доме никто не жил лет двадцать – только муравьи чёрной дорожкой бежали по полу.

Следующий дом тоже оказался пустым – с той только разницей, что там пола вовсе не было. Под большими брёвнами-стяжками виделась земля.

Третий дом не имел стены, и я прошёл его насквозь.

Четвёртый дом зарос до потолка какими-то грибами – похоже, именно ими я и питался. Эти грибы покрывали всё: потолок, стены – и росли даже на печи.

Больше домов в деревне не было. Только покосившийся сарай и торчавшая из земли сельскохозяйственная техника – какие-то ржавые сеялки и веялки, которых я не мог отличить друг от друга.

Когда я вышел из деревни, то сразу свернул налево и пошёл до самого открывшегося за поворотом поля. Потом – мимо двух камней, и сразу увидел дорогу, которая мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге я прошёл две деревни, одна была пустая, поросшая всё теми же грибами, грибами для еды, и там никто не жил, в другой жили какие-то чудачки, и даже трава вокруг была какая-то чудная, синяя. Два человека, вышедшие на меня поглазеть, выглядели больными.

Я как-то сразу решил, что заговаривать с ними не надо, все равно они ничего не

понимают, наверняка память у них «ведьмина пыль» выела.

А за этой деревней по правую руку оказалась Глиняная поляна.

И вот уже из-за леса выходила насыпь узкоколейки.

Я и пошёл к ней, уже весело и спокойно, не забывая, впрочем, глядеть себе под ноги.

Безо всяких приключений я влез на насыпь и часа два шагал я между рельсами, приближаясь к уже знакомому мне домику.

На насыпи сидели трое, и один из них приветливо помахал мне рукой.

Было видно, что у них там горит костерок, а на треножнике над огнём подвешен котелок.

«Ну, вот и люди, – подумал я радостно, увидав, как он мне машет. – Они мне помогут!» Давно я не видел нормальных людей. Один из них привстал навстречу мне.

Человек этот был в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Видно, передо мной были вольные стalkerы, которые ходили в чёрте каких обносках.

Но тут я понял, что сделал большую ошибку. Автомат у меня болтался за спиной, а вот у них оружие было наготове.

Улыбка была ещё приклеена к лицу горбоносого, но два его приятеля уже поднимали стволы.

– Славный гость, – сказал горбоносый, – прошу, браток, к нашему шалашу. Только дай я тебя от лишнего освобожу, тебе, браток, поди, неудобно.

И он снял с меня, поднявшего руки, автомат и рюкзак.

– Гляди, Миха, чистенький. И одежда чистенькая, и рюкзачок фартовый.

– Фарта! – подтвердил второй.

– Пусть он куртку снимет. И ботинки, – сказал третий, до этого молчавший. – У него ботинки что надо. Сезона, наверное, не исходил.

– На туриста похож.

Они рассуждали обо мне, как о еде, которая уже куплена и забита, но пока не ошипана и не порезана на порционные куски.

– Ты не рыпайся, браток. Мы туристов любим, и тебе не больно будет. А будешь рыпаться, устраивать кипеж, так мы тебя до конца не добьём, а так оставим – крысам на радость.

И тут я испытал очень странное ощущение, почти как в кино, когда быстро-быстро меняются кадры.

«Неужели и меня?.. Что это за люди? Неужели бандиты?»

Я смотрел на них и не верил происходящему.

Одна часть меня как бы говорила: «Кто они? Зачем они так? Неужели они – меня? Неужели они – меня, меня, меня? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все? Два высших образования, учёная степень, три языка? Для этого я жил, да? Мать любила, друзья, девки разные, лишний вес сгонял...»

Но при этом никакого ужаса не было, не было никаких сожалений, и будто в другой части моего сознания включился навигатор, подсказывающий поведение.

Я ничего не сказал и тогда, когда самый младший из бандитов начал подталкивать меня стволом вперёд.

Видимо, труп мешал этим эстетам принимать пищу.

– Эй, Миха, штаны не бери, – сказали нам в спину. – Не бери, в штаны он точно уже обосрался.

И на насыпи загоготали.

Мы сделали несколько шагов вниз.

Я вдруг понял, что прямо тут на склоне между стеблями травы из земли торчит кусок проволоки. Толстый кусок проволоки, давно вросший в землю, может, ещё при Сталине. Ржавое растопыренное железо, пережившее и Сталина, и немцев на этой земле, и Хрущёва с Брежневым, и череду быстро сменяющихся генсеков, и новых президентов, и теперь мне

зачем-то нужное.

Совершенно непонятно откуда, но знал, что оно там есть, и что...

Тут-то я споткнулся о металлическую петлю, торчавшую из земли. От этого я совершил абсолютно цирковой кульбит, перелетев вперёд через голову.

Мой потенциальный убийца даже растерялся, живой труп попытался сбежать, а теперь вот скрылся в какой-то канаве.

Я слышал его возмущенное дыхание – так бывает, когда человек не может даже ругаться, и только открывает рот, втягивая в себя воздух.

Он поводит стволом автомата из стороны в сторону.

И теперь я понял, что находится рядом – очень редкая инверсионная аномалия. Олежек звал её «массаракш», я всех этих слов, взятых напрокат у Стругацких, не любил, а собственного мнемонического правила для запоминания не придумал.

Так бы её и звать – инверсионная аномалия. Мушкет говорил, что она, может, и не такая редкая, но только рассказать о ней часто бывает некому. В центре аномалии физическое пространство меняло полярность, и всякий предмет, помещённый туда, выворачивался наизнанку.

Говорят, что именно с ней был связан легендарный левосторонний автомат Калашникова, но это только слухи необразованных сталкеров, что плодили легенду за легендой. Спутать разные типы симметрии им было несложно, да и оказалось, что действует она только на биологические структуры.

Именно туда, подняв ногу, собирался ступить мой милый палач. Можно было, конечно, его предупредить, но... Но для этого я был недостаточно свят.

Молодой прыщавый парень, отступив, поставил ногу обратно. Я молча ждал, что будет дальше. Что-то со мной произошло – Зона превратила меня в другого человека. Перетрясла и подарила новые навыки – например, умение спокойно ждать чужой смерти.

Паренёк покрутил головой, видимо, подумал, что рассказывать у костра, что жертва сбежала, ему было бы стыдно.

И всё-таки сдвинулся вперёд.

Он перестал существовать за долю секунды, став похож на кусок мяса с торчащими рёбрами – было в моём детстве такое блюдо, которое делали из сосиски, проткнутой перед варкой сухими ещё макаронинами.

Сразу было понятно, что человек – существо хордовое.

Автомат он, впрочем, в последний момент выронил, и я, стараясь перемещаться осторожнее, чем мышь, воруящая сыр из мышеловки, подобрал его.

Теперь я был бос, но вооружён – точь-в-точь, как народы Африки.

Теперь надо было выручать барахло, и убить человека. Или даже двух.

С насыпи уже закричали:

– Эй, Миха, ты чё? Ты где? Щас доедим всё, чё.

Я перевёл автомат на одиночный огонь, и только над насыпью встал один из моих обидчиков, честно прострелил ему голову.

Сейчас второй, не будь дураком, схватится за оружие, и если он не будет совсем уж дураком, то отползёт в сторону, стараясь поймать меня, когда я вылезу наверх.

Голова моя работала чётко и совершенно цинично, безо всякого сожаления, и, что удивительно, – без страха. «Что это случилось со мной? Бывают ли такие случаи, и что надо делать в таких случаях?» – спросил я сам себя. И чужой голос внутри головы подсказал мне, что нужно двинуться по низу насыпи в обход.

Так я и сделал – и то, что я был босиком, сослужило мне хорошую службу – я двигался бесшумно, хотя пару раз занозил себе ноги.

Я тихо вылез на насыпь метрах в десяти от главного, что лежал и, пытаясь, выцеливал врага внизу.

Голливудские фильмы велели в таких случаях произнести какую-нибудь запоминающуюся фразу, но моя идея заключалась в том, что Голливуд – это такое зеркало

нормальной жизни. А в нормальной жизни, то есть в «нормальной жизни внутри Зоны», я сделал ровно то, что полагалось – вклеил противнику очередь в спину с десяти метров.

Теперь можно было осмотреться.

Я оглядел оружие. Было до слёз обидно вспомнить слова моего стрелкового инструктора. Он был негр, и оттого было особенно забавно, что он всегда говорил, что Калашников придумал автомат для необразованных африканцев, потому что даже они могут стрелять из него. Но эти ребята относились к оружию хуже, чем обезьяны. Казалось, что оно как на показательных стрельбах, специально измазано.

Я бережно подобрал собственные ботинки и медленно оделся.

Теперь нужно было заняться мародёрством.

Я понял, отчего эти бравые ребята настояли на том, чтобы я разделся. По сравнению с их одеждой моя куртка и рубашка были образцом чистоты, несмотря на случившиеся в дороге приключения.

Удивительно было, что в ПДА старшего, среди прочих данных, оказались отчего-то фотографии Атоса, Мушкетина, Базэна и даже Кравца. Всего фотографий было около десяти – и мне стало понятно, что на моих товарищей кто-то объявил охоту.

Но меня эта троица не ждала. Меня в списке не было – им я казался бонусом, подарком.

Я прислушался к себе – злорадства во мне не было, только холодная оценка происходящего. Казалось, что, несмотря на приступы боли в затылке, голова у меня работает как бы в двух режимах – нормальном и цинично-аналитическом.

Итак, я вывернул трупам карманы, нашёл там патроны (это пригодилось), деньги (немного подумав, я взял), ворох амулетов, включая иконки и ладанки (это я оставил, хотя никакого обряда над телами проводить не собирался). Тела я оттащил от насыпи, а оружие прикопал рядом с домиком, в одной из оставшихся там пластиковых коробок.

* * *

Как и положено при возвращении, я вышел на открытую площадку перед брустверами спецбатальона ООН.

Там посередине поля торчал столбик с устройством, похожим на домофон.

Следовало назваться, сообщить количество человек, номер пропуска и ждать.

После того, как тебе разрешат, идти, расставив руки в стороны. Уже потом нужно было тащить за собой рюкзак, или же за ним отдельно приходил солдат.

Когда я пришёл к научному городку, то первым, кого я увидел, был Мушкет. Он сильно изменился в лице, когда узнал меня.

Мушкет даже несколько побелел, будто перед ним возникло приведение.

– А мы тебя – того... Похоронили... Ты не представляешь, что тут было! Атос, когда приехал, меня чуть не убил. Да что там! Он всех чуть не убил. Как он орал! Ерш твою двадцать, как он орал. Тебе повезло, что он оторался.

Но тут Мушкет был неправ – всегда внешне спокойный Атос запер меня в своём кабинете и начал на меня кричать. Боже, как он орал! Если это называлось «оторался», то я представляю, что было сказано Олегу. Атос шипел и говорил, что не для того он вытащил меня из-под следствия, чтобы я сгинул в бессмысленном выходе, который (этот выход) удел рядового сталкера. Он рычал на меня как мамаша, было уже начавшая обзванивать морги, как вдруг её чадо явилось на пороге.

Но всё-таки и он устал.

Я не злился и не чувствовал себя обиженным. Понятно было, что это всё от нервов, оттого, что он переживал за меня. Ну, и из-за того, о чём я сам думал: нас осталось мало-мало тех людей, слова которых ты понимаешь хорошо, просто потому что мы отмахали большой кусок жизни вместе.

Потом Атос полез в шкафчик и достал бутылку виски в подарочной упаковке. Непослушными пальцами он сорвал эту шелестящую золотом и серебром шелуху и разлил в

два стакана – сразу грамм по сто пятьдесят.

Мы выпили.

Алкоголь был вместо «извините».

Потом мы лежали в креслах по разные стороны его безупречно чистого стола и молчали.

– А всё-таки материшься ты много, – сказал я лениво и беззлобно.

– Тут ты путаешь две вещи: одно дело ругаться матом, а другое – разговаривать.

В больших конторах, помешанных на бизнесе, где я работал, могли запросто орать матом на подчинённого или описывать результаты его работы. В малобюджетных интеллектуальных институтах всё по-другому: во-первых, нужно иметь калёный характер, чтобы женщине, что старше тебя вдвое, орать: «...! Вы отчёт сдали или срань! Что за херня!». Во-вторых, скажешь – тебе через десять минут ляжет на стол заявление об увольнении и нового научного сотрудника на эти деньги ты не найдёшь. В-третьих, люди (и не только в малобюджетных конторах) понимают, что с хорошими кадрами так говорить нельзя, работы это не улучшит. А постоянно решать – можно-нельзя, тяжело, лучше вовсе окоротить язык.

А вот закричать «...!», когда спалили порт у принтера или там что иное – это все горады. Повсюду. Ты понимаешь, чем более высококвалифицированный персонал, тем бессмысленнее на него орать, да ещё матом. Когда начальник кричит – это вообще признак слабости. На рыбалке – да. И на охоте. Один мой непосредственный начальник со мной очень проникновенно беседовал, когда я его за глухаря принял. А он всего-то орлом за дерево присел.

Но мы же поняли друг друга? Да? Никогда так не делай. Никогда.

По возвращении я проспал целые сутки, а потом пошёл в бар, где рассказал Мушкету про свои приключения. Рядом с ним, как всегда, крутились Петрушин и Селифанов.

При них я не хотел особо распространяться, и свернул разговор, схлопнул его, будто опустевший кулёк от вишен.

Глава двенадцатая

– Вы, вероятно, – спросил Штирлиц, – вывели какой-либо гороскоп?

– Гороскоп – это интуитивная, может быть, даже гениальная, недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать: о взаимосвязанности каждого живущего на земле с небом и солнцем... И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины...

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Москва, 3 мая. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Бар «Пилов» и современная физика. Можем ли мы объяснить всякому сталкеру теорию струн?

Если бы Петрушин видел старшего из той компании, что уничтожил Арамис, то весьма бы удивился. Петрушин видел этого человека, что теперь превратился в корм для многочисленных зубастых тварей Зоны, лет двадцать назад.

Он был тогда подростком, сбежавшим в Зону, спасаясь от уголовного дела по малолетке.

Тогда он не знал, что выбрал себе дело на всю жизнь, и представлял себя бравым сталкером с автоматом наперевес.

Жизнь крепко наказала его – и своим оружием он обзавёлся только через год.

А тогда ему месяц за месяцем пришлось работать в баре «Снежинка» за всё. Бар этот был одно название – обычная столовая в Припяти, перевалочный пункт для торговцев, которые там и держали товар. Петрушин там мыл полы и посуду, и вообще был самым младшим в пищевой цепочке работников. Но всё же его не съели, и он стал карабкаться наверх.

Ну, или туда, что в ту пору казалось ему верхом.

А время было беспокойное, и он ничуть не удивился, когда дверь «Снежинки» отворилась, и на пороге возникли двое. Это были, как показалось Петрушину, молодые люди, может быть, немного старше его. Их лица понравились Петрушину, и он спросил:

– Что для вас?

Тот, что вошёл первым, обернул своё смуглое горбоносое лицо к приятелю и спросил, улыбаясь:

– Сам не знаю, понятия не имею. Ты что возьмешь?

– Не знаю. – Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. – Не знаю, что взять. Ума не приложу.

Наверняка это были хорошие люди. Петрушин бы не испугался, если бы они на дороге подсели в машину, которая раз в месяц возила его из Припяти в родительский дом. А уж везти деньги Петрушин всегда трусил.

Пришедшие просматривали меню, поставив ружья между ног. Ничего тут необычного не было, в баре многие сживали с оружием, хотя его полагалось сдавать при входе. Но тут Петрушин с удивлением увидел, что все в баре напряглись и отводят глаза.

– Дай мне свининки с картофельным пюре, – сказал горбоносый.

– Ах, пан, – ответил Петрушин. – Нету сегодня свининки.

– Какого же черта она есть в этой бумажке?

– Это из обеда, – пояснил Петрушин. – Обеда ещё нет. Только готовят.

– Порядки тут у вас, – сказал горбоносый и засмеялся. Засмеявшись, он ушиб нос о ствол ружья.

– Черт с ней, со свиньёй, неси, что есть, – заключил он.

Они спросили выпивки и очень расстроились, когда узнали, что ничего, кроме ханки, сегодня в баре нет.

Но ещё они, кажется, были рады тому, что поутру в баре всего два посетителя, кроме них.

Поев, горбоносый встал, положил ружьё на плечо и отчего-то пошёл не к туалету, а на кухню. Пожилой белорус, которого наняли готовить, кажется, возмутился и что-то буркнул в том духе, что чужим не место на кухне. Тут же раздался звук удара, и белорус вышел в зал с перекошенным лицом и рассечённой губой.

Оба посетителя в дополнение к своим ружьям достали из внутренних карманов пистолеты и стали расставлять всех присутствовавших, будто шахматные фигуры в этюде.

Петрушин было собрался возмутиться, но посмотрел на хозяина. А хозяином был тогда довольно суровый человек по кличке Вредитель. Вредитель сделал ему знак, который в обычное время хозяин сопровождал словом «не залупайся». Ну, Петрушин и не стал залупаться. Зачем это, коли сам Вредитель не велит.

Он только улыбнулся, и горбоносый сразу навёл на него пистолет.

– Ты чего лыбишься, урод? – спросил он ласково. – Чё лыбишься?

Петрушин ничего не ответил, но улыбаться перестал.

Ему показалось, что эти люди пришли за хабаром. Так иногда происходило в те годы. Через крысу в обслуге бандиты узнавали про тот момент, когда в баре накапливалось достаточно хабара, и вваливались туда за день до перекупщиков. Это была участь небогатых точек со слабой крышей или не имевших крыши вовсе. Потом-то все слабенькие легли под своих хозяев, и хозяева средние пожрали маленьких хозяев, а уж средних с хрустом и массовыми расстрелами пожрали несколько крупных мафиозных кланов. Тут-то всё и упокоилось – потому что известно, что крупным кланам беспредел не нужен, он им мешает.

Поэтому кровопролитные войны быстро прекратились.

А тут, глядишь, какая петрушка – снова началось.

А потом горбоносый загнал всех на кухню и поставил к стене. Стена на кухне не обновлялась с советских времён, а отлетевший кафель приклеивали «тёщиной липучкой» – странным артефактом, что приносили с Зоны. «Тёщина липучка» держала так крепко, что ей как-то на спор приклеили стул к потолку. Стул висел там до сих пор – сидеть, правда, на нём было неудобно.

Работники собрались у этой стены, на которой с давних времён висели ещё общепитовские плакаты: «Работник столовой! Соблюдай чистоту» и «Регулярно проходи медицинское обследование».

Бородатый несколько раз в них прицелился, но стрелять не стал, а только засмеялся.

– Что все это значит? – спросил Вредитель.

– Слышишь, – крикнул горбоносый. – Он хочет знать, что все это значит. Сам он не догадывается, падла. Ты не догадываешься? А? Не догадываешься? О, я тащусь от него! Не догадываешься?!

– Я не знаю.

– Ну, а все-таки?

– Не могу догадаться.

– Слышишь, эта падла не может догадаться, что все это значит. А я тебе скажу, что это всё значит. Это значит, что мы пришли за Романом Шуховым, и мы будем мочить Рому Шухова, который у вас тут жрёт. Жрёт у вас тут такая падла? Только скажи мне, что нет. Ты первый тут ляжешь, никакие бабосы тебе не помогут, мы про тебя-то многое знаем, как ты тут хабаром приторговываешь, а крыша у тебя гнилая. В дырках твоя крыша. Давно уехала! Спалил её реактор, а? Нет, жрёт у вас тут Шухов, а?!

– Да, – сказал Вредитель. – Господин Шухов к нам заходит.

– Господин... Ни хера не господин, он к вам заходит, мы знаем, он к вам должен был зайти полчаса назад. Падла Шухов должен был к вам зайти. Где он?

– А я откуда знаю? – И хозяин получил чувствительный тычок стволom в грудь.

– Где он?

– А я знаю? Иногда он вообще не приходит.

И горбоносый перевёл взгляд на Петрушина.

– А ты, пацан, его видел?

– Нет. А зачем вы его хотите мочить?

– Нас попросили. По дружбе. Знаешь такое выражение «по дружбе»?

Петрушин кивнул, выражение-то он знал, но всё равно не верил, что такие люди будут убивать «по дружбе», то есть бесплатно.

– Заткнись, – сказал бородатый. – Слишком ты много болтаешь. Не нужно им тут ничего объяснять.

– Понятно, – ответил Петрушин. – А что вы с нами после сделаете?

– А это смотря по обстоятельствам, – заржал бородатый. – Как вести себя будешь... Машенька!

Время тянулось медленно, как леденец в горячей воде.

– Тут все козлы, – сказал горбоносый, – но пацан клёвый. Не хотелось бы его грохнуть. Он мне нравится.

Без пяти семь Петрушин сказал:

– Он не придет.

Петрушин принёс с кухни бутылку хорошей ханки и разлил в два стакана – порция была большая, вдвое больше, чем наливали обычно.

– Клёвый пацан, – сказал горбоносый. – Исполнительный.

– Может быть, – согласился Петрушин. – Но, знаете, господин Шухов сегодня вовсе не придет. Он всегда приходил раньше.

– Дадим ему еще десять минут, – сказал горбоносый.

– А что с этими делать? – спросил его бородатый.
– Ничего, пусть их.
– Ты думаешь – ничего? Мне не нравится, что они много слышали. Да и ты тут разорвался, как партийный секретарь.
– А что это меняет? Многие слышали. А когда мы его грохнем, так вообще все узнают.
– Не нравится мне это. Может, их зачистить?
– А, ладно. К тому же, вдруг у них правильная крыша. Сейчас время гнилое, ни в чём нельзя быть уверенным. Вот, ханка у них хорошая. Помнишь бимбер,²¹ что мы пили у Сявы? Так это – лучше.

– Как знаешь, но я бы зачистил.
– Ну, прощай, умница, – сказал он Петрушину. – Везет тебе, долго жить будешь.
– Ну, пошли... – Горбоносый спрятал пистолет и вышел на улицу. Бородатый тоже было вышел, но вдруг обернулся и повёл стволом, будто выбирая жертву. Все сразу присели, а бородатый заржал как лошадь и наконец тоже вышел на улицу.

И дверь стукнула, отделяя людей от их неожиданных визитёров. Видать, не бедные они были, потому что сразу взревел мотор и там, за мутным стеклом, проехал старинный «газик».

Но так всё равно, бедные по Припяти не ездят, бедные по Припяти пешком ходят, по стеночке. И в те годы ходили так, и сейчас, поди, опасно ходят.

Когда бандиты ушли, все стояли ещё пару минут, приходя в себя и оглядываясь.

Такие лица, вдруг понял Петрушин, бывают у людей сразу после выброса, который они переживают на безопасном расстоянии. То есть, все живы, дырок нет, а по голове будто пыльным мешком стукнули.

Тогда Петрушин пошёл в комнату Наташи. Наташа – это было не имя, а профессия. Шухов был у Наташи в эту ночь и поэтому не пришёл в бар обедать.

Петрушин постучал в дверь и, толкнув дверь, вошёл в комнату. Шухов, одетый, лежал на кровати.

Эта кровать была слишком коротка для него, и ноги в грязных носках торчали вперёд.

Шухов так и не взглянул на вошедшего.

– В чем дело? – спросил он только.

– Роман Григорьевич, – сказал Петрушин, – я в баре «Снежинка» работаю. У нас сегодня приходили двое, по виду чистые бандюки, нас чуть не перестреляли и говорили, что хотят вас убить.

Петрушин сказал это и сам подивился, как это по-мальчишески вышло.

Но Шухов ничего не ответил.

– Они типа нас держали под прицелом, – продолжал Ник. – Они хотят вас грохнуть, когда вы в баре появитесь. Им по Зоне вас ловить не с руки.

Шухов глядел в стену и молчал.

– Мы решили предупредить вас. А уж страху-то мы натерпелись, эти бандюки совершенно отмороженные, хуже кровососов.

– Все равно тут ничего не поделаешь, – сказал Шухов, не глядя на подростка Петрушина.

– Хотите, я вам опишу, какие они?

– Это совершенно не важно, – ответил Шухов.

Петрушин смотрел на человека в грязных носках, и никак не мог поверить, что это настоящий Шухов, знаменитый сталкер Шухов, по слухам, загадавший желание на Монолите.

– Спасибо, парень. Не стоит.

– Может быть, это ваши друзья? Они, может, шутят? Может, просто шутка?

²¹ Самогон, как правило, картофельный. Термин употребляется в Польше, Западной Украине и Белоруссии.

– Ни хрена.

Шухов повернулся на бок.

– Вы бы ушли куда. Зона большая.

– Нет, – ответил сталкер Шухов. – Надоело мне всё.

Подросток Петрушин с ужасом смотрел на человека, что, по слухам, загадал желание на Монолите. А теперь живая легенда, знаменитый сталкер лежал перед ним в рваных и грязных носках.

– А нельзя это как-нибудь уладить?

– Нет, теперь уже поздно.

– Так скажу нашим, что я вас предупредил, – сказал, помявшись, Петрушин.

– Спасибо, что пришел.

Наташи в номере не было, она, видимо, что-то прознала и решила ретироваться. Потом Петрушин много раз убеждался, что у женщин с интуицией дела обстоят куда лучше – и то верно: кинут в окно гранату, а граната не разбирается, где там женщина, где мужчина. Даже если будешь под мужчиной, всё равно может убить, – философски подумал подросток Петрушин.

Он вернулся в бар и рассказал Вредителю, что Шухов не хочет выходить из чужой комнаты.

– Но когда-то ему придётся выйти, – мрачно сказал Вредитель. – Я, пожалуй, пришлю ему кастрюльку того-сего. Но надолго этой игры у него не хватит, всё равно его грохнут.

– А что он мог сделать? – спросил Петрушин, который понимал, что соприкоснулся с чем-то сложным и непонятным, и страх мешался в нём с любопытством.

– Этого нам знать не нужно. Вот скажи, ты хочешь, чтобы тебя грохнули вместе с ним? Нет? Так вот, нам ещё повезло, что они не начали стрелять сразу в баре – а то сложили бы нас штабелем на кухне и ждали бы Шухова без нас.

– Наверное, у него был какой-нибудь артефакт, и он его не отдал?

– А наверное, у него был миллион. Миллион артефактов и Золотой Шар в кармане. Никогда не спрашивай ни о чём из любопытства, любопытство не только кошек губит. Пшёл вон, дурак.

И подросток Петрушин потащился в подсобку за шваброй. «Пшёл вон» всегда означало: «Иди и мой полы». За время петрушинской работы Вредитель успокаивался, и с ним можно было говорить дальше.

Но теперь он не очень-то успокоился. Когда Петрушин вновь решил начать разговор и сказал: «Я думаю, что он нарушил какой-нибудь уговор...» – то Вредитель запустил в него грязной тряпкой, которой он вытирал стойку.

В тот день Петрушин понял несколько важных для себя вещей: во-первых, он понял, что люди вне и внутри Зоны куда страшнее прочих существ, и если от псевдогиганта можно убежать, то от людей никуда скрыться нельзя.

Во-вторых, он понял, что никогда не будет ждать смерти в чужой комнате.

Ну, и в-третьих (это было уже что-то вроде бонуса), он понял, что самым практичным оружием в Зоне и вокруг является дробовик, а не что иное. Но это было уже так, действительно что-то вроде бонуса.

Но Петрушин так и не узнал, каков был конец горбоносого, и вообще не узнал никаких подробностей.

Он не стал спрашивать Арамиса, потому что действительно со времён своей службы в баре «Снежинка» считал, что подробности в делах, связанных с чужими смертями, ему не нужны.

Лишнее это для него.

Лишним это было, когда он мыл посуду, и подавно лишнее это сейчас, когда у него есть приличная работа.

Но никаких особых подробностей про свою встречу с горбоносым Арамис Петрушину

не рассказал.

Арамису сейчас вообще было не до того.

Он сидел в баре «Пилов» и наблюдал за популяризацией современной науки. Это был удивительный эксперимент: Мушкет объяснял Селифанову и Петрушину теорию суперструн.

Селифанов с Петрушиным получили кучу денег за проводку по зоне туристов.

Как-то так вышло, что деньги они получили большие, причём куда большие, чем сами ожидали.

Дело было, разумеется, нелегальное – иначе расплатились бы с ними не наличными, а тупо кинули бы деньги на карточку.

Посредник, разумеется, снял проценты с основной суммы, но сами туристы кинули Селифанову с Петрушиным дополнительные деньги как бы «за удовольствие».

Эти дополнительные деньги в виде туго свёрнутого цилиндрика сейчас лежали перед ними на столе.

И именно на них они наняли Мушкета в качестве лектора.

То есть денег Мушкет, разумеется, не взял, но, оказалось, настоял на том, что его будут поить и кормить, пока он будет вещать о современной науке.

В своё время Мушкет задолжал им ящик пива, а теперь эта парочка сталкеров зачла этот ящик и пообещала открыть новую кредитную линию.

Однако условия включали в себя обязательную лекцию о струнах и прочих современных чудесах.

Это было стильно, чёрт побери!

Однако и Мушкет держал марку, не кобенился и честно рассказывал, что знает.

– Итак, – сказал Мушкет, – очень хорошо, что все мы сидим в месте, где все физические законы как бы «подплывают». А то, как воспринимается наука обществом, вещь, наверное, не менее интересная, чем сами научные открытия. Есть такая особая категория, как честный обыватель. (В слове «обыватель» нет ничего обидного – это гражданин, что готов приложить некие усилия для понимания сложной идеи, но не готов для этого бросить работу, жену и собаку.)

В разные времена для честного обывателя были разные представления о Самой Сложной Задаче Науки. В Средневековье это был философский камень, в середине XX века – ядерная физика, а сейчас самой сложной теорией считается так называемая теория струн (или теория суперструн).

С чем это связано? С тем, что наука давно уже оторвалась от честного обывателя, и он уже не может сам, не бросив работу, жену (и не перестав выгуливать собаку) в ней разобраться...

Я заметил, что нашего Мушкетончика слушали по большей части люди, вовсе не похожие на честных обывателей. У большинства из них не было жён, работа была весьма специфической, а уж собаки, которых они чаще всего здесь видели, были черномыльские слепые псы. А уж черномыльского пса выгуливать на поводке мог бы только самый страшный из мутантов.

Но Мушкет продолжал:

– Более того, даже дипломированные физики из смежных областей не понимают, чем занимаются коллеги. Помимо прочего, современная физика обслуживается очень сложной математикой, в которой сформировались сложные научные языки и высокий уровень абстракции (к примеру, дети, глядя на шахматные фигуры могут воображать, как «лошадка» съела «человечка», а вот гроссмейстеры уже думают целыми быстрыми цепочками ходов, ничего лошадиного себе не представляют и оперируют целыми блоками действий).

Итак, первое, что должен сказать себе честный обыватель, отправляясь в путь, – ничего страшного в том, что он не поймёт большей части современной науки, нет.

Мы с вами (тут Селифанов и Петрушин как-то одновременно воспряли, распрямили

спины и выпятили грудь) – мы с вами как бы ходим вокруг «комариной плешки» и в несколько шагов очерчиваем её границы, но внутрь, к центру (или эпицентру, если точка находится под землей или сверху), мы не полезем. Хренушки, нам жизнь дорога.

Но Петрушин всё же вмешался. Видать, долго его распирало, и он не выдержал:

– Только – стой. Стесняюсь спросить, ты будешь говорить слово «коллайдер»? А то я – натура робкая, впечатлительная и утончённая.

– О, ну тогда ты тут не в большинстве. Сочувствую.

– Да тут все такие – только стыдятся признаться. Оттого и говорят прокуренными голосами, сплёвывают шелуху от семечек под ноги и смеются так: «гы-гы-гы».

И Мушкет продолжил:

– Тогда второй шаг – это разобраться не с самой теорией, а с тем, зачем она понадобилась – то есть, с историей вопроса.

Итак, физика развивалась всё быстрее и быстрее, и вот на смену ньютоновским представлениям о взаимодействии тел пришла теория Эйнштейна, а немного погодя – квантовая механика.

Теория Эйнштейна, хоть и почиталась заслуженно трудной для понимания, но была снабжена не таким сложным математическим аппаратом. Устраивались даже публичные лекции, на которые приходили дамы в шляпках и пытались слушать гения.

С квантовой механикой такой популяризации не получалось – но проблема была в том, что Теория относительности противоречила квантовой механике.

Чем-то они обе были похожи на тришкин кафтан – только какое-нибудь явление объяснялось одной теорией, как это объяснение начинало противоречить другой – и наоборот. Астрономы подтверждают Теорию относительности в наблюдениях за звёздами и галактиками, но как только физики в других лабораториях начинают исследовать очень Маленькие Объекты, то оказывается, что квантовая механика частицы описывает, а Теория относительности терпит неудачу. Это действительно тришкин кафтан – то мёрзнут очень большие объекты, то очень маленькие, а совместно эти две теории современную физику не могут укрыть.

Поэтому уже давно у физиков появилась мечта о соединении этих двух теорий воедино. Оттого их посещали мечты о создании Единой теории поля (ЕТП), которые иногда нечестные журналисты пересказывают честному обывателю как «поиски единой формулы всего».

На следующем, третьем шаге, мы обнаруживаем, вернее, физики обнаруживают, что некоторые физические процессы очень хорошо описываются так называемой бета-функцией Эйлера, то есть уравнением колебания струны. Они обнаружили это в конце шестидесятых годов прошлого века.

И это, собственно, положило начало если не новой теории, то хотя бы вызвало к жизни её название.

Отчего не описывать очень Маленькие Частицы не как шарики, к которым все мы (от физиков до честных обывателей) привыкли в школьных учебниках?

И сперва всё вышло очень хорошо – многие явления микромира, движение и вес частиц очень хорошо укладывались в эту теорию микроскопических дрожаний. Появилась даже надежда помирить Теорию относительности с квантовой физикой.

Но радость была преждевременной, и всё оказалось не так просто.

Делая четвёртый шаг, обыватель узнаёт, что в 1971 году теорию струн доработали, модернизировали и назвали, чтобы не путать с прежней, теорией суперструн.

Наука опять рывком продвинулась вперёд, но тут же возникли две проблемы – проблема измерения и загадочное слово «суперсимметрия». Слов загадочных, кстати, много – вот слово «сингулярность» – можно им вместо мата ругаться.

– Что за сингулярность?

– Это у математиков такая особенная точка, когда что-то неопределённо или ведёт себя кое-как. Да и у физиков примерно то же.²²

Была даже идея, что Зона – это первичная сингулярность, и у нас тут зарождается новая Вселенная. Ведь законы у нас тут нарушаются все – от Уголовного кодекса, до всех физических законов.

Вот покойный Ицкь этим занимался. Или вот Плоткин, который всё измерял гравиконцентраты – смотрел, как там у них на поверхности время идёт – быстрее или медленнее.

Мысль о том, что наш мир может иметь измерений больше, чем те, что мы ощущаем в быту, в общем давняя. Научная фантастика использовала слова «другое измерение» многократно, но это не мешает физикам использовать многомерность для объяснения некоторых явлений.

Честный обыватель должен относиться к словам «многомерное пространство» уважительно, но помня, что с ним дела обстоят как всё в тех же шахматах, где фигура «конь» не обладает копытными свойствами. Эти многочисленные измерения далеки от нашей длины, ширины и высоты (даже вкуче с временем – а физики множат и множат количество этих измерений тысячами – насколько позволяет математический аппарат).

Со словом суперсимметрия всё проще. Оно означало то, что поведение некоторых частиц должно быть симметричным, но доказательную базу для этого могли дать только очень дорогие эксперименты на очень дорогих ускорителях (что с переменным успехом делается до сих пор).

Большой адронный коллайдер, кстати, часть этой системы исследований. А уж про этот коллайдер нечестные журналисты честному обывателю рассказали множество всякой ерунды.

Пятый шаг – это прикосновение к так называемой М-теории. Она появилась на руинах множества других идей в рамках теории суперструн.

Причём на каждой стадии продвижения вперёд наука напоминала спор в меняльной лавке – за снятие каких-то противоречий приходилось платить введением дополнительных элементов конструкции.

Всё это происходило на очень высоком математическом уровне, потому что чисто физического эксперимента никто произвести не мог, так как воображаемые струны были размера 10^{-35} метра, то есть у человечества нет приборов для непосредственного измерения таких объектов. Да и они оказались не какими-то одинаковыми струнами, а предметами совершенно разной конфигурации – например, дрожащими мембранами.

Шестой шаг для честного обывателя – это подведение итогов.

Итак, полвека современные физики совершенствовали теорию струн, и она за годы своего пути сильно изменилась.

М-теория обладает по крайней мере двумя печальными свойствами.

Во-первых, она очень сложна (не в том смысле, что непонятна честному обывателю, а в том, что её описывает очень сложная математика, которую приходится упрощать. Чтобы хоть как-то иметь с ней дело).

Во-вторых, её практически невозможно проверить – и хотя, когда физики просят денег на проекты типа Большого адронного коллайдера, они говорят, что тут-то мы и прорвёмся, но сами (получив или не получив деньги) признаются, что надежды на это мало.

²² Космологическая сингулярность – начальное состояние Вселенной с бесконечной плотностью и температурой вещества. Космологическая сингулярность является одним из примеров гравитационных сингулярностей, предсказываемых общей Теорией относительности. В момент сингулярности не соблюдаются обычные законы физики.

Но это перевешивается надеждами на будущее М-теории – она уже избавила физику от многих противоречий и имеет шанс вырастить внутри себя Единую теорию поля и взаимодействий, помирить Теорию относительности с квантовой механикой и достичь гармоничной картины Мироздания.

И наконец, седьмой шаг, вернее оптимистическое завершение, похожее на день отдыха – воскресенье.

Что делать с современной физикой честному обывателю? Не пугаться и, насколько позволяет свободное время, изучать то, что сообщают физики.

Была такая история много лет назад: советский учёный Понтекорво (итальянец, эмигрировавший в СССР – не слишком редкое в те годы явление), гуляя в окрестностях Дубны, заблудился. Однако учёный встретил тракториста, который взялся подвезти Понтекорво в сторону дома. В пути они поддерживали разговор, и тракторист спросил, чем именно Понтекорво занимается.

Тот ответил предельно точно – «нейтринной физикой» (собственно, Понтекорво был одним из её создателей). Тракторист возразил:

– Вы иностранец, и не совсем точно употребляете некоторые слова. Вы же имеете в виду не нейтрину, а нейтронную физику!

Понтекорво, рассказывая об этой встрече, всегда приговаривал:

– Надеюсь, я доживу до времени, когда уже никто не будет путать нейтроны с нейтрино!

Физика стала куда сложнее, и путаница с нейтрино уже кажется нестрашной по сравнению с колеблющимися мембранами в глубинах микромира. Заблудившийся в чужих теориях обыватель может утешать себя тем, что следующим поколениям его проблемы будут казаться вовсе не такими сложными.

Селифанов опять достал свою цилиндрическую пачку денег и вытащил оттуда три купюры.

* * *

– А вот, кстати, о сворачивании пространства, – сказал Селифанов. – Типа, вопрос: откуда пошла традиция сворачивать некоторую сумму денег в цилиндр, а не держать их в пачке? Только, если можно, по существу – я-то фильмы тоже глядел, сам сворачивал, миф о наименьшем объёме помню. Плавали, да.

– Чтоб хранить в пулеметных лентах, – сказал я.

– ... Или в газырях, – вставил Мушкет.

– А может, это что-то из мира криминала? – сказал кто-то.

– Ясен пень, от бандитов.

– Я вот что считаю, – сказал Мушкет. – Это действительно от мафии. Я в какой-то книге читал, что так в тюрьмах и на пересылках прятали деньги во время шмона. Свернул, засунул эту трубочку в зад и дело с концом. Ведь не всегда заключённым в зад смотрят...

– Точно, от бандюганов. А сам цилиндр «торпедой» называется. Только в оригинале она ещё полиэтиленом оборачивается.

Селифанов с Петрушиным уставились на свою премию. Мне показалось, что они смотрели на свёрнутые в трубочку деньги даже с некоторым испугом.

Один молодой сталкер с очевидно интеллектуальными претензиями бросил:

– Всё, что можно свернуть, то и сворачивают. Сворачивают всё – карты, чертежи и холсты. У нас просто нет этой традиции из-за того, что в СССР у гражданина денег и на пачку не набиралось. Ни на круглую упаковку не набиралось, ни на прямоугольную.

– Я видел в телевизоре передачу про деньги, – сказал Мушкет серьёзно. – Так вот, там выдвигалась версия, что у мафии было суеверие, что нельзя перегибать, то есть – травмировать купюры. Типа, чтобы бабло не кончилось, придумали такой наименее

травматичный способ его хранения. То есть закатывают в цилиндр, чтобы деньги не обижались.

– Я вот этого не слышал, – сказал Селифанов. – Уж на что сталкеры суеверны, а такого у нас нет. Я-то верю, что обычай возник у бандитов в связи с определенными суевериями и символами, а потом ушёл в народ. Тем более, тут есть тонкость – во-первых, когда мы передавали так деньги, их очень неудобно было пересчитывать. Это их имманентное свойство. Ну, а на теле-то как раз лучше прятать, распределяя тонкие пачки.

– А может, потому что в таком виде пачка выглядит внушительнее? Ну там, ещё от форсу – мол, я денег не считаю, – сказал кто-то.

– Ещё дело в размерах. Видели новые евро? Это ж простыня какая-то! Все держат деньги на карточках, поэтому бумажные деньги стали сувенирами и теперь увеличились в размерах. Многие банкноты прошлого, да и нынешние напоминают гравюру, которой место в рамке на стене. Что их, четверо складывать? В свиток их, в свиток!

– А у меня бабушка в кровать деньги прятала, – вдруг вспомнил Петрушин. – В кровать, да.

– Точно, – подтвердил кто-то. – Деньги в ножки кровати стальных прятали. Отвинчивали набалдашник, и – туда, в трубу.

– Ну, да, шишечки такие были никелированные... И шарики.

– Но прятали-то куда угодно. Сворачивали в трубочку и обёртывали фольгой и впихивали в тюбик с зубной пастой. Ну, полупустой тюбик...

«Ишь, оживились, – подумал я. – Это вам не теорию струн обсуждать».

– Традиции-то этой три тысячи лет, – вновь вступил очкастый. – Свитки-то... Свиток так устроен, и он такой был, пока не надо было его тайно в автомобиле передавать. Эстетика такая.

– Если б тут была эстетика, то внушительнее было бы, если из денег выкладывали бы самолётики и фигурки животных – как в египетских отелях. Я вот в Египте был, так...

– Всё дело в том, что из-под резиночки купюры мохряются и иногда вываливаются. Могут вообще веером растопыриться. Поэтому мы их скручиваем в рулон и поперек резиночкой. Чтоб не мохрились.

– Слышь, ты, эстет! В некие годы я, да и присутствующий тут Фимушка, имели дело с пачками разных размеров. Возили денежку так и этак, и в носках и под мышкой, и желание «чтобы не мохрилась» нас совершенно не посещало. Это всё странное желание «чем-то перевязать» – от фетишизма. От тех, значит, людей, что крупную сумму видят, только когда продают свою квартиру. Ты вот погляди – все сталкеры свои квартиры попродавали, кто в девяностые годы, кто потом. Зона нас не отпустит никогда.

Ах, зачем сказал это безвестный сталкер в очках. Есть ведь темы, о которых говорить не принято. Нельзя среди сталкеров говорить о доме, вернее, нельзя напоминать сталкеру о том, что дома у него нет. Потому что культ дома у сталкера, что работает в Зоне, важнее, чем даже культ ждущей его женщины.

Это очкастый сказал совсем напрасно. Известно, что все мужчины занимались когда-нибудь онанизмом, но говорить об этом в обществе нельзя. Все знают – но нельзя. И уж отменили слепоту у онанистов и выросшие на ладонях волосы – но всё равно нельзя.

Вот рассказать анекдот можно. Мушкет обычно рассказывает свой любимый анекдот про человека, который спрашивает своего друга:

– А тебя жена ловила в тот момент, когда ты занимался онанизмом в туалете?

– Да не-е-ет, – испуганно говорит приятель.

– И меня нет! Правда, классное место!

Так и здесь – сталкер человек очень обидчивый, он всегда романтик. Сам-то он всегда рассуждает. Что он изгой, рискует жизнью, что ходит по краю, а как скажет кто ему со стороны, что он неудачник-изгой, что ходит по краю, потому что сделал неудачный выбор, что рискует жизнью, потому что рисковать ему больше нечем, что ничего он больше не умеет... Если всё это сказать, так начнётся нормальная драка, хорошо если ещё без стрельбы.

Но эту ужасную паузу прервал крик Мушкета.

Мушкет был всё-таки хоть романтик, пьяница и бабник, но понимал, как и куда идёт разговор.

Он всё это время смотрел в большой монитор, на котором посетители обычно смотрели футбольные матчи, и где теперь показывали новости с приглушённым звуком.

– Ух ты! Опять! Знаете, братья, весь телевизор набит инженером из Урюпинска – это как раз к нашему разговору о современной физике. Вот показывают, как он приклеил к гостиничной стене чуть выше фикуса два плаката, и теперь хвастает, что ему удалось доказать теорему Ферма...²³ Эндрю Уайлс оказался шарлатаном! Гипотеза Таниямы-Шимуры – на мыло! Вот истинная правда – всё возникает в русской глубинке. Теперь стало понятно, что великие тайны прошлого повсюду. Ключ к доказательству оказался скрыт между строк в романе Дэна Брауна «Код да Винчи». Если кому интересно – в сцене на могиле Ньютона.

– Да. Инженер упорно называет француза Ферма – Фермой.

– Наверное, косит под мужичка из глубинки.

– Ну, только довольно напористого.

– Да что там ваш Ферма, а вот про Пушкина тоже самое читал – бог и пророк, от него чёрт отступился, а вы тут про теорию суперструн нам парите, – вступился кто-то из задних рядов.

– Пушкин – точно гений, без базара, – поддержали его.

– Вы всей правды не знаете, – важно сказал Мушкет, – а я этим занимался. У этих любителей Пушкина есть своё братство, довольно сплочённое, с несколькими пророками. Дошло дело до того, что батюшки на них начали покрикивать, чтобы те не разводили уж совсем откровенного сектантства и мистики.

– Офигеть.

– Это что, раньше у них денег не было, а как завелись, так они тут же начали издавать подмётные письма и прельстительные брошюры. В частности про то, что Пушкин, как Настрада Предсказамус, в «Евгении Онегине» зашифровал всё, что будет. Но главная тайна всё равно ещё не прочитана, потому поля слишком узкие, чтобы... А они – суперструны, понимаешь. Пушкин и зомби. Картина маслом «Пушкин побеждает кровососа».

– Мы-то отвлеклись, – всё-таки прервал этот поток пушкинистики Мушкет. – А ведь говорили о важном. Вот тут я битый час рассказывал о теории струн, и непонятно, удачно ли рассказал. Вот с теоремой Ферма всё забавнее, ведь вопрос – понятно ли доказательство Уайлса?

– Вы это серьезно? – возмутился Базэн.

– Ну ладно: можно ли его понять?

– Я лично – нет, и не пытался, – сказал Базэн. – Это не совсем моя область математики, я-то занимаюсь куда более интересными вещами. Теорему-то все знают, а вот доказательство не из моей области, а из смежной: там слишком много модулярных форм, а я их совсем не знаю. Но прорва народу из моих коллег понимает. Я думаю, что число математиков, полностью разобравшихся в доказательстве примерно сто человек. Это – большое число. Да и популярных книг много вышло...

– Как бы популярных, – вставил Мушкет.

– Не важно, сейчас это вообще пройденный этап. Есть немало работ, основанных на тех же идеях и идущих гораздо дальше. Но, коллеги, если бы работы Уайлса никто не понял, то много бы что не возникло: работы Дармона и Мереля, модулярный метод Беннета-Скиннера-Сиксека... не говоря уже о великой работе Брёйя-Даймонда-Тэйлора,

²³ Великая теорема Ферма – самая известная теорема математики. Её условие очень просто: «Для любого натурального числа $n > 2$ уравнение $a^n + b^n = c^n$ не имеет натуральных решений a, b и c ». После трёхсотлетних поисков доказательства эта теорема доказана в 1995 году англо-американским математиком Уайлсом.

которые доказали модулярность всех эллиптических кривых, а не только полустабильных, как Уайлс. Я имею в виду именно две работы Уайлса, в которых доказывается модулярность полустабильных эллиптических кривых.

– Вы знаете, – сказал я, – я сейчас вмешаюсь в ваш спор, потому что, во-первых, мне он кажется немного бессмысленным, и, во-вторых, мне самому интересно несколько другое, а каждый тут за себя.

Мы только что разогнали учёными словами всех сталкеров, но при этом заговорили о том, зачем мы тут сидим. Чем мы отличаемся от грязных и невымытых вольных сталкеров? Тем, что нам платят на карточку белыми и у нас есть легальный, а не теневой пенсионный фонд? И чем мы отличаемся от перекупщиков хабара? Какой смысл нашей работы на Зоне, и понимает ли её кто.

Вон, Мушкет уже сколько лет работает на косметическую компанию и может говорить, что несёт счастье дряблой коже светских красавиц. Но вот какова судьба чистой науки в нашем мире, где наплевать на фундаментальные знания?

Может, мы хранители подлинно эзотерического знания, не выплёскивающегося в народные массы трактористов с гармошками? А вот можем мы рассчитывать на среднеобразованных людей, окончивших инженерные высшие учебные заведения, а?..

Я вот как-то в Америке ехал в поезде с одной красивой девушкой. (Тут я специально не стал упоминать фамилии Миледи, потому что не один я её тут мог знать.) Тогда у неё был муж-математик, и они оба только что вернулись с Филдсовского конгресса. Этот математик был уже в каких-то больших чинах, делал там доклад. Подробностей я не знаю, тем более это была очень красивая девушка. Я спросил, за что дали очередную премию.

«Ты не поймёшь», – ответила она. Я несколько обиженно стал напоминать, что я окончил не самый глупый факультет, и вроде не чужой математике человек. Но она была непреклонна: «Вы не поймёте» (то ли она упомянула о Гильберте, который отказался заниматься теоремой Ферма, сказав, что ему нужно три года, чтобы только вникнуть в проблему, то ли у меня тут срабатывает ложная память). Тут важна была интонация. Она в двух словах объяснила мне, что нематематик этого понять не может. Не знаю, как это у неё получилось, наверное, дело было именно в интонации.

Ровно то же самое приключается и у нас – мы на переднем крае. Тут, в Зоне, струнулись с места фундаментальные законы физики, тут сумасшедшая биология, тут непечатый край работы. А финансируется примочка от дряблости щёк, ну и у военных что-то там финансируется.

Мы так эволюционировали, что не только методика исследований, но и сам их результат имеет корпоративную ценность. Почто обывателю кровосос?

Он не хочет кровососа.

То есть, он не хочет его знать, не хочет понять, как он живёт, зато очень его хочет в качестве страшилки.

Обыватель хочет посмотреть фильм «Периметр» с голливудскими звёздами и прочесть книжку, которая начинается словами: «Вован и Толян передёрнули затворы своих „Калашниковых“ и начали вглядываться в мрачную темноту тоннеля под Саркофагом, откуда на них глядели красные глаза мутантов». Вот что нужно человечеству. И тут оказывается, что научный результат учёному из смежной области тоже недоступен. Не тому человеку, который хочет про лептонные потоки или торсионные поля, а мне. Порог моего понимания современной математики таков, что мне не переступить через него никогда. То есть для этого мне нужно затратить много лет, и время пластичных мозгов уже упущено.

Вопрос заключается в том – насколько справедливы эти мои рассуждения. Насколько закрыт мир современной математики? Можно ли оценить размеры групп математиков, которые понимают друг друга в рамках одной проблемы (понятно, что проблемы разные, да)? Можно ли оценить численно группы математиков, которые за год, примерно, могут поменять задачу?

Это, конечно, профанический вопрос – но отчасти и потому, что я мог его неловко

сформулировать.

– Серёжа, это очень сложный вопрос, – печально ответил Базэн. – Я, скажем, тоже не понимаю работ большинства филдсовских медалистов и не могу сказать, что меня это не тревожит. Действительно, большинство даже очень хороших математиков знают очень мало за границей своих узких областей. С другой стороны, математика по-прежнему едина, пронизана общими принципами, и чем дальше, тем больше выясняется поразительных аналогий между совершенно, на первый взгляд, не связанными вещами.

– Об этом можно долго говорить, но «понять» во всех деталях доказательство изолированного факта, каковым является теорема Ферма, для серьезного математика не является самоцелью. Гораздо важнее понять общие принципы, на которых оно работает, чтобы уметь применять (и развивать) эти принципы для решения других задач. А в деталях всегда можно разобраться, если понимаешь принципы.

– Вот с принципами самое интересное – вокруг этого и крутится моя мысль. Я абсолютно согласен с тем, что сама по себе теорема Ферма не важна, а есть вещи поважнее. Я как-то добровольно-принудительно регистрировал сумасшедших, что приносили доказательства теоремы Ферма. Абсолютно безумных. Причём это было лет за пять до доказательства – и я был готов дать руку на отсечение, что её доказать невозможно. Руку, слава Богу, сберёг. Но для меня было совершенно *очевидно*, что все, кто ко мне приходил, никакого доказательства принести не могут. К тому же был случай Йоичи Мияока – отнюдь не похожего на сумасшедшего старичка с мятыми листами в авоське. Я думаю, я бы не поверил и Уайлсу. Но мне-то не нужно было выносить вердикт. Мне нужно было принять бумаги, а по возможности, не принять. Потому как если примешь – хорошим людям придётся писать обстоятельное заключение на всё это.

И – вернёмся к принципам – я берусь рассказать человеку вменяемому, желающему понять, но не специалисту про островок стабильности, трансурановые элементы, или, скажем, сейсмологию и строение Земли. Человек не станет специалистом, не будет разбираться в проблеме досконально, но будет иметь о ней представление. Но в области математики, мне кажется, это уже невозможно. Где-то в XX веке перейдён Рубикон популяризации. Может быть, это качествен – но другая степень абстракции, не знаю.

То есть мне кажется, что сформировать представление у неспециалиста невозможно.

– Ну тут, увы, тогда придётся вообще отказаться от разговора – ибо бутылка виски сейчас у нас есть, но никаких изменений в нашей двоичной компании не предвидится. Тут, кстати, дело не в «тревоге». Я бы употребил какое-нибудь другое слово – скажем, я в это обстоятельство всматриваюсь с интересом, но с меньшим, чем отношусь к мысли, как бы заработать себе на штаны. Но всё равно – интересно, могут ли оторваться друг от друга эти части математики, нет ли тут какого критического состояния, за которым происходит качественное изменение.

Каковы границы человеческого восприятия – вот мои друзья, оставшиеся физиками, вполне успешными, говорят, что «математики переднего края» тоже не понимают физики – как таковой. Как рассматривать этих математиков – как разведчиков, заброшенных в космос? Либо вернутся и всё впрок пойдёт, либо приживутся на дальних планетах, угнездятся и плюнут на всё.

Это мне, конечно, интересно. Я затеял этот диалог с вами ещё и потому, что мне важна личная заинтересованность – мне важно не только то, что человек говорит, но и как. По обязанности – одно. За деньги – другое, по собственной воле – третье. Ну и, конечно, хорошо, что мы не коллеги. Это тоже очень важно.

– А девушка скорее всего сама не понимала.

– А никто и не говорил, что она понимала всё. Может, ей заниматься семьёй и прочими гуманитарными науками было куда приятнее. И вообще она была мудра житейской мудростью.

Мушкету надоело нас слушать и он гаркнул:

– У вас там других тем не осталось, что ли? Ферма и Ферма! Полугода не проходит,

чтоб очередной самородок её не доказал!

Мы его не слушали, потому что Базэн наконец согласился со мной:

– Ну, да – наступает эра торсионной математики. А что, вас это волнует?

– Ну, я не стал бы употреблять слово «волнует». Вот я сейчас дождался, и Алик сделал мне жульен. Но вот, пробуя, я обжѐг себе нѐбо – и это действительно меня сейчас волнует. В случае с теоремой Ферма меня это интересует. Даже не сама теорема Ферма, а её функционирование в культуре – впрочем, мы с вами это уже обсуждали.

Ну, раньше бы вас это насторожило, теперь же, когда вы никого не хотите обидеть, могло ведь просто взволновать?

– Да спокоен я, спокоен. Но это ведь звенья одной цепи – теорема Ферма и жизнь Зоны. Ведь удивительно не то, что здесь происходит, а то, как это принял мир. Ведь мир совершенно не удивился! Ни чуточки!

Зомби! А вот вам зомби!

И мир это съел – что нам удивительного в зомби? Ничего! С детства в мультиках смотрели. Вот концерт группы «Стринги» – это действительно поражает!

От Зоны нужна косметика и «пустышки» большой ёмкости – ну, меня убедили, что это нормально.

Меня не убедили только, могло ли быть иначе. Нет ли тут нашей вины, вины учёных?

– Ну, есть. От этого вам, Серѐжа, легче, что ли? Ешьте, ешьте, только с жульеном, что делает Алик в нашем баре, будьте поосторожнее. Расплавленный сыр, он, знаете, опасная штука.

– Да я ем, ем. Но понятно, что дело не только в теореме Ферма, а в специфике математики. Непонятно, прокладывает ли математика путь другим наукам или это эзотеричная модель знания. Что это такое – современная наука? Но в этот момент я себя одѐргиваю. Все эти вопросы напоминают «В чём смысл жизни» и отсылают к бесконечным общим обсуждениям. Но вот маленькие частные вопросы у подножия этого безумия, мне кажется, вполне можно обсуждать.

– Вот то, что говорят великие математики про математику и что сразу вызывает споры и несогласия. Один наш коллега, бывший ваш учёный... Чѐрт, все русские так болезненно относятся к гражданству и национальной принадлежности, но я, видит Бог, не хочу вас обидеть...

Так вот, один математик говорил, что эта наука является не только наукой, но и одним из «последних» остающихся в живых классических искусств.

Сегодня математика по-прежнему здорова, в то время как изящные искусства проходят через постоянный кризис.

Вот были такие главные тайны математики, и все боялись, что они будут раскрыты и всё кончится, но появилась теория струн, которую тут очень доходчиво объяснял ваш друг, и появились вместе с ней новые тайны.

Всѐ продолжается.

– Да кто спорит? Но ведь это не ответ на вопрос о том, можно ли объяснить всё это другим. Судя по реакции сталкеров, они вовсе не постигли теорию струн. Так вот, у меня сложилось впечатление, что со времѐн учёных-энциклопедистов наука настолько сильно эволюционировала, что возникли области, в которых не только методика исследований, но и сам их результат имеет корпоративную ценность.

– Вы, Серѐжа, и правы и неправы одновременно. В самом деле, человека, понимающего «всю математику», наверно уже нет.

Тем не менее видящих очень многое с высоты птичьего полета человек триста наверняка наберется.

– Кое-что сближает математику и шахматы. И то, и другое вышло на тот уровень, когда задачи и их решения не понятны обывателю вообще.

– Это неправда. И вы можете многое понять. И многие. Но для этого придется трудиться – сделать это хобби, искать понятные тексты про математику, это непросто.

Понятных текстов, увы, мало. Даже совершенно замечательные математики зачастую косноязычны. Отсутствует внутренняя потребность рассказать что-то понятно, обрадовать. Или просто нет сил. Надо свои тексты и мысли профессионально привести в порядок и записать, на это времени нет, а они копятя и мешают жить, а уж на понятный обзор...

В этот момент я заметил, что люди за столом как-то незаметно сменились – сталкеры попроще куда-то слиняли, и остались в основном те, кто сидел тут на научных контрактах, грантах и прочем.

В общем, заскучали простые сталкеры от этой высшей математики, что доказывало слова Мушкета косвенным образом.

Лишь Селифанов и Петрушин держались – но им и было положено.

Они, в конце концов, банковали.

Разговор заходил в тупик, и я всмотрелся в слушающих.

Участников-то уже было только двое.

– Чё за дела? – вдруг громко сказал Селифанов. – Где мой вискарь?

Мушкет в это время вертел в руках стакан, время от времени поднимая глаза к потолку – то ли намекая, что он оттуда свалился прямо ему в руки, то ли что стакан послан ему свыше.

– Так-так. Спишись с адвокатом, – мрачно сказал Селифанов.

– Да-да, мой адвокат говорит, что здесь нет умысла. А стало быть, нет и преступления.

– Умысла, может, и нет, но преступление есть. И такие ошибки смываются кровью.

– В смысле «Сангрией»? Алик говорит, что ему привезли «Сангрию».

– Что мне это евросоюзовское пойло, оно всё из химии состоит.

– Можно подумать, что ты знаешь, какую Алик заказал.

– Да что мне любое пойло? А? Мне смысл нужен.

Тут я подумал о том, что Селифанов не так-то прост. Да, он служил какой-то шестёркой у бандитов, но быстро разочаровался в их романтике, стал вольным сталкером после того, как всю его группировку вывели в расход, а теперь вот работает на науку.

И то ведь правда – есть разница, за что умирать. Одно дело сложить кости на Зоне за пахана Сяву или там за циничного и жадного до денег перекупщика Орехова, а немного другое – когда ты служишь чему-то не до конца скомпрометированному.

Разница есть.

И я понял, отчего Селифанов с приятелем наняли Мушкета, чтобы он объяснял им современную физику. Они были те самые обыватели, что хотели, но не могли разобраться в современном мире.

И Селифанов не строил иллюзий насчёт того, что он что-то сумеет понять, пусть – ничего, но он будет слушать незнакомые слова и запомнит пару из них.

Он был солдатом этой армии науки и просил почитать ему вслух приказы генерального штаба.

А в этих приказах то слово «диспозиция», то «фортификация», то указание «барражировать» – не всякий точно их поймёт, но, причислив себя к паладинам этого штаба, хочется простой причастности.

Нет, не так просты были Селифанов с Петрушиным, и не ради дурацкой шутки они всё это дело затеяли.

Но есть момент, когда глубинные мотивы становятся не такими важными – за это время я привык к этой парочке, и они стали частью моей жизни. А значит, в их желаниях была особая ценность – если они хотели служить в рядах армии научных работников (сталкеров в нашем городке, кстати, оформляли как лаборантов), значит, так тому и быть.

Но разговор явно был не для простого сталкера, и, чтобы не раздражать их, я попытожил:

– Я как-то рассчитывал, что человек может за свою жизнь прочитать около

десяти-пятнадцати тысяч книг (это, кстати, величина порядка Александрийской библиотеки). Но есть биологические ограничения – нельзя прочитать сто тысяч книг. Точно так же, как физиологически нельзя всё время бодрствовать – это ведёт к разрушению. Я действительно могу сделать попытку понять новые открытия. Но вмешивается время – и я просто не успею это сделать. Мне может просто не хватить десяти-пятнадцати лет на это. Резерфорд однажды сказал, что учёный, который не может объяснить, чем он занимается, уборщице лаборатории, не может называться учёным. И после этого всерьёз занялся популяризацией знаний. Но полтора века назад всё можно было объяснить образованному человеку – но у меня впечатление, что наука движется с большей скоростью, чем та, с которой плодятся образованные люди.

Так что это понимание скорее предмет веры – оптимистичной для вас и пессимистичной для меня. Есть ещё одно обстоятельство – загадочен сам термин «понимание». Довольно большая часть нас всех считает, что понимает понятие «фракталь». То есть они могут из себя выдать слова: «Это когда береговая линия», или «Это когда веточки на дереве», или они говорят: «Множества дробной размерности». Но это не понимание, а умение ответить отзывом на пароль, будто человек, которого окликнул часовой: «Телескоп» – «Караганда». И не более того.

– Ну да, – кивнул Базэн. – Встреча оптимиста с пессимистом. Понимаете, для меня математика это (отчасти) живой мир, бегущий в реальном времени, в котором всё время сегодня происходит что-то чистое и красивое. Так что для меня это – живое существо. Оно бесконечное, и идеи его остановить, убить и препарировать у меня совершенно нет – вы правы, это невозможно. Как и, скажем, побывать во всех красивых местах мира, если реально смотреть на ситуацию, тоже нет ни денег, ни времени. И тоски от этого у меня нет. Я, наверно, считаю, что красота бесконечна даже локально. И уверен, что математическую красоту, теорему ли, рассуждение, идею можно рассказать многим.

А то, что учёные разделены... Мы не представляем единого существа с нашим домашним животным. А человеческий ребёнок бывает частью человеческого организма, но рвётся пуповина – и он отделён. С ним можно говорить, понимать – но единым организмом с тобой он уже не будет. Я действительно воспринимаю науку, а уж математику точно, как такой отъединённый организм – просто в большей части отъединённый, чем любая другая дисциплина.

– Вы знаете, Эрве, я восхищён вашим оптимизмом. Несмотря на то, что я его не разделяю, в нём есть что-то очень морально правильное. Я думаю, что это неотъемлемое качество профессионализма.

– А можно ли его уменьшить? Может, это как профессиональный спорт – зачем заставлять штангиста бегать стометровку лучше всех?

– Есть такой фокус, приписываемый, кажется, Архимеду: он будто бы нарисовал окружность – и площадь круга символизировала знание, а длина окружности – соприкосновение с Неизвестным. С тех пор человек практически не эволюционировал, а знаний прибавилось сильно.

– Более того – не надо стремиться к господству на всём периметре. Это бестолковая задача. Одним словом, как говорил начальник Пробирной Палаты: «Плюнь в глаза тому, кто скажет, что можно объять необъятное».

– Трижды плюну в того, кто скажет, что незачем стараться это сделать.

– Ну, я-то вообще-то за санитарию...

От нашего разговора, как оказалось, отделился другой, и пожилой человек сказал кому-то: «А вот интересно, они говорили про стандартные гипотезы Гротендика в алгебраической геометрии, гипотезы Бейлинсона о значениях L-функций в теории чисел, а про программы Ленглендса в теории автоморфных форм мы ещё поговорим»...

От последней фразы кто-то из оставшихся стал громко икать. Но меня развеселило другое – это был именно тот голос за стенкой моей комнаты, который полночи мне так нудно говорил о местной политике.

Слава богу, разговор затухал – теперь уже стали расходиться и учёные. У всех тут были завтра работы в лабораториях, у всех продолжалась та наука, которую они тут и обсуждали.

Ушёл, хватаясь за стены, Петрушин.

В баре «Пилов» остался только Селифанов. Он был давно, непроходимо пьян.

Голову Селифанов не мог держать и уронил её на стол. Пейзаж стола поэтому виделся ему довольно странным – с возвышенностями стаканов и холмами тарелок, но расположенными с поворотом на девяносто градусов.

Селифанову было скучно, и поэтому он решил добавить.

Стакан с вискарём стоял метрах в полутора – и он, напрягшись, стал смотреть на него.

Стакан сперва дёрнулся, но тут же застыл.

Только виски внутри встревоженно колыхалось.

Селифанов напрягся ещё раз, и стакан медленно пополз по столу – прямо ему в руку.

Глава тринадцатая

– Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афиширует этого? – спросил Шелленберг. – Или вы отвергаете такую возможность?

– Наивно отвергать возможность. Категория возможности – парафраз понятия перспективы.

«Хорошо ответил, – снова отметил для себя Штирлиц. – Надо было отыграть... Спросить, например: „Вы не согласны с этим?“ А он не спросил и снова подставился под удар».

– Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории непонятной возможности? Или вы против?

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Москва, 3 мая. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Излучение накладывается на старые дрожжи. Изучим тайны мироздания и собственной головы. Что может получиться из нехитрого эксперимента – законы сложения и вычитания.

Атос разрешил мне сидеть в лаборатории, изучая найденное. Под «найденным» он понимал как раз «подвески».

Я и сам понимал, что лучше посидеть в лаборатории, по Зоне не шастать, начальство не раздражать, да и вообще поменьше показываться на глаза людям.

Я и не показывался, тем более что мне самому хотелось разобраться, что, собственно, в этих «подвесках» такого.

Сначала, разумеется, я прочёл все отчёты, потом ещё день ушёл на литературу широкого профиля. Единственная опасность, что была заключена в «подвеске»-«аксельбанте», была описана в акте пятилетней давности. Один из исследователей, какой-то австриец с почти русской фамилией обнаружил, что его кардиостимулятор начинает работать вблизи подвески в нештатном режиме. Риска остановки сердца не было, да и сам ритм оказался странным, будто зашифрованное послание. Но никакого послания от иного мира в итоге не обнаружилось.

И всё же от этого дурацкого «аксельбанта» у меня разболелась голова. Не так, как она болела на Зоне, куда меньше, но мне пришлось проглотить таблетку обезболивающего.

Я не поленился сам всё перепроверить – никакого излучения не было. Ничего, ровно ничего.

Тогда я положил артефакт в сканер и стал ждать реакции машины. На чёрном экране появлялись разноцветные полосы, и побежала колонка цифр.

Ничего нет, будто бы передо мной был кусок стекла.

Тогда я вынул «аксельбант» и с опаской осмотрел. Даже понюхал – разумеется, ничем не пахло.

Единственно, у меня снова дико затрещала голова.

Я давно привык к тому, как у меня ломит голову при любой перемене давления, но тут было что-то страшное, всё поплыло у меня перед глазами.

Я, с трудом удержав равновесие, плюхнулся на стул. Болел затылок, будто след той давней операции, о которой я вспоминал не так уж часто.

Боль понемногу проходила, но стоило мне взять «аксельбант» в руку и поднести к голове, как боль усиливалась. Я был похож на человека, у которого дырка в зубе, но он всё равно раз за разом лезет туда языком.

Я снова поднёс «аксельбант» к голове и снова почувствовал, как что-то рокошет у меня под черепом. Наверное, этому не стоило удивляться, ведь я знал, что там маленькая опухоль, вернее то, что диагностируется томографом как опухоль, но я-то знаю, что это.

Можно было поднести аксельбант ближе, и вдруг будто мотор заработал у меня в голове, резко, толчками боль повышала свою амплитуду. Надо же быть таким идио...

Я очнулся примерно через десять минут. Боли не было, если не считать того, что я лежал щекой на степлере. Видимо, перед тем, как потерять сознание, я интуитивно постарался навалиться на стол, а там уже не успел выбрать себе местечко поудобнее.

И то хлеб – я знал истории людей, что умерли, упав со стула. Неловкое движение, и одна сотрудница нашей исследовательской компании в Калифорнии приложилась виском об угол стола. Её дочь долго судилась с компанией, кончилось, кажется, мировым соглашением. В этот момент я понял, что рассуждаю о какой-то ерунде, вместо самых важных вещей. И что странно, после этой риторической фразы я понял, что ясно и чётко, будто файлы на экране, перебираю все картины до потери сознания. Вот я вынимаю артефакт из сканера, вот он у меня в руках, вот я произвожу странные манипуляции им, я видел как бы со стороны кривую, которую описывает «аксельбант» вокруг моей головы. Кажется, я мог бы теперь сказать, на каком расстоянии, вплоть до миллиметра, он находится каждый раз. Вот дальше воспоминания смазаны, дальше пауза, как на перемотке. Дальше я лежу щекой на степлере, кто-то смотрит на меня.

Кто-то смотрит сзади. Этот человек не походит ближе, он просто смотрит. Может, их несколько – двое, трое. Нет, точно один, он смотрит, а потом уходит, причём дверь он аккуратно затворяет, кто он, я не понимаю.

Что-то с моим мозгом, мозг... Мозг в районе имплантата, мозг стал работать по-другому.

И тут адреналин залил меня как жаркая удушающая волна. Наверное, я жутко покраснел. Давление – нет, давление в норме – нет, чуть выше... Мозг работал как вычислительная машина, а это значило только одно.

Имплантат заработал. Имплантат, спавший внутри моего организма, заработал. «Аксельбант» сыграл роль спускового крючка, триггерные системы, и тут у меня перед глазами поплыли цепочки умозаключений.

Я много лет представлял, как это будет, но всё оказалось куда интереснее. Тогда нам казалось, что визуализация будет происходить как в американских фильмах, когда на каком-то внутреннем экране робота-терминатора (кстати, зачем он ему) будут вспыхивать слова и символы.

Но сейчас всё происходило по-другому, я был в этом состоянии, как будто во сне, когда во сне тебе что-то становится вдруг известно, ты видишь мир в иных ракурсах и что-то просто знаешь. Просто знаешь, что что-то источает опасность, или что ты сейчас упадёшь, или патруль, проверив документы, найдёт в них несоответствие – то есть информация приходила волнами, за долю секунды.

Стоп, спокойно.

Надо бы вести дневник, заметить время. Я подвинул к себе блокнот. Почерк у меня

всегда был «как курица лапой», но я, слава богу, всё понимал в своём почерке. Нет, никакого диктофона, это для агента Кайла или прочего Голливуда, для меня – блокнот как идеальная система шифрации. Я заполнил лист и как только поставил последнюю закорючку, понял, что это всё напрасно. Это не нужно, я помню ход событий до секунды. Записи не нужны. Вообще не нужны – все было в голове.

Заработала та группа нейронов, существование которой предсказывал Маракин, а мы в шутку звали «группой Тревиля».

Меня повело, и контуры предметов стали как будто смазываться. Однако я успел увидеть, что артефакт «аксельбант», иначе говоря, E665 раньше будто бы светившийся мягким матовым светом потух, как отработавшая своё лампочка.

Я подумал, что он был чем-то вроде спички, поднесённой к запалу, то есть к моему мозгу.

Главное теперь, чтобы мозг мой, несчастная глупая моя голова не взорвалась бы.

И если я правильно понимаю, у меня в голове начал работать тот самый акселератор.

Хорошо было супергероям – для того, чтобы им включить свои замечательные суперсилы, им достаточно было забежать за угол и переодеться. У меня это происходило через головную боль и страшные неприятности – теперь я понимаю, отчего у меня так болела голова на Зоне во время одиночного путешествия.

Только тогда прямого воздействия на головной мозг не происходило – всё же артефакт лежал внутри герметичного экранирующего излучения, контейнера.

А теперь я был похож на обезьяну с гранатой, которая выдернула кольцо. Что-то у неё получилось. Но пока обезьяна, то есть я, ещё не вполне понимала, что у неё получилось.

Как говорил в своё время один из моих научных руководителей, «стремясь куда-то войти, сперва подумай, как оттуда выйти». Но это были американцы – маракинская школа была совсем иная: нужно было ввязаться в бой и лишь потом посмотреть, что будет. Никакой рекогносцировки, только разведка боем, плевать на тылы и растянутые коммуникации – руби, коли, и пусть победа будет за нами!

Но я успел подумать, что изменённое сознание сейчас я включу, а вот как его выключить?

Однако остановить что-то уже было невозможно.

Я чувствовал себя как человек, что готовится чихнуть, и отработать назад уже нельзя – я действительно увидел вдруг все предметы и о каждом из них мог сказать вещи, которые раньше не пришли бы мне в голову. Например, я видел серийный номер газоанализатора, и понимал, что не сколько вижу его, сколько помню. Я мельком бросил когда-то взгляд на табличку, а теперь пробуждённая память подсказывала мне восьмизначное число.

Переводя взгляд на стопку бумаг на столе, я понимал, сколько в ней листов – девяносто восемь. Причём я знал, что если снять с неё, как с колоды карт, сорок два листика, то я увижу заголовок: «Часть вторая».

Как аквариумная рыбка, двигаясь будто в воде, плавно и медленно, я предпринял этот эксперимент и действительно увидел перед собой страницу сорок шесть, где сверху было набрано: «Часть вторая. Некоторые результаты практического применения измельчённой пыльцы слабомутировавших растений».

Теперь хорошо бы увериться, что все эти наблюдения существуют не только в моём сознании.

Потому как я очень хорошо помнил, что есть такая история, которую рассказывают то про Хаксли, то про Вуда, или про одного английского наркомана, про которого написал Оруэлл.

Так вот этому наркоману открылись во время трипа удивительные тайны мироздания.

Это был непростой наркоман, и понимая, что тайны мироздания на дороге не валяются, он всё записал.

Проснувшись наутро, он обнаружил каракули следующего содержания: «Банан

большой, но кожа еще больше».

Не важно, кто это был, но попасть в положение этого учёного (или простого наркомана) я не хотел. Такой ход дела казался мне унижительным – лучше совершать свои ошибки, чем повторять чужие.

И я начал разглядывать предметы, прислушиваясь к своим ощущениям.

Ничего необычного – я понял, что это наглядная реализация того, о чём говорил своему неизменному спутнику Шерлок Холмс: «Этот человек по типу – врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков – лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья у него гораздо блее. Лицо изможденное – очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку – держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане. Весь ход мыслей не занял и секунды. И вот я сказал, что вы приехали из Афганистана, а вы удивились».

То есть я просто реализовал жизнь Шерлока Холмса, но хотелось бы надеяться, что не стал при этом наркоманом.

А то будешь лежать, весь в следах от уколов, а когда зайдёт ко мне на огонёк Атос, то предложишь ему если не морфия, то кокаина:

– Семипроцентный. Хочешь попробовать, дорогой Атос?

Но по крайней мере на этой стадии от наркомана в этом состоянии было мало – я чувствовал, что это тяжёлый труд, такая мучительная работа. Конечно, библиофилы, занятые перелистываем пыльных страниц в поисках нужной миниатюры, тоже своего рода наркоманы, но не так уж чтобы очень распространённый тип.

Да, управляться с этим новым умением мне предстояло ещё долго.

Но я решил снова нырнуть и опять погрузился в это странное состояние.

Теперь я как бы видел всю Зону, она была странно изогнута, словно я наблюдал её в объектив «рыбий глаз», края местности были искажены, но я видел все детали. Так показывали Зону беспилотные самолёты, пока все не попадали в аномалии и не были сбиты праздношатающимися по Зоне сталкерами.

Я понимал, что на самом деле не лечу над пространством удивления и неожиданностей, а это моё сознание, собрав по крохам информацию в памяти, выстраивает эту картину.

И вот теперь я видел, как через Тёмную Долину проходит отряд наёмников, который готовит новую засаду. Они совершают странные эволюции внутри Зоны, и если постараться, то можно понять, что им нужно.

Им нужен я... Нет, не только я – и с удивлением я понимал, что им нужен Атос. Причём эти четверо, что шли сейчас устраивать засаду, были частью какой-то большой, сторонней силы, что вела с моим другом игру, как кошка с мышью.

Его, видимо, пытались купить, а теперь просто хотели убрать с шахматной доски, как ненужную фигуру. Иногда убивать даже не надо, а лучше погрузить врага в суетные заботы. Ну, или, на худой конец, убить близких ему людей.

Мне рассказывали, как перспективные научные исследования в СССР были свёрнуты с помощью мелких и смешных действий – одному разработчику подкинули фальшивую родственницу, а когда он с ней даже не переспал, то его жена, внезапно вернувшись, всё равно нашла тюбик помады под кроватью. На одного бабника наслали ораву молодых матерей с младенцами на руках, к третьему прислали ящик коньяка и он развязал с пьянкой.

И что? Один из ведущих конструкторов оборонных систем застрелился, советский разработчик М-теории бросил науку и углубился в семейные дела, а один из фигурантов сломал себе шею, катаясь на Эльбрусе.

Всё это, разумеется, наука наवरстала, но открытия были сделаны чуть позже, чем в других странах.

Иногда малые возмущения приводят к большим колебаниям системы, как об том

говорила нам теория и практика задач с неустойчивостью.

Что-то схожее происходило и сейчас.

И вот четверо наёмников шли по тропе, и возможно, именно с ними мне предстояло столкнуться через пару дней. Но что-то им помешало, и они вдруг залегли.

Сверху я видел, как за холмом их выцеливают два сталкера в рваном обмундировании. Потом к ним присоединился третий, таща за собой антикварный немецкий миномёт. Видимо, этот пятидесятимиллиметровый миномёт был найден сталкерами где-то в болоте.

Они медленно готовят антикварную трубу на прямоугольной подставке к бою, а потом беззвучно кладут пристрелочную мину прямо перед наёмниками. Вторая взрывается прямо в том месте, где залегли эти четверо. Девятьсот граммов стали и тротила сразу убивают двоих и ранят третьего. Третья мина с неисправным взрывателем, и она ухает прежде времени, прямо над четвёркой, в которой уже осталось только двое дееспособных бойцов.

Я вижу этот бой на вогнутом экране моего сознания, и у меня даже появляется желание кликнуть мышкой где-то с краю, чтобы вызвать меню.

Приходя в себя, я думаю о том, откуда во мне знание о скоротечном бое с применением 5cm leichterGranatenwerfer 36²⁴ – и тут же вижу свой ПДА, на котором одна за другой тухнут яркие точки.

Что ж, и тут я нашёл объяснение, но всё же понимал, что нахожусь только в начале долгой дороги.

Главное не надорваться.

Я посмотрел на стол, где, кроме всего прочего, лежала кучка рассыпавшихся спичек, которые я использовал для тренировки быстроты счёта.

С ними можно было тоже что-то придумать, но я одёрнул себя. Я помнил историю заведующего лабораторией Андрея Андреевича Комлина, который сошёл с ума именно от экспериментов со спичками.

Спички мы оставим на будущее.

Глава четырнадцатая

– Штандартенфюрер, – сказал ему Шелленберг через две недели, – видимо, вопрос технического превосходства будет определяющим моментом в истории мира, особенно после того, как ученые проникнут в секрет атомного ядра. Я думаю, что это поняли физики, но до этого не дотащились политики. Мы будем свидетелями деградации профессии политика в том значении, к которому мы привыкли за девятнадцать веков истории. Политике наука станет диктовать будущее. Понять изначальные мотивы тех людей науки, которые вышли на передовые рубежи будущего, увидеть, кто вдохновляет этих людей в их поиске, – задача не сегодняшнего дня, вернее, не столь сегодняшнего дня, сколько далекой перспективы. Поэтому вам придется поработать с арестованным физиком. Я запомнил его имя...

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Москва, 6 мая. Александр Беренштейн по прозвищу Планише.

Журналист, пишущий о науке – журналист особого типа, группа Тревиля как научная лаборатория нового типа. Никто не любит экспериментов – хотя съедают и результат, и участников. Маракин и Трухин в Зоологическом музее много лет назад – это предвозвестник общей судьбы.

²⁴ 50-мм лёгкий миномёт образца 1936 года, производился в 1936–1943 гг.

Случай Арамиса не выходил у меня из головы.

По своим каналам я узнал, что в федеральный, а тем более в международный розыск он не объявлен.

Дело о смерти Портоса как бы зависло и не двигалось с мёртвой точки.

Отчего-то это не было для меня неожиданным – друзей – мушкетёров вечно окружала атмосфера тайны. У них всегда всё было тишком, причём время от времени они выстреливали научными статьями, от которых все доктора стояли на ушах – не то что шшивые кандидаты.

Их подозревали в каких-то заговорах, тайных путешествиях в сибирские научные центры, а потом и в ГДР с Чехословакиями. Причём подозрения сгущались в тот момент, когда они (я знал это наверняка) просто отправлялись по Истре на байдарках. По Истре! На байдарках!

А Маракина я помнил тоже очень хорошо и сразу догадался, где может быть Арамис. Ведь Зона не отпускает, а у Атоса были дела на Зоне.

И у Маракина были дела с мутантами с Зоны, как ни трактуй его деятельность.

Я Маракина любил, но никогда бы не согласился с ним работать. Никогда. Он был сам как упырь, он высасывал соки у своих подчинённых как кровосос. Работать по двенадцать часов – это было нормально. Они все и работали.

Но тут-то его и съели. Однажды писатель Паустовский написал: «При рождении страна рождает творцов и героев, а при упадке – пыль и много начальства». Это наполовину неправда, потому что при рождении страны царит ровно такое же безобразие. И герои часто потом оказываются заурядными бандитами, как нам потом и объяснили.

Но Маракину не повезло дважды – и при распаде СССР, когда его душили пылью и начальством, и при возникновении нового государства, когда его душили деньгами, а вернее, их отсутствием.

Причём некоторые люди были вполне искренними, когда этого Маракина давили, и некоторые из них были его, кстати, сотрудниками. Нет, мушкетёры наши, конечно, держали оборону до последнего, но они-то были мальчики и девочки без семьи и без детей.

Им нужна была слава, а не презренный металл. Если кто из них и задумывался о каких-то благах, так не об окладах и дачах, а о том, как они выйдут на дискотеку с Лауреатской медалью на лацкане модного спортивного пиджака. Сам Маракин стал доктором наук в тридцать четыре года.

А группа нашего Маракина, которая сразу же стала называться группой Тревиля, сразу же стала получать плюхи в виде недостатка фондов, оборудования – и вообще всего. Ну не атомная была это проблема, не было на них Лаврентия Павловича Берии, по одному мановению пальца которого тысячи зеков начинали рыть землю в одном месте, а тысячи рабочих варить сталь в другом.

А тут план, причём на следующий год, да и тот могут не утвердить.

Ну и они начали биться об эту стену – вполне успешно, кстати. Арамис шил пуховки в общежитии, джинсы они варили, помню. Сам у них джинсы покупал.

Ну и поэтому они могли оплачивать услуги наших кулибиных, причём не только в Москве, а в разных других городах. Д'Артаньяна, помнится, я встретил в электричке, едущей в Пушкино, с рюкзаком, набитым дефицитной сырокопчёной колбасой. Он сделал вид, что меня не узнал.

Естественно, по тем временам многое делалось за бутылку. Теперь-то мне кажется, что с этого началась гибель советской техники – с одной стороны. Кулибины за бутылку могли сделать всё, а с другой стороны стремительно спивались.

Сейчас за бутылку тебе и канаву не выкопают.

И вот вся эта группа Тревиля совала взятки кому надо и кому не надо, причём не только кулибиным.

Маракин был всё время в разъездах – у него тогда были «Жигули» и он пару раз

сезжал в кювет из-за того, что засыпал в дороге. Я думаю, что университетская зарплата у него вся ухала в бензобак. Поэтому группа договорилась, что десять процентов от доходов она жертвует на нужды «производства».

Ну, мушкетёрам было не привыкать, а вот лаборанты возроптали. И инженеры возроптали, а потом они договорились, что из всякой выдачи спирта та же десятая идёт «на дело». А тут, на беду, ещё не отзвенел горбачёвский указ, и нашлись обиженные. Обиженные стукнули куда надо, тут ещё была сделана неудачная операция дочери Маракина, и понеслось...

Операцию эту объявили «экспериментом», по углам шептались, что он, дескать, «родную дочь не пожалел», ну и закрыли всё на хрен.

Группу разогнали, заместитель Маракина Трухин попал в больницу, а потом и вовсе уволился – *по собственному желанию*, конечно. Потом он и сгинул где-то в одном из трёх городков на периметре Зоны. А так-то ему насчитали за не-целевое расходование средств тыщ триста ущерб для страны. А это лет пятнадцать отсидки.

Но я помнил их иными – гордыми и сильными. Сейчас отчего-то я вспомнил, как он стоял перед своим огромным письменным столом и разглядывал на мониторе огромные фотографии.

Ему только что прислали эти фотографии с Зоны, где его ученики ковырялись в гнилой плоти, быстро регенерирующей плоти зомби, в плоти животных, превратившихся в уродов.

Но Маракина тогда интересовали только мозги – как и зомби, впрочем.

Там было много всего, и в университетском музее на Моховой, а тогда ещё проспекте Маркса было несколько экспонатов с пояснительными табличками: «Кровосос... Добыт экспедицией М. И. Трухина, препарирован доктором А. В. Маракиным». Были там и препарированные бюеры и контролёры (контролёром Маракин очень гордился, потому что мозг контролёра подтвердил самые смелые его предположения).

Однако на части табличек студенты-остроумцы то и дело приписывали к названиям прилагательное «sapiens». Служители музея не дремали, и на табличках быстро исчезали такие острые надписи, современная бытовая химия – и не останется ни одного штриха...

Я видел, как приезжал Трухин из первых экспедиций – как герой, на монстров его дивились, в перестроечном журнале «Огонёк» его печатали на фоне чучела кровососа.

Очень красивые, помню, были фотографии.

Тогда ещё у него была кличка Бэкингом, потому что он говорил со странным акцентом, будто набрал в рот камешков, как недоучившийся Демосфен. Он говорил точь-в-точь как Бэкингом из фильма про трёх мушкетёров, картавя и не произнося половину букв.

Он был друг Маракина, только чуть моложе – но Маракин пережил его на несколько лет.

А тогда я запомнил необычный разговор.

Бэкингом привёз очередную партию уродцев – тогда это было ещё возможно, только потом, по Второму межгосударственному соглашению биоматериал исследовался только на месте, так вот тогда он привёз партию уродов и их спешно изучали.

Но Бэкингом выглядел недовольным.

И вот я застал их в кабинете Маракина за бутылкой. Они хорошо тогда нагрузились, и, кажется, Маракин принимал меня за аспиранта Трухина, а Трухин – за аспиранта Маракина. Так я и просидел за шкафом, подслушивая их разговор.

Трухин горячился.

– Они живые, живые, – кричал он. Имелись в виду, как я сразу понял, существа Зоны.

Маракину было наплевать, живые или мёртвые. Он бы и родную мать препарировал, если бы это продвинуло вперёд работы по их нейронному ускорителю.

А Трухин орал и орал. Из-за дефекта дикции, из-за этого его «английского» произношения слушать его было смешно, но потом мне стало не до смеха. Выходило, что один кровосос вместе с более молодой особью, то есть детёнышем, встретился ему у самого

Саркофага. Однако кровосос не напал на Трухина, а спас ему жизнь, вернее, не стал бросаться на него. Кровосос вытолкнул Бэкингема в последний момент с гравиконцентра, над краем которого Трухин занёс было ногу.

Можно было предположить, что кровосос хотел его оставить на ужин, а после гравитационного центра, то есть после «комариной плешки», от него мало что бы осталось.

Но Бэкингом утверждал, что кровосос отпустил его и уже удалялся, но тут нервы у Бэкингема не выдержали, и он засадил в своего спасителя очень много разрывных пуль – прямо в спину. Он, как хороший анатом, знал, куда стрелять, и оттого завалил монстра сразу. Такое вообще-то невозможно, но Бэкингема я верил.

Что, собственно, не верить, когда голову этого кровососа с расправленными щупальцами вместо рта сейчас, уже выпотрошив, заливали в прозрачный пластик? Я-то верил.

Бэкингом, кажется, тронулся в этот момент.

– Ты понимаешь, мы не знаем, что они хотят. Мы о них вообще ничего не знаем. Они часть Зоны. Её организм, неотъемлемый орган, они живут в симбиозе с Зоной, и если бы мы туда не лезли со своим оружием, может быть, никакого ужаса бы не было. А вдруг я послужил спусковым крючком – вот маленький-то убежал, и в его мозгу начался виток импринтинга,²⁵ и этот образ будет повторяться раз за разом в следующих поколениях, а? Как знать, а?

Но вдруг они успокоились, и Маракин деловито спросил:

– Чем порадуешь на этот раз? Ведь с Яйлы?..

– Прямо с болота, что на юге, – прокартавил Бэкингом и окутался трубочным дымом как дымовой завесой. – Но ничего интересного.

Я, слушая их, понимал, что да – «ничего интересного», это по сравнению с тем самым трупом кровососа, что прославил Трухина-Бэкингема.

– Нет, Андрюш. Одни пустяки. Чернобыльский волк, ещё один. Тушканчики. Несколько крыс, они разные там все. Зайца какого-то встретил чудного, но не поймал. Ещё десяток двухордовых змей, несколько новых видов многостворчатых моллюсков...

Они вышли из кабинета и пошли по музею – два старика, как мне тогда казалось. Сейчас-то понятно, что тогда они были немногим старше меня нынешнего.

Залы были пусты, и они быстро прошли мимо чернобыльского стенда, под стеклом которого были и волки, и пауки, и тушканчики, и крысы... Зайцев там, правда, не было, но было много разного другого.

Например, там было чучело бегемотожабы, ментального контролёра из тех самых южных болот, откуда только что вернулся Бэкингом (углеродный цикл, тип «полихордовые», класс «кожедышашие», отряд, род, вид «Гипножаба»).

Это чучело было одним из первых экспонатов нашего музея. Все любили с ним фотографироваться – это сейчас был день, свободный от посещений, а так-то школьники и иностранцы фотографировались так, что от вспышек их техники рядом с гипножабой стоял мерцающий белый свет.

«Да, были у стариков дела... – подумал я. – Такое, поди, не забудешь».

Тогда на жаб охотились все – спецбатальоны ООН, охранявшие Периметр, войска Украины и России, вольные сталкеры и просто загадочные бандиты, которым гипножабы мешали рекетировать вольных сталкеров.

²⁵ Импринтинг (imprinting), или «запечатление», термин, который применяется в этологии (наука о поведении животных) как особая форма обучения животных. В памяти происходит фиксация некоторых объектов и поведения. Животные запоминают родителей (как носителей типичных признаков вида), братьев и сестёр (как одновременно рождённых), распознают самцов и самок, пищу, в том числе будущих жертв, а также врагов. Это происходит во время ограниченного по времени так называемого «сенсильного» срока, и результат импринтинга необратим.

Эти чудовища, почти полностью истребленные, неожиданно размножились вновь – причём в каждом болоте. Поговаривали, что это последствия каких-то экспериментов, но так всегда говорят. Началась знаменитая глобальная облава. Скептики замечали, что нужно подождать, но ждать, разумеется, никто не хотел.

Я видел документальные фильмы о той облаве, когда в Зону по разведанным тропам двинулись джипы и бронетранспортёры с солдатами и грузовики со сталкерами. Под это дело объединились даже заклятые враги.

Вот они подъезжали к границе болот, в своих касках, облепленных отражающей фольгой, и все начинали стрелять. А на переднем плане хроники какой-то молоденький солдатик всё возился со своим небольшим миномётом и никак не мог привести его в действие. Командир его беззвучно открывал рот, но хроника не доносила до меня его слов. Да что там, понятно было, что он говорит, ужас сплошной, матерился командир, но всё равно все стреляли. И вот полетели мины, и край болота заволокло густым белым дымом – это загорелся торф. Кажется, торф там до сих пор горит.

Бронетранспортёры останавливались, из них лезли люди – одни в голубых касках, другие в зелёных, а третьи в касках, обмотанных серебристой фольгой. Они тоже беззвучно орали и размахивали автоматами. Они беззвучно орали, и я понимал, что они кричат всё те же матерные слова, но только теперь радостно и победно.

Никакой победы не было, хотя фильмов было снято много, и даже два художественных – в Америке. Один – полная дрянь категории «С», а другой очень известный, «Периметр». У нас его крутили в видеосалонах.

Но жабы никуда не делись и нападали на зазевавшихся ещё целый месяц. А потом резко похолодало (в тот год вообще была ранняя, очень холодная осень), и жабы пропали. Часть из них замёрзла, и их чёрные трупы, покрытые утренним инеем, казались трупами убитых немецких солдат.

Другая часть вернулась в болота, по-прежнему вонявшие горелым торфом. Тут-то скептики и сказали ещё раз, что нужно было подождать, и просто на время свернуть активность в Зоне.

Но кто же слушает скептиков? Скептиков никто не слушает, тем более что в ходе большой зачистки было много потерь, а признать, что жертвы были напрасны, никто никогда не хочет. Никто и никогда.

А вот Маракину было всё на пользу. Я смотрел на них – вернее, на их спины. Прямую спину Маракина и сгорбленную – Бэкингема.

Бэкингом несколько протрезвел и притворился, что все отлично, как сегодняшний отличный солнечный день. Солнце и вправду било через высокие окна и стёкла витрин рассыпали блики по залам.

Маракин хлопнул Бэкингема ладонью по спине и нарочито бодрым голосом воскликнул:

– Ну всё! Я зверски хочу есть, Ваня, и мы пойдем сейчас ко мне и славно пообедаем. Сегодня дочка приготовила в твою честь настоящий борщ. Пойдем, герцог, зуппе ждет нас.

– Пойдем, – тихо ответил Бэкингом.

Я запомнил эту историю так хорошо оттого, что именно в этот день понял, что больше не хочу заниматься наукой. Не хочу и не буду, как ни уговаривала меня моя бедная идише мама, мечтавшая, чтобы я тут же после поучения диплома свалил в Америку, был там, в этой Америке, прикрыт и обеспечен, а потом перетащил туда и всю семью.

Хрен! Не вышло, извините.

Глава пятнадцатая

– Привет, Зигги, – сказал он, усмехнувшись, – хорошенькое место для встреч, а?

Юлиан Семёнов
«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 16 мая. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Что убивает в Зоне – страх, конечно. История про несчастного Очкастого, который на себе познал, что такое игры с Зоной.

Мы сидели с Атосом в лаборатории и занимались неторопливым пьянством.

Пьянством это было, впрочем, по нашим нынешним меркам. В молодости мы бы называли это «высоконравственным поведением», а скорее всего даже не заметили бы.

Мы обсуждали нашего Мушкетончика, который снова отправился в маршрут один.

– А он бесстрашный.

– Знаешь, что в Зоне по-настоящему убивает страх? Вся статистика об этом говорит – из-за безумия, вызванного страхом, люди перестают контролировать ситуацию, стреляют друг в друга, теряют ориентацию, наступают в «жарку», лезут в «ржавые волосы» и вообще делают глупости. Что нам по этому поводу говорит знаменитый путешественник Аллен Бомбар? А говорит он нам вот что: «Убивает человека не океан, не холод, не голод, не жажда. Убивает страх».

– Где он, где?

– Он разлит в воздухе.

– Да, это тяжелый случай – не убережешься.

– Ну, можно, конечно, не дышать. Говорят, что это решит и прочие проблемы.

Я вспомнил, что говорил мне о страхе сталкер-проводник по кличке Палач. И он, и Атос будто выучили одну и ту же речь, только расписав её на два голоса. Атос, между тем, продолжал.

– Зона куёт сверхчеловека, но не раздолбая-сталкера, а учёного.

Возьми, к примеру, Олега. Был способный студент, подавал надежды, так сказать, звёзд бы с неба не хватал, но нормальный был бы экспериментатор, говорю тебе, нормальный. А теперь он – дрянь, он бомж, и только случайность его удерживает от гибели. Думаешь, я не знаю, что ему нужно? Ему нужно на все свои премиальные купить мотоцикл, поставить его у дома (потому что ездить ему тут некуда) и драть на этот мотоцикл. Максимум, что он будет делать, так это садится на него, взрывать движком, а потом, удовлетворённым, идти в «Пилов» и пить своё пиво. Вот уж кого мне не жаль! Если бы наш милый Мушкетина тонул в болоте с пузырями, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони...

– Врёшь ты всё. Да и говоришь ты сейчас как в прошлом веке, вернее, в какой-то пьесе. Предназначение человека, теория добрых дел... Тьфу, кажется – малых дел...

– Почему ты думаешь? – пожал плечами Атос. – Мало ты меня знаешь. Я также способен на доброе эволюционное дело, как и ты. А половина сталкеров заслуживает премии Дарвина просто по определению. Просто потому, что они однажды открыли рот и сказали: «Я – сталкер».

– Ну и глупости ты говоришь. Когда мы с тобой спорили о науке на втором курсе, там я понимаю, ты мог так говорить. Тогда все мы были глупые и верили в то, что мир счислен, но вот на третьем курсе нам начали читать квантовую механику... Вот если бы...

И тут я вовремя осёкся. Я осёкся потому что хотел сказать: «Если бы он у тебя бабу увёл, то я понимаю, что это было бы хорошим мотивом». Но эта фраза вызывала таких призраков прошлого, что по сравнению с ними бедный Мушкет был просто песчинкой. Это я увёл у Атоса бабу, вернее, что там – бабу. У меня был роман с Кристиной, дочерью нашего учителя, и, наверное, не будь меня, она не легла бы тогда под нож. Теперь-то я понимаю, что Атос тоже был к ней неравнодушен. Миледи меня успокаивала и говорила, что это мелочь, следствие прагматизма Атоса. При всём внешнем благородстве он хочет породниться с нашим учителем, чтобы рядом пойти в его глазах и глазах сторонних наблюдателей. Тогда я ничего не замечал, но все наши знакомые говорили, что это было очевидно.

Как-то я допустил бестактность и в компании намекнул, что дочь Маракина пришла ко мне с подругой, склонной к экспериментам. Признаться, и она сама была склонна экспериментировать – кажется, она только что узнала, что больна, и хотела взять от жизни всё. Мы тогда были молоды и прожорливы – все без исключения, и желание взять у жизни всё не вызывало в нас удивления. Так вот, я намекнул на эту историю, и Атос вышел из комнаты. Я принял это как естественный жест – он и правда, избегал всякой пошлятины, но Миледи потом мне рассказала, что он вышел вон с перекошенным лицом. Она сидела под правильным углом, в хорошей для наблюдения точке – не то что я, самовлюблённый болван.

И вот если бы я произнёс эти слова об отбитой добыче... Но я их не произнёс, и Атос продолжил:

– Не говори, Серёжа, пустяков. Ненавидеть и презирать вирус – глупо, а значит, любить всякого встречного и поперечного без различия – это, выходит, не глупо.

Я ведь считаю нашего Мушкетона не подонком, а просто человеческим материалом, да. Но я не использую его в качестве отмычки, я плачу ему неплохую зарплату, вытаскиваю его из неприятностей, но зачем мне его уважать-то?

Ну, а ты за что-то его любишь, рефлексируешь. Это тебя в Америке научили? Ну и женись на нём!

– Ты сердишься... – лениво сказал я. – Ты сердишься – значит, не прав.

Но Атос горячился так, что я даже удивился.

– О людях судят по их поступкам, – продолжал он. – Теперь судим-обсудим нашего Олежку: деятельность господина Мушкетина нам известна, как хромограмма после серии экспериментов.

Что он сделал за те годы, которые ты его не видел? Будем считать по пальцам. Во-первых, он проел свою квартиру. Это я с битвами, потом и кровью заработал на своё жильё, а он просрал свою профессорскую квартиру на Ломоносовском проспекте, а ведь все мы туда ходили и представляли, какова эта родовая ценность. Во-вторых, он научил местных сталкеров ловить ртом чипсы, а этот спорт был тут доселе неизвестен. Они теперь устраивают тут какие-то чемпионаты по этому умению, не поверишь. Я специально узнавал – сталкеры набрались этого от него, а не из иностранных фильмов.

В-третьих, он привёз откуда-то или скачал программу «Милашка» и сталкеры теперь дробчат не просто на порнофильмы, а специальным интерактивным способом, при помощи искусственной вагины. Это, конечно, достижение – я помню ещё, как они ездили за шлюхами и даже возили их сюда. В этом смысле можно назвать его поборником гигиены.

В-четвертых...

Тут он замялся, и я понял, что четвёртое он ещё не придумал.

– Я понял его давно, в первый же месяц нашего знакомства, – продолжал Атос. – Мы в одно время поступили. КСП, романтика, туризм-гитары... Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для пения, выпивки в закуски; к тому же они болтливы и им нужны слушатели. Тогда мы подружились, то есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет баб. Мне, конечно, было интересно узнать, как живут профессорские дети, как вообще живёт вся эта среда, пока я не понял, что – никак. Никак она не живёт.

На первых же порах он поразил меня своим необыкновенным враньём, от которого меня просто тошнило. В качестве друга я его ругал, упрекал, зачем он много пьёт, зачем всё норовит растратить и залезает в долги, зачем ничего не делает, не учится дальше, не читает – и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек!», «Базаров-Базаров!», «Мы, противники режима, должны отстоять свободную мысль!» или: «Что вы хотите, батенька, от нас, выросших при Советской власти, мы вырождаемся...» Или начинал нести длинную галиматью с цитатами из Стругацких, какой-то детской фантастики, Окуджавы и этого, чёрт... как его, не помню... Хотя хорошо, что не помню, не нужно мне это помнить. «Барды – это наши отцы по плоти и духу».

То есть я должен думать, что он не тренируется к выходам, не учит матчасть, не

занимается собственной выносливостью, наконец, оттого, что барды и Окуджава с его дурацким Кимом ему велели потихоньку спиваться? Причина крайней распушенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то в Банаховом пространстве, в гитарном перезвоне она лежит. И притом – ловкая штука! – распутен, лжив и гадок не он один, а мы... «мы люди восьмидесятых годов, ветер перемен»... Он бы ещё мне «Скорпионе» тут пропел.

Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Олежек, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освящённое необходимостью, что причины тут мировые, вытекающие из теории суперструн и что перед ним надо возжечь фимиам, поставить памятник, потому что он – роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. И все сталкеры, а также несколько пришлых журналисток, слушая его, охали и ахали, а я никак не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с однокурсником, что спекулирует своим пьянством? Такие ребята, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много и всё о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

– Стой! – серьёзно сказал я. – Мне это уже неприятно. Это на меня похоже...

– Не перебивай, Сергей Иванович, – холодно и жёстко сказал Атос, и я почувствовал себя на производственном совещании. – Я сейчас кончу. Наш Мушкет – довольно несложный организм. Вот его нравственный остов: утром пиво на поправку, болтовня по Интернету, потом до обеда долгий завтрак в «Пилове», курение и прогулка, разговоры, в два часа обед и бухло, в пять часов опять разговоры и бухло, затем опять бухло и просмотр международной сети Интернет в поисках голых баб и разговоров с бабами настоящими, но одетыми. С ними он общается, потому что Интернет для него бесплатен – благодаря мне, а ещё потому, что они не видят его мятой рожи. Ну и потом всякое физиологическое.

Существование его заключено в эту чудесную оболочку, как яйцо в скорлупу. Идёт ли он в маршрут, сидит ли, сердится, пишет, радуется – все сводится к вину, картам, туфлям и электронной женщине. Женщина у него всегда роковая – из-за такой он бросил первую семью, из-за другой такой он продал московскую квартиру, из-за третьей такой он очутился здесь.

У таких людей в мозгу есть особая опухоль вроде саркомы, которая сдавила там что-то и управляет всей психикой. Вот ты посмотри на Олежку, когда он сидит в «Пилове». Как, о чём бы ни заговорили, так он свернёт на баб. Потому что про баб ему понятней и проще.

«Опухоль... Нарост в голове, – подумал я. – Нарост... Знал бы Атос, какой у меня нарост, что там у меня. Ты бы про нашего Олежку забыл бы, как про мелкую деталь.

Ты бы, дорогой друг, вообще про всё забыл».

Я вернулся домой и лёг спать.

– Я так и не смог понять, почему при вычислении дисперсии положено делить на $n-1$, – скорбно сказали за стеной.

Я восхитился.

Нет, всё же мне до конца не понять настоящих учёных – раньше их заботила выборная система страны, а теперь вот – вычисление дисперсии посреди всех их неприятностей.

От нечего делать я пошёл в «Пилов» и стал слушать, как треплются наши прикормленные сталкеры.

За столом сидела известная мне троица – Мушкет, Селифанов и Петрушин. Причём Петрушина пробило на воспоминания о былом.

А былое у него было известно какое-то время, когда они с Селифановым мыкались бойцами по разным полу-или просто преступным группировкам.

Сейчас они уже пили виски, а не ханку,²⁶ но любили представить «былое» в каком-то

²⁶ Ханка – самодельная водка или самогон, как правило, не слишком хорошего качества.

былинном эпическом свете. Вот и сейчас он снова парил присутствующим – не Мушкету с Селифановым, а ещё двум неизвестным мне слушателям очередную, давно всем известную историю.

– Ей-богу, уже надоело рассказывать! – кривлялся он. – Да что вы думаете? Да уже скучно: рассказывай да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, гадам буду, в последний раз. Да, вот вы говорили, что человек может выйти из поединка с монстром победителем. Так-то оно так – может, с кем раз и произошло, но, по сути, из поединка с Зоной никто победителем выйти не может.

Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Захочет обморочить Зона, то обморочит; обморочит – туши свет, сливай воду!

Неча жрать, лучше налей мне живительной амброзии за пошлые евро, которых у меня нету, а у тебя есть. Что жмотишься, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать, так слушать!

Так вот я тогда был у Исаея Митрича в бригаде. Время было лихое, ёрш твою двадцать – по-моему, я да Петрушин с тех пор и остались, да и то потому, что обоих из нас ранили лихие конкуренты Исаея Митрича, а мы и лечились, пока все деньги не кончились.

Тем и спаслись.

Исай Митрич еще в начале весны повез в Крым на продажу пустышки. Но это только так называлось – контейнеры с пустышками клались в чьи-то яхты, что приходили с туристическими визитами. Потом ветер наполнял белые паруса и яхты исчезали, а нули на счетах Исаея Митрича прибавлялись. И если бы не был Исай Митрич таким дураковатым бандюганом, то жив был бы и поныне, и мы бы под его крылом жили не в пример лучше.

Не помню только, два или три грузовика отправил он в южные края, но пустышки точно были тогда в цене.

На хозяйстве у него был тогда такой очкастый дылда со шрамом.

Его, кстати, все боялись больше самого Исаея Митрича – тот проспится и всё забудет, а вот очкастый не пил и всё всегда помнил.

Нас, пока Исай Митрич в «Ореанде» не прокутит деньги за пустышки, взяли охранять артефакты, уже доставленные с Зоны. Бывало, что и к рукам прилипнет: столько «колобков», «пуха», «японских свечей», «говорящего чеснока», «умножителей теней» было не просто неучтённым свалено в задних комнатах офиса Исаея Митрича, а даже не пересчитано.

Ну и грех было не воспользоваться. С волками жить, по-волчьи выть, как сказала одна овца. Ну, оно притом же и прибыльно. Перекупщики толкуются по дороге, всякому хочется подешевле что-то получить.

Очкастый это всё видел, как ему не видеть. Это мы думали, что на него помрачение нашло, глаза ему отвели. Ведь он, поди, и сам торговал, только по-крупному. А нас, значит, держал на всякий случай, чтобы если что – на таких лохов, как мы, всё и свалить.

Ну а народ разный: серьезные люди больше молчуны, а вот мелкий перекупщик всегда строит из себя бывалого: пойдет рассказывать – только уши развешивай!

Я-то что, а Очкастому, что заместил Исаея Митрича, это все равно что голодному украинскому солдату – галушки. Это всё от гордости – когда шестёрка заместо хозяйина встала. Иной раз, бывало, случится у Петруши встреча со старыми знакомыми, так его из бара не вытащишь. (При Исае Митриче никто бы с разговорами не лез, долго б никто не рассиживался. Он пострелять очень любил, Исай Митрич.)

Ну а тут – дым коромыслом, радость алкоголическая, враньё космическое, а потом стрельбы по пивным банкам с хвастовством своим боевым железом.

Ведь чем отличаются мальчишки от мужчин? Правильно – ценами на игрушки.

Однажды солнце стало уже садиться, время запирается да глазеть на мир через оптику охранных видеокамер. Очкастый тогда ходил по складу и снимал с контейнеров крышки, проверяя содержимое.

– Гляди, Петруша, – говорю я братку, – вон гости едут!

– Где гости? – услышал меня Очкастый и стал пялиться в монитор слежения.

И точно: по дороге тянулся левый «КАМАЗ». За рулём сидел вислоусый самостийник, издалека было видно – в авторитете.

Он грамотно встал, грамотно вышел – показав в камеру пустые руки и собственное лицо:

– Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться!

Очкастый прищурил глаза:

– А! Здорово, здорово! Ну шо? И Болячка здесь? Здорово, здорово, братан! Да тут все наши: и Сява! И Яицкий! И Орехов! И Стецько! Здорово! – И они стали обниматься.

Я-то знаю, откуда они подсмотрели эту манеру – хлопали сначала ладонь в ладонь, потом по локтю, и так добирались до плеча, а потом наконец обнимались. Это наши родные украинские гопники подсмотрели в фильмах про рэперов.

Но на Большой земле, где-нибудь во Львове, а то и в Киеве, эта мода давно прекратилась. А у нас задержалась на много лет – ведь у нас тут заповедник всего – не только мир уродов, да и людей у нас много таких, которые на Большой земле давно передохли.

Я вот знал сталкера Малину, что ходил в Зону, надевая золотую цепь и малиновый пиджак. А малиновые пиджаки к тому году даже официанты в стрип-клубах на Большой земле не носили.

Правда, потом Малину кто-то грохнул. Не до конца грохнул и во время прорыва на Киев мне рассказывали, что поймали зомби с цепурой на шее, голдой во рту, гайками на пальцах и в обрывках малинового пиджака. В пиджак я не верю, потому как опознать малиновый цвет после стольких лет невозможно, а цепура... Да где она? Покажите мне цепуру, так и базарить за Малину будем. А так – нету цепуры, да и Малина сгинул.

Так вот, «КАМАЗ» загнали во двор, а сами принялись пить, потом оказалось, что братаны привезли девок – страсть каких некрасивых, но жуть каких дорогих.

Начали плясать – девки на столах, а братки под столами ногами сучили.

Мы Очкастого не узнавали – видать, было у него такое бандитское прошлое, что никакими очками не прикроешь.

– Ламбада, ламбада! – орали братки.

Петруша тут и говорит: «Кот из дома, мыши – в пляс». Потому как при Исае Митриче Очкастый не только не плясал, но и вовсе не улыбался. А мы были простые бойцы, но вполне прекрасно понимали эту забаву начальников. А начнут паны веселиться – так берегись. Сиди лучше в уголку, забейся в какую-нибудь щель да и гляди. За просмотр денег не берут, но поймавши – тыздят.

Очкастый стал двигать локтями, будто не танец перестройки «Ламбада» плясал, а шваркнуло его электрическим током из известной аномалии. Девки в высоких сапогах о ноги его тёрлись срамными местами, как вдруг он упал. Затем опять упал.

При этом Очкастый стал орать, что тут под полом аномалия, что всё это наваждение, и Зона неспокойна.

Ну, плавали – знаем, плохому танцору известно, что мешает: аномалия. А под полом у нас не сортирная труба в биологический отстойник, а старое индейское кладбище, каким нас пугает американский писатель Кинг.

Но поскольку все напились, а некоторые даже перестали в туалет бегать, чтобы свои линии занюхать, так Очкастого пару раз уронили на пол, и уж точно один раз – нарочно.

Тогда мы ничего не могли понять, вернее – тогда мы ничему не удивились.

Это уж когда Очкастый нас собрал после всего, так и рассказал:

– Дело табак, у меня глюки или что. Потому что, когда я «Ламбаду» плясал, то провалился в пространственный пузырь и оказался безо всякой защиты и оружия на Зоне, причём километрах в десяти, у заброшенных совхозных теплиц.

Я Очкастого слушал из вежливости, но тут наострил уши. Потому что он совхоз

имени Двадцатого партсъезда так художественно описывал, что я сразу узнал место. Я мимо теплиц как раз накануне ходил – там дыни тогда росли метра два в длину. Есть их, конечно, нельзя, но сила какая эпическая! Они ведь и зимой росли – мороз, снег, а дыни эти снег вокруг себя растопят, пар от них идёт, чисто гигантские яйца. В них ради интереса пуляли – так зимой ничего, а летом из них целый рой насекомых вылетал. В общем, есть нельзя – одно понятно.

Ну и Очкастый очень точно это место описывал, а я ведь знаю, что он на Зону не ходит, что он чистый барыга. А по рассказу выходит, что он моментом перенёсся к теплицам, и с ним эти дыни разговаривают.

Ржут дыни над очкастым, прямо как в иностранный праздник Хеллоуин. Эээ... Нет, в этом празднике были тыквы, а тут мы все знали, что именно всепогодные дыни растут.

Ну, стоит Очкастый, бздит. Тыквы ржут – нам-то понятно, что он перед «Ламбадой» две дороги затынул.

А Очкастый продолжает рассказывать, что, дескать, он ждал-ждал и понял, что надо выбираться самому. Оглянулся, а вокруг уже ни теплиц, ни тыкв, ни городских девок, которых как картошку на грузовике привезли, а гладкое поле.

– Э! Йопта... Вот тебе на! – так это нам Очкастый рассказывает. Тогда начал он прищуривать глаза – место, говорит, не совсем знакомое: сбоку лес, из-за леса торчал шест ретранслятора с лампочкой, который виднеется далеко в небе, но находится он по ту сторону Периметра, около расположения спецбатальона ООН. Что за хрень! Да это точно ООНовский батальон! А с другой стороны тоже что-то сереет; взгляделся: это наш бар – где девки ещё пляшут, братва гуляет и всё такое. Вот куда затащила Зона! Потоптавшись, наткнулся он на тропинку. Луны не было; белое пятно виднелось вместо неё сквозь тучу. «...! И ствола-то у меня нет!» – подумал Очкастый.

Тут ещё в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. Я эту могилку знал давно, все её знали – никакая это была не могилка. Это была пирамидка Неизвестному Сталкеру, которую ещё при Советской власти поставили.

Нормальная такая пирамидка, как на кладбищах солдатам ставили – высотой метра два, а на макушке красная звезда, которую сварным аппаратом вырезали из стального листа.

Говорят, что сталкер был вполне известный, именно поэтому его безутешные родители подвалили сюда и за бешеные деньги поставили памятник. Фокус был в том, что могилы под ним не было, памятник поставили там, куда дотянулись. Старики завещали пирамидку холить и лелеять, да только больше не появились, видно, померли.

Сталкер Чекист, в миру Дима Силантьев, которому старики выдали денег впрок сначала честно исполнил обещание – на следующее лето покрасил пирамидку белым цветом, да вот беда – Дима покрасил имя, фамилию и отчество безвестного страдальца. Ну дальше и пошло: некоторые вовсе считали, что это могила Неизвестного солдата, убитого немцами ещё в 1943 году.

Суеверные сталкеры приносили ему ханку, а на Пасху – незалупленное яичко.

И вот тут Очкастый видит не яйцо, а зажжённую свечку, не светодиод какой, а нормальную свечку на могиле, что пламя то и дело набок кладёт, а оно всё же не гаснет.

Он с пьяных-то глаз подождал, огонёк пропал, но загорелся вдали другой.

– Схрон! – закричал Очкастый. – Япона мама, схрон! Сталкеры маячок на схроне с хабаром поставили! – Он решил обвеховать место, воткнул какую-то ветку и пошёл на огни нашего бара.

Вот чудной человек! Столько нас обирал, столько на нас наживался, столько наших историй и объяснений слушал, а не понял, как Зона крутит человеком, и не почувал, как начала она играть с ним в свои недетские игры.

Пошёл он обратно. Молодой дубовый лес, что подрос тут уже после аварии, стал редеть, показалась сетка-рабица вокруг бара, на которую от непрошеной мелкой нечисти подавали ток, вот и дверь.

Как он открыл дверь, Очкастый не помнил. Но ощутил себя уже посредине бара, девки

куда-то подевались, а он сидит, привалившись к барной стойке с внешней стороны, и кажется, только что блевал.

Причём поредевшая братва и говорит:

– А чё ты, Очкастый, учудил? Отчего без сознания тут валялся?

– Не спрашивай, – ответил он браткам, а нам всё случившееся сперва не стал рассказывать.

Выпросил снарягу и всё такое, вооружился и пошёл к могиле Неизвестного Сталкера.

Миновал и ограду, пролез и через дырки в минных полях, через них разве глупый кабан не пролезет, и вот вошёл в низенький дубовый лес. Там между деревьев вьется дорожка и выходит в поле – кажись, та самая. Вышел на опушку – место точь-в-точь вчерашнее: вон и ретранслятор торчит, но бара нашего не видно. Дошёл до поворота, откуда наш бар видать, так ретранслятор пропал. Не видно ретранслятора, так он двинул к ретранслятору, бар скрылся.

Он плюнул и стал по ПДА вычислять могилу Неизвестного Сталкера. Мы бы его провели, но так ведь Зона его жадностью крутила.

Тут и дождь пошёл, как будто из ведра.

Так он и вернулся, переоделся и забился к себе на склад, в свою комнатку-нору.

Причём матерился он такими словами, что некоторые из братков, имевшие по три ходки и все туловища в эпических наколках, повествующих о срамной и горькой их жизни, краснели. Мы сразу поняли, что у него там не заладилось.

На другой день я проснулся и смотрю: Очкастый снова на Зону собирается. Космоснимки себе распечатал, опять вооружился до зубов да и слинял.

Вернулся он только вечером. Оказалось, что Очкастый всё же дошёл до странного места, достал сапёрную лопатку да и начал копать наугад.

Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит ретранслятор, и опять, сука, красной лампочкой мигает. Да и бар видать!

Да и, ёрш твою двадцать, ветка, что он тогда воткнул! Вон и дорожка! Вон и могилка! Вон, вон горит и свечка!

Очкастый суетливо побежал туда, махаясь сапёрной лопаткой, как солдат, у которого кончились патроны. Прибежал и остановился перед могилой Неизвестного Сталкера.

Её, конечно, больше никто не красил, пирамидка из сварного железа проржавела и вылезла из земли. Теперь она стояла на тонких паучьих ножках из арматуры.

Свечка на ней была, впрочем, только что погасшая. «Тут мне форта идёт!» – решил Очкастый и начал обкапывать могилку всех сторон. Наконец пихнул он пирамидку в сторону, упёршись крепко ногами.

Тут по окрестностям прошелестел ветер – ясно, был бы кто из нас, сталкеров, что через день на Зону ходят, то уж давно бы обгадились. Но Очкастый был барыгой. Ему хабар глаза застил, он, видать, сказал что-то вроде: «А, с-с-сука, туда тебе и дорога! Теперь легче будет».

Но Очкастый в этот момент и сам подплывать начал, потому что стал слышать голоса, как он рассказывал. Будто кто-то дышит в спину, девки какие-то лапачь начинают, в одно ухо хабар обещают, в другое – неземных эротических ласк со скидкой и по телефону. При этом не поймёшь, кто тебе этих ласк обещает – а то Очкастому в своё время была неприятность. Он в Таиланд полетел и так с ласками промахнулся, что его одно время считали зашваренным.

Начал он копать дальше – земля мягкая, сапёрная лопатка так и уходит. Вот что-то ухнуло. Выкидавши землю, увидел он стальной ящик-котейнер.

– А, голубчик, вот где ты! – вскрикнул Очкастый, подсовывая под него лопатку.

И опять голоса ему в ухо, будто с Зоны к нему идут кабаны и говорят ему что-то. И snork бежит и здоровается. И кровосос ему говорит: «Вот где ты!» – а уж с кровососом ему встречаться совсем не с руки.

– А-ааа... Гады! – заорал Очкастый, бросив лопатку. И уже хотел бежать, как всё стихло.

Он успокоился и решил:

– Это только пугает Зона!

И Очкастый принялся ворочать контейнер. Хоть это явно был не гроб, но был контейнер ужасно тяжел! Что делать? Тут же не оставить! И собравши все силы, ухватился он за него руками.

– Ну! Ещё, ещё! – И выташил! Взвалил на спину контейнер и давай бежать, потому что опять появились у него голоса, задышала Зона в спину, и будто прутом стали стегать ему по ногам кусты.

«Куда это зашел Очкастый?» – думали мы, обнаружив, что его нет уже три часа, а время совсем не утреннее.

Нет его, да и нет.

Глядь – Очкастый.

В него чуть не пальнули, так он был на зомби похож – грязный, в земле, оружие потерял, какая-то хрень за спиной. Чистый зомби, я говорю. Вернее, очень грязный.

– Ну, чё, лохи! Я вас всех убрал, – заорал Очкастый. – Ну, хлопцы, будет мне теперь на бублики! Буду, сукины дети, в Крым ездить, на лимузине кататься! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что принес! – заорал Очкастый и открыл контейнер.

Это было не по правилам, потому что сталкер о хабаре не орёт, не хвастается, но Очкастым, как я говорил, Зона водила. Последние мозги как зомби выела.

Так что ж в контейнере было? А? Что, невиданный рай, артефакты ценой в мильон? Вот то-то, что и не в мильон. А был там какой-то сор, гниль, пакость, да ещё с диким радиационным фоном. Мы радиофагом облопались, а потом ещё дезактивацию помещения пришлось проводить.

Через два дня приехал Исай Митрич и схватился за голову: хозяйство в упадке, доходу нет, клиенты разбежались, а Очкастый облысел от схваченной дозы.

Но застрелил он Очкастого не тогда, а месяц спустя.

Из жалости, кажется.

* * *

Слушатели помолчали, но потом Селифанов сказал мрачно:

– Всё это хорошо, но только ведь пирамидка над могилой стоит себе и стоит...

Петрушин вскинулся:

– Так и поставили! Поставили! Как же терпеть это разорение! И поставили!

– Да кто поставил?! Вояки, что ль? Тимуровцы!?

– Тьфу на тебя! Причём тут тимуровцы?

Зрители и слушатели начали уже откровенно ржать.

Среди них было много подошедших после, а оттого не сидевших, а стоявших рядом со столом – и это придавало сцене некоторое сходство с картиной художника Репина «Запорожцы пишат письмо турецкому султану».

Наконец все устали, Мушкет вышел на улицу, а я с ним.

Он зашёл за угол, и я тут же услышал звук струи, бьющей в стену. Он запел:

Зачем же нам девчонки, девчонки, девчонки,
Коль есть у нас ручонки, ручонки, ручонки?!

Глава шестнадцатая

Он не видел в темноте озера, но знал, что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и

белыми солнечными лучами, пробившимися сквозь игольчатые могучие кроны. Он тогда уходил в чащу, ложился в высокую траву и лежал недвижно – часами.

Это желание приехать к озерцу было в нем каким-то автоматическим, и порой Штирлиц боялся своего постоянного желания, ибо – чем дальше, тем больше – он уезжал отсюда расслабленным, размягченным, и его тянуло выпить...

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 15 мая. Олег Мушкетин по прозвищу Мушкет. В поисках «аксельбанта». Маленькая псека. Пух летит, а пули – пока нет. Гравитация и ветер. Наука и гранты. Не думай, что тебе удастся убить Семяцкого – не таков нынче мир.

С утра у меня было отвратительное настроение – во-первых, Атос погнал меня в Зону за этим чёртовым «аксельбантом». Нет, он, конечно, как всегда расписал мой маршрут, минимизировал опасности, и всё такое.

Получать задания от Атоса всегда было приятно – потому что было видно, что Атос всегда беспокоится о тебе, пускай это даже производственная забота. Я не строил иллюзий – Атос меня не любил и считал раздолбаем.

Но это-то мне не мешало любить Атоса, вот как!

Но было ещё во-вторых. А во-вторых, на нас была объявлена охота. Я не очень доверял словам Арамиса, потому что он в Зоне был новичок, но подход у него был трезвый к любому делу.

Вряд ли он стал бы врать, то есть не вряд ли – никогда. Никогда он не стал бы врать, и особенно по такому поводу.

А тут как-то всё сходилось – я и сам чувствовал, как над нами сгущается какое-то облако. Нечто похожее я чувствовал перед выбросами.

И так же хреново мне было много лет назад, когда разогнали всю группу Тревиля – тогда я, конечно, был на подхвате, и мой номер в этой очереди был сороковой, как пелось в известной песне, нечего мне было переживать. Но я помнил то свинцовое ощущение надвигающейся беды, как будто воздух стал на тебя сильнее давить. Но в Зоне предчувствие беды было почти нормальным, это была естественная составляющая агрессивной среды. Такое же чувство в научном городке было, наоборот, угнетающим. Я хорошо понимал воевавших, особенно много и долго воевавших людей, которым было невмозможу на гражданке. Они пасовали перед незначительными трудностями и кондуктор с оправдом плевали им в лицо.

В Зоне всё было куда опаснее... и, одновременно, проще.

Я вышел длинным маршрутом-петлёй, который вёл меня почти до самых границ Припяи. Я шёл через лес, но особой тропинкой, которая позволяла контролировать лесную дорогу – две колеи со следами недавно проехавшего грузовика... даже двух грузовиков.

В этом лесу у меня убили двух друзей – не просто убили, а мучили, причём довольно бессмысленно. Они только вышли на маршрут, ничего ценного при них не было. Еда и фляжки с водой были просто разбросаны вокруг.

Была ли это засада на них, или они просто нарвались на одичавших бандитов – непонятно.

У нас была мысль, что это дело рук каких-то маньяков. Но откуда маньяк в Зоне? В Зоне, конечно, все маньяки, но одновременно и никто. Даже последний бюрер – и тот вполне логичен.

Логика повсюду – и это логика пищевых цепочек.

А началась моя тревога с того, как умер старик Бэкингом.

То есть наш знаменитый Михаил Иванович Трухин. Он несколько лет сидел тут безвылазно, окопавшись, как забытый японский солдат на затерянном острове в центре

Тихого океана. Он продержался в осаде среди холмов и лесов Зоны, пересидев кризисы, разруху, распад СССР, падение режимов, внезапные обогащения и все катаклизмы, вместе взятые.

И тут, отправившись в отпуск, он скоропостижно скончался.

Вроде бы ничего странного, лет-то ему было немало. Но как-то всё это случилось нервно, быстро – хроника объявленной смерти на пожаре. Бэкингом как-то затосковал перед отпуском, забеспокоился, будто на войну собирался.

А потом и началось – в армии это называется «тревожащий огонь».

Но когда одни бандиты жгут ларьки других – это как бы понятно, это, может, сигнал. Ну, знак там какой – в общем, это действие логичное.

Понятно, когда бандгруппы начинают войну за финансовые потоки и отжимают на сторону конкурентов.

Но у нас-то была легальная жизнь. Артефактами мы не торговали – все на гранты, вплоть до моего нынешнего выхода.

Это было довольно бессмысленно, а значит, чрезвычайно опасно.

Непонятное всегда несёт в себе большую опасность.

Зачем мучили этих двоих, нанятых Атосом для съёмки местности, изучения и картирования аномалий.

Зачем? Это было, как говорит Арамис, «решительно непонятно».

В самом начале, метрах в трёхстах от поворота меня встретила сожжённая БРДМ-2. Эта машина стояла здесь с 1986 года, когда, видимо, у неё полетел двигатель, а лечить его не стали. Даже не сняли ничего, а так и бросили машину в лесу. Тогда она почти не фонила, а сейчас уж точно не фонила, но зачем-то внутрь кто-то кинул гранату, и всё, что могло гореть, там выгорело. Не знаю, может, и был какой-то смысл – если кто-то притаился внутри корпуса.

Но теперь эта машина стояла, залитая какой-то странной слизью по корпусу, с открытыми бронекрышками смотровых люков, будто удивлёнными глазами.

Я её уже видел несколько раз, и всё время мне казалось, что конфигурация пятен слизи на корпусе всё время меняется.

Мусора вокруг было полно – кажется, тут в девяностые стоял лагерь какой-то внутризоновой группировки – были видны квадратные следы канавок и выровненные площадки. Кто-то ставил тут палатки, причём ставил по всем правилам, и не на одну группу. Стояли тут долго и по кустам везде были видны следы от радостного туалетного дела. Везде лежали квадратики белой бумаги – бывшая еда отчего-то исчезает без остатка, возвращаясь в природу. А вот туалетная бумага остаётся навечно – и вечно белеет сквозь кусты белыми обрывками.

Даже если это была газета – через несколько лет дожди и талая вода по весне смывают все буквы, и лист лежит в лесу девственно-белый.

Я давно не гнушался важной науки каловедения – она часто спасет жизнь, если тебе не лень нагнуться и всмотреться в то, что вызывает рвоту у салонных девушек.

Но были тут и брошенные картонные ящики, давно размокшие и потерявшие форму, пустые консервные банки и обрывки бумаг, пластиковые пакеты и бутылки.

Уже после полудня в самой чащобе я обнаружил два могильных холмика, над которыми торчали примерно двух-трёхлетней давности, если судить по бересте, кресты.

Обычные бандиты не хоронят своих убитых. Помер Ефим, да и хрен с ним.

А тут, видимо, группировка была крепка, уважение к товарищам по оружию велико и традиции незыблемы. Я даже начал догадываться, кто это мог бы быть.

Но, тут моё внимание привлекла тонкая проволочка, сверкнувшая на фоне тёмных стволов.

Это меня сразу насторожило – логично, что вокруг лагеря выставили растяжки или даже что покрепче. Где есть одна, там будет и другая – минные поля тут никто не снимает, разве что кроме сталкеров-лопухов или дикого зверья. Пробежит стадо кабанов, развесит

свои кишки на деревьях – так и вот вам проход изрядной ширины.

Но мне это всё было неинтересно. Согласно представлениям Атоса искомый артефакт был близко, за отдельно стоящим леском.

Не знаю, как это ему удавалось, но он почти всегда угадывал расположение искомого. В научную стратегию, во все эти специальные карты я не верил, дело, как мне кажется, за интуицией. За ней всегда последнее слово – но учёному всегда неловко признаваться в том, что им движет исключительно интуиция. А уж Атос-то был настоящий учёный.

Но я решил не торопиться, и, выйдя к ручью, я скинул берцы, подсушил носки, умылся и перекусил. Пить из ручья не рискнул и израсходовал часть воды из неприкосновенного запаса. Потом, как завещал мне мой покойный учитель Богомолов, я минут десять лежал, уперев приподнятые ноги в ствол дерева и размышляя о тех, кто за нами охотился.

Итак, в моей картине мира не было места Атосу-барыге. Графиня, конечно, может переспать с садовником, но вот уж мёрзнуть на ветру, пытаясь искать клиента, мокнуть в дешёвых тубельках... Нет, это уже не смешно.

Атос легко мог преступить через закон в целях научной целесообразности, но вот зарабатывать скромную копеечку на левых артефактах из Зоны – это вряд ли.

Более того, все мы знали, что рынок фальшивых артефактов был куда мощнее, чем чёрный рынок настоящих – по-настоящему большие деньги имели те, кто контролировал ассортимент туристических лавок по всему миру.

Атос, правда, мог перейти дорогу какой-нибудь мощной корпорации – но в таком случае он мгновенно сдал бы назад. Что-что, а доход «RuCosmetics» интересовал его в последнюю очередь.

При уникальном дипломатическом даре Атоса было невозможно поверить, что он мог поругаться с кем-то из тёмных мафиози.

В общем, передо мной была загадка, над которой можно было бы ещё поломать голову, если бы не утекающее сквозь пальцы время. Не ягоды же тут собирать – кстати, ягоды тут как раз и были. Полно ягод, несмотря на то, что лето только началось – странные ягоды: серые, будто стальные, шарики висели под большими разлапистыми листьями.

О минах я не забывал, как не забывал об аномалиях – у меня рядом индексировались две: кусты с ядовитым пухом и довольно обширный гравиконцентрат.

А прямо передо мной, на пути к искомой обнюханной с высоты спутником точке лежало маленькое одноэтажное здание. На спецификации оно было обозначено как «дом пасечника».

На всякий случай я обошёл его, не замыкая круг – если улы и были, то где-то далеко.

Пчёл-мутантов я из сегодняшнего виш-листа хотел бы исключить.

Вроде, пчёл не было, и я зашагал по заросшей тропинке, раздвигая ставшую неожиданно высокой густую лопушистую траву.

На развалинах человеческого жилья трава отчего-то растёт особенно обильная и сорняки особенно буйные. Это я запомнил, когда ещё никакой Зоны и в помине не было.

Прямо перед домиком пришлось пробираться через кусты, что привело меня в ярость.

Треск сучков меня демаскировал. Хоть на экране ПДА никого рядом не было, всё равно это никуда не годилось.

Я перекинул автомат на грудь и снял с предохранителя.

Вдруг я услышал топот – где-то совсем неподалёку бежало стадо местных кабанов. Ревел вожак, хрюкали свиньи – что-то их спугнуло. Ветер был на меня, и я поэтому вряд ли мог стать причиной их тревоги.

На всякий случай я прицелился в створ тропинки, откуда могли вырваться на опушку перед домиком кабаны, но тут же всё стихло. И вдруг тишину разорвал отдалённый взрыв и жалобный вой кабаньего стада, посечённого осколками. Растяжки сделали своё дело.

Я вспомнил слова своего учителя о том, что стоящие отдельно в лесу или пустынном месте строения всегда привлекают.

Правда, я всегда прибавлял в разговорах с самим собой: «И помни, не одного тебя,

дружок».

Я завернул за угол здания, и отвратительный смрад шибанул мне в ноздри.

На стене, распятые в простенках между окнами, висели два мёртвых тела.

Распятые на библейский манер, они висели тут долго, но присмотревшись, я понял, что это не просто мёртвые.

Один из висевших поднял на меня заплывшие мутные глаза.

То есть, это были, конечно, мёртвые, но висели они тут уже с год. Это было видно и по жухлой осенней листве, застрявшей на их плечах и в рваных дырках одежды, и по тому, как выглядели стены рядом с ними, и по следу отсутствовавшего среднего собрата. Третий явно провисел тут не меньше года, а потом куда-то подевался.

Ну, зомби могли висеть тут и лет по десять, всё так же ворочая глазами. Но вот кто решил поиграть тут в Понтия Пилата – вопрос. И ещё больший вопрос – куда подевался их третий товарищ, от которого на стене остался полный след и четыре скобы, раньше державшие руки и ноги.

След от него на стене на Туринскую плащаницу вовсе не тянул – во-первых, он остался от диаметрально противоположной части тела, а во-вторых, представлял собой всё тот же типичный для зомби подтёк вечной, не сохнувшей на солнце гнили.

Вокруг были рассыпаны веером гильзы. Чувствовалось, что тут кого-то убивали – именно не воевали, а убивали, стреляя от бедра и не экономя патроны. Висящие на стене зомби не давали ответа на эту загадку.

Домик с этой стороны был источен пулями. Было видно, что заварушка тут была в прошлом году – судя по сколотой дранке и остаткам побелки, по давно почерневшему дереву и цвету гильз.

Тут я услышал тихое рычание.

Очень хорошо, только мне компании и не хватало.

Я осторожно прошёл вперёд и заглянул в дверь. Никого видно не было.

Я, аккуратно держа все опасные направления на прицеле, двинулся внутрь, и мгновенно понял, в чём дело – в одной из комнат стоял черномыльский пёс-одиночка. Это было очень неприятное создание, что-то вроде собаки Баскервилей. Пёс-одиночка всегда был гораздо свирепее, чем наугад взятый член стаи. Именно одиночество и вынуждало его к жестокости. Любая собака могла струсить и поднять лапы к небу, подставляя под укус врага самые уязвимые части тела, сдаваясь тем самым на милость победителя.

Пёс-одиночка всегда дрался до конца.

Но этот был безопасен – просто в силу собственного положения.

Черномыльский пёс провалился через доски гнилого пола в подвал так, что половина его тела торчала наверху, а другая часть была не видна.

Пёс был слеп, как все эти псы, но прекрасно меня чувствовал – по запаху и звукам. Мне всегда приходил по этому поводу на ум детский стишок:

Мне мама в детстве выколола глазки
Чтоб я в шкафу варенья не нашёл –
Теперь я не смотрю кино и не читаю сказки
Зато я нюхаю и слышу хорошо.

Нет, умеет сказать своё слово безвестный русский поэт! Наградит кого словом, то пойдет оно навсегда, и каждый раз человек будет вспоминать магию этого прозвища или стишка, кому-то посвященного, как потом ни хитри и ни отнекивайся, каркнет само за себя это слово, всплывёт в памяти, потому что произнесенное метко, всё равно что написанное, не вырубается топором. А уж куда метче говорит народный стишок, как его кто сочинит – то всё. Стишок и шофёр запомнит, и профессор, и прочий наизусть выучит.

Вот такая в фольклоре эпическая сила.

Не сравнится с нашим фольклором британская ирония, ничто перед ним быстрое

французское слово, немцы затейливы, как машиненпистоль, но наше слово точное, потому что рождается из-под самого сердца.

Тут и схвачена вся сущность чернобыльского пса.

Как бы ты ни пытался двигаться неслышно, обмануть чернобыльского пса, особенно на такой дистанции, тебе не удастся.

Другой бы на моём месте дострелил животное, но во мне жалости не было. Собаке – собачья смерть, тут эта поговорка работала особенно хорошо. Ещё меньше я желал шума.

Тем более рядом с псом лежали два уже обглоданных тела сталкеров – судя по всему, это были ранние весенние пташки: вышли вдвоём, решили заночевать на пасеке, но уснули оба, или уснул тот, кто должен был нести вахту.

Чернобыльский пёс сломал шею одному и после недолгой борьбы убил другого. Но доски пола и так-то были слабенькие, вот он и застрял, провалившись вниз.

Срок жизни его был отмерен, но и не мне было его ускорять.

Я вышел и стал приближаться к нужному месту тропинка вела к роднику, который давным-давно отрыл для себя пасечник на ручье.

Старый сруб стоял над ручьём, образуя некое подобие колодца. Ничего аномального здесь я не видел очевидно было, что метрах в пяти лежит пустышка, но пустышку я тащить не хотел, они хороши при продаже оптом, а торговать ими нелегально означало в скором времени лишиться контракта и тёплой норки в общежитии научного городка.

Полчаса ушло на проверку места, пока я не понял, что в траве рядом с колодцем лежит серебристо-белая полоска другого артефакта так называемого «нефритового жезла». Вещь абсолютно дурная, хотя на неё устойчивый спрос. Она якобы улучшает мужскую потенцию. Мы как-то много дискутировали на эту тему (из отвлечённых, правда, соображений) и сошлись на том, что увеличивает он лишь давление крови. Некоторым этого достаточно, а остальное делает эффект плацебо, то есть самовнушение.

В качестве доказательства сделанной работы я решил прихватить хоть это. Известное-то дело: вспотел покажись начальству. Мы писали, мы писали, наши паль...

То, что я наклонился к этому нефритовому хрену, и спасло мне жизнь.

Гулко ударила автоматная очередь, и перекрывая её вторая, с другого направления.

Дрянь! Дрянь! Дрянь! Надо перестать пить вообще, я теряю концентрацию, я должен был услышать, как они подходят, но я проворонил всё. Я думал о чём угодно об Атосе, о вечно живых зомби, о милосердии по отношению к чернобыльскому псу, я думал о мироздании, чёрт побери, но забыл о том, что я слоняюсь тут взад и вперёд, видный отовсюду как бутерброд на тарелке.

На всякий случай я плюхнулся в ручей и застонал.

Спорить не буду ощущение было приятное, вода приятно охладила вспотевшее тело, но я знал, что это ненадолго. И в смысле того, что в ручьях тут лежать опасно, и потому, что сейчас меня придут добивать.

Я сменил диспозицию, одновременно прикидывая путь к отступлению.

Всё верно, ко мне шёл один, как видно, самый малоценный член группы.

Шёл он грамотно, осматриваясь, но как я быстро понял, к тому месту, откуда он засёк стон. Это уже профессионализмом не назовёшь. Особенно учитывая то, сколько я сам, городской человек, играю тут в войнушку. Уж я-то не прирождённый сталкер, а он был явно из новеньких.

Его я за живого уже не считал, а вот кто был с ним, и сколько их было чрезвычайно интересно.

Я заметил большую ветку на пути у этого парня, и как только он с треском на неё наступил, быстро, как в тире, вклеил ему три пули в голову.

Вклеил-то две, третья прошла уже через розовое облако на месте того, что было головой.

Тут же ударили ещё два ствола, но я уже был далеко.

Задыхаясь, я отбежал назад и снова оказался перед домиком лесника, и тут-то они на

меня вышли.

Ладные чистенькие ребята с хорошим, не успевшим пообноситься снаряжением.

– Эй, откуда будете? – заорал я из-за дерева.

Тут же от ствола во все стороны полетела щепка.

Автоматы у них были иностранные, но это ещё ни о чём не говорило.

Я перекатился к другому дереву и снова закричал:

– Нихт шиссен, камараден! Мир, дружба, жвачка! Ландон из зе кепитал оф Грейт Бритен! Же не манж па сие жур! Разойдёмся миром!

Но кучный автоматный огонь ударил и в этот ствол наверное, я не угадал с языком межнационального общения.

Так. Так-так. Я огляделся и понял, что прямо у меня под боком тот гравиконцентрат, что я заметил на подходе. Я тихо обполз его и бросил позади себя лепестковую мину. Мина эта была вещью редкой, но на этот случай как раз необходимой ничего не жалко для вас, дорогие друзья.

Наконец я завершил манёвр и встал в полный рост.

На секунду эти лихие ребята опешили, а потом слаженно открыли огонь да только прямо между нами лежала огромная проплешина «комариной плешки», причём такой силы, что пули, втягиваясь в неё, даже не выбивали облачка пыли, пыль не в силах была подняться над поверхностью.

Было понятно, что люди это чужие, с местной физикой незнакомые, а оттого уже деморализованные. И точно тут много не надо: пуляешь в человека с близкого расстояния, а он разве что тебе рожи не корчит. (Я, кстати, не корчил, так само собой получилось.) И оружия при нём нет я автомат предварительно снял, потому что он в таких условиях бесполезен.

И действительно, один из них стал переступать в сторону и увя, не туда, где я кинул лепесток. Но нет, он снова начал движение в противоположном направлении.

А тут уж лепесток-лепесток, лети тело на восток, и на запад ты лети, больше некому идти. Не стало второго моего визитёра.

Как только он наступил на мину, я тут же перебежал под дерево со ржавым пухом на ветках. На мою удачу, ветер был как раз от меня. Это с всякой хорошо нюхающей нечистью плохо, а сейчас мне как раз на руку.

И только третий оставшийся пошёл ко мне и уже обошёл гравиконцентрат, я с размаху пнул дерево по стволу.

Такого эффекта даже я не ожидал.

Целое облако ржавого пуха снялось с ветвей и довольно резво поплыло в сторону незадачливого преследователя. Он ещё дёрнулся, попробовал убежать, но тут его накрыло. Костюм на нём был лёгенький, лицо по случаю жары и отсутствия радиации не закрыто, и он тут же заорал как резаный.

Собственно, и был он резаный тонкими химическими волосками ржавого пуха.

Я подобрал автомат и подполз к нему.

– Слушай, брат, – сказал я по-доброму, с отеческими интонациями. – Ты не думай, ты, может, и не умрёшь, я тебя полечу. Я тебя, гондона такого, на себе отнесу, хоть мне это и противно. Ты только скажи, кто послал. Кто послал?

Лежащий ничего не отвечал, а только дёргался.

– Кто послал, сука? – сказал я всё с той же елейной интонацией.

Но мой потенциальный убийца ничего не говорил, а только шарил по одежде, и вдруг выхватил наконец из кармана какую-то таблетку и сунул в рот. Тут же изо рта пошла пена, он дёрнулся и затих.

Да, неловко получилось.

Я не строил иллюзий человек скорее всего не меня и не моих вопросов испугался, а просто был готов к тому, что лучше проститься с жизнью, чем терпеть боль (действительно адскую) и наверняка остаться инвалидом. Это тоже черта залётного человека сталкер бы

боролся за свою жизнь, даже в качестве обрубка, до последнего.

По-прежнему стараясь быть незаметным, я вернулся к роднику за рюкзаком. Там я осмотрел карманы первого убитого, и, как и ожидал, ничего не обнаружил.

Тогда я собрал оружие и часть снаряжения и, бережно упаковав их в герметичные трофейные пакеты, засунул в чужой рюкзак.

Вернувшись в домик пасечника, я, не обращая внимания на мерное и скорбное рычание черномыльского пса, переживавшего свою медленную гибель, спрятал рядом с ним записку.

Нести это в сторону Периметра, понятное дело, было нельзя. Нет горше судьбы сталкера, что пытается продать оружие убитых – во-первых, его сразу же вычисляют, а то и покупатель может узнать ствол друга.

Во-вторых, попасться на перепродаже хоть чего-нибудь верный способ перестать быть научником. И Атос пальцем не пошевелит пока с хрустом будет оформляться разрыв контракта, а то и срок.

Ну вот ни одним пальцем не шевельнет.

Но в Зоне случайная обретенная да неслучайно найденная записка может явиться не только личным спасением, но важным элементом для обмена.

Одним словом, прощай, пёсик. Храни мой талисман.

Я вернулся поздно ночью и сразу доложил Атосу.

К моему удивлению, он очень спокойно отнёсся к тому, что я не принёс «аксельбант», но чрезвычайно серьёзно к факту обстрела. Он расспросил меня дотошно, кажется, делая какие-то важные для себя выводы, поблагодарил и отпустил с богом.

Мы тут все давно стали циниками, и три упокоившихся киллера нас не трогали – это лежало у них в прикупе.

Такие вещи и в наши отчёты не попадали – только в случае, если мы шли под охраной военных сталкеров – да и они любили заканчивать рапорты о боестолкновениях какой-нибудь меланхолической фразой типа: «После обстрела неизвестный самолёт проследовал в сторону Японского моря и скрылся с радаров».

Атос был вдвойне циником – он был очень требователен к подчинённым.

В какой-то момент, несколько лет назад, Атос делал на меня ставку – кажется, я был нужен ему для чего-то, он видел во мне не подчиненного, а помощника.

Но я быстро его разочаровал – и понятно почему. Я любил выпить, да и на науку давно положил с прибором. Атос мог рассчитывать только на мою личную честность – и тут я старался оправдать этот расчет.

А тогда мы даже говорили по-человечески, и для меня было откровением то, что наука оказалась довольно хитро устроенным механизмом.

Сначала вокруг Зоны возник некоторый вакуум. Всё-таки всё произошедшее воспринималось как неудача, как нечто позорное. Погибли люди, многие заболели (или думали, что заболели а это одно и то же), многим пришлось бросить дома – ну и на этом фоне научные открытия как-то были не нужны.

Атос как-то, задумавшись о чём-то постороннем, спросил меня:

– Знаешь, кстати, про немецких докторов в лагерях?

– А что в лагерях? Душегубы, в смысле? Ну там Менгеле да, знаю.

– Дело не только в Менгеле. Есть этический вопрос – пользоваться ли наработками этих немцев по трансплантологии или там замораживанию людей. Они ведь много что напридумывали и много наэкспериментировали с человеческим материалом. У нас ведь как – сначала в теории, потом на мышах. Потом опять в теории, а потом на свинках. Потом много-много в теории, потом нашли добровольцев, заплатили им немерено денег, потом только что-то сделали на сторонних людях. А немцы сильно ускорили процесс, да и их данные были уникальны.

– И что? – Я не понимал, зачем он со мной заговорил. Впрочем, я был немного выпивши, и зачем был этот разговор не понимаю и сейчас.

– Да ничего – пока мы говорили: «Есть вопрос», оказалось, что вопрос-то есть, но всё равно все уже пользуются. Там, правда, много туфты было.

– Так что с Зоной?

– Понимаешь, пока ты пил да гулял, в нормальной науке не до Зоны было – всё решала экономика. Уже началась, конечно, торговля артефактами, да только это не было решающим фактором – героин приносил куда больше. А как героин продавать – понятно, а с артефактами понятно, да не очень. Героин не особо портится, героин внезапно не теряет своих свойств, он вдруг не вливается в тело дилера и не убивает его.

Представь себе дилера, что положил в карман чек, а потом вдруг этот самый дилер пошёл волдырями и лопнул. Ну и унификация – все артефакты действуют по-разному. Только потом поняли, что даже батарейки на артефактах имеют разную ёмкость. После Первого межгосударственного соглашения в Зону нахлынули учёные – вот, казалось, сейчас мы всё объясним, М-теория, все дела.

То есть коли не сумели найти бозон Хиггса на коллайдере, так мы его сейчас обнаружим в гравиконцентрах...

– Э-э-э... Ты правда считаешь, что в гравиконцентрах... – Я мобилизовал знания теоретической физики, и, признаться, вышло у меня это неважно.

– Да я для примера говорю. Всё было построено на очень сильном оптимизме.

– И что, оптимизм кончился?

– Кончился. И довольно странным образом. Согласно Первому соглашению биологический материал нельзя вывозить из Зоны – ну, это по понятным причинам. Поэтому биологи попёрлись в Зону и на Периметр. Можно было транспортировать лишь неживые артефакты – оттого у физиков было некоторое раздолье. Но потом оказалось, что никаких теорий ничего не подтверждает, и в отрыве от Зоны характеристики артефактов не то чтобы слабеют, а видоизменяются. Это не хранимый товар – и для науки тоже.

Ведь знаешь, чем наука отличается от не-науки?

– Слушай, не заводи эту шарманку! Это нам ещё курсе на третьем рассказывали. – Я покривил душой. Что-то нам рассказывали, но я всё забыл и просто боялся этой шарманки. Я боялся звуков этой шарманки, потому что она мне пела: «Ты – лузер, ты – лузер, ты всё забыл».

– А наука от не-науки отличается тем, что, во-первых, результат не зависит от личности исследователя, а во-вторых, он воспроизводим.

И оказалось, что если с личностью – дело тёмное, особенно на переднем крае физики, то с воспроизводимостью – всё ещё хуже. Нету воспроизводимости. Мы меряем манную кашу и радостно докладываем об успехе. А оказывается, что пока мы докладывали, манная каша превратилась в красивый, годный кисель. Мы снова бежим докладывать, бац! – а ни киселя, ни каши, а есть чудесная плесень. Нормально?

Короче говоря, оптимизм поыветрился.

А дальше случилось то, что должно случиться. Туризм победил науку.

Финансовые потоки от туризма оказались сильнее, как-то под это дело даже отобрали жилой городок... Ну, не городок, одно название – четыре домика.

В общем, учёные закисли. То есть ты, конечно, можешь отправиться сюда как на Кавказ...

– Почему на Кавказ, при чём тут Кавказ – это ты про шахту с нейтрино сейчас мне рассказывать будешь.

– Нет, нейтрино тут ни при чём. При государе Николае Павловиче на Кавказ отправлялись для того, чтобы быстрее выслужить чин – то есть ты поехал в какое-то неудобное (он при слове «неудобное» как-то неприлично причмокнул) место, и вот нате, кавказский ассессор, то есть майор.²⁷ Так тебе служить двенадцать, что ли, лет, а этак –

²⁷ В Российской империи в период Кавказской войны для привлечения чиновников на службу в гражданские учреждения Кавказского наместничества там было упрощённое производство в чин коллежского ассессора. (Чин

стремительно и быстро, без выслуги, экзаменов и через чины.

Но – недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, как поётся в известной народной песне, которая так любима им, нашим народом.

Всем стало неинтересно. Неинтересная Зона, неинтересные чудовища, неинтересные учёные, которые вдруг выясняют, что какие-то чёрные шарики преломляют с коэффициентом 0,8, а не 0,4, как считалось раньше. Ура! Зашибись! Это раньше всех потрясали «чёрные брызги», моя прелес-с-с-сть... Пустили луч света в чёрный шарик, вышел свет с чудовищной задержкой, которая зависит от веса шарика, от размера, и ещё от дюжины параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего... Что? Куда? Почему? Ну вот думали, что эти «чёрные брызги» – свёрнутое пространство с качественно иными свойствами, и чёрт поймёт ещё, что там содержится внутри. Но выгоднее всего оказалось из «чёрных брызг» точить бусы, я даже помню рекламу «Я тебе двенадцать галактик». Потом, правда, прошла антиреклама о вредности галактического излучения и модницы, несмотря на весь бред этих слухов, ожерелья-то снимали.

Одно правда – мы обслуживаем туземцев, и самым ходовым товаром у туземцев всегда были бусы. Они заслуживают только бусы. Хотя эти туземцы теперь руководят и определяют жизнь учёных и путешественников.

Ну, некоторым повезло – американцы сняли фильм, ты помнишь – любовь-морковь, благородный сталкер, его брат-учёный, журналистка с канала FOX, последнее убежище, битва при Монолите... Опять попёрли туристы, и опять к исследованиям проснулся интерес: пошли гранты.

А ведь для нас что важно – гранты. Нет грантов на исследования мутагенного зайца – хрен тебе, соси лапу как этот самый заяц. Благо лапы у него гигантские. Ну или как медведь соси. А тут ты им предьявляешь: помните про зайца? Зайца в фильме видели? И никому нет дела, что это у них не заяц был, а компьютерный мираж. Есть деньги под зайца!

А потом кончается волна интереса, и всё снова протухает.

Я тебе вот что скажу: человечеству ничего этого не надо. Человечеству шаманизм нужен: вот вам баночка-притирка, прямо из Зоны, экологически чистая, никакой химии.

Нас, по сути, спасают военные и косметологи. Впрочем, военные в меньшей степени – вот, лет десять назад думали заправлять ракеты «ведьминым студнем» – не в смысле горючего, конечно, а накачивать им боеголовки. И что? Взял и вдруг затвердел.

Можно им теперь по врагам шарахнуть, поднимется облако инертной пыли – пусть обчихаются.

Такие дела.

А вы ведь тоже всё про косметику, да про косметику?

– Ну, не совсем, хотя разводка на деньги схожая – выбили грант на кожу, занимаемся мозгом. Выбили грант на ногти, занимаемся эволюцией. Относимся с пониманием.

Знаешь, что говорил Генри Форд? А говорил Генри Форд, и это оставили нам в назидание, следующее: *«Если бы я спрашивал у людей, что им нужно, они бы ответили: ещё более быструю лошадь»*.

* * *

Но эти разговоры кончились – разочаровал я Атоса.

И с тех пор мы не разговаривали на неслужебные темы.

Поэтому Атос не стал мне ничего больше говорить, а я отправился в «Пилов» выпить и закусить, как и полагает благородному дону, вернувшемуся с маршрута.

этот происходил от должности заседателя (ассессора) в петровских коллегиях, Сенате, Синоде и губернских судах. Был VIII класса по Табели о рангах, до 1845 года давал право на потомственное дворянство и титул «ваше высокоблагородие»). Название «кавказский ассессор» было ироническим и указывало на обходной путь получения ононого чина.

Походя я заметил, что у самостийников – новая смена. Их принимал сперва один СБУшник,²⁸ по совместительству мой добрый приятель и собутыльник. Однако с ним был какой-то подчинённый, так что я решил не подходить.

У украинского корпуса стоял «КАМАЗ» с откинутым задним бортом. Рядом с ним ругались двое, один привёз груз, а другой принимал его.

– Семяцкий, слышишь, Семяцкий, ну где накладные, а? Где? Где накладные? Я убью тебя!

Второй угрюмо молчал, но когда я проходил мимо, угрюмо сказал:

– Ну убей, попробуй. Убьёт он...

Наконец всё стихло.

А в баре был дым коромыслом – действительно, приехала новая украинская смена. И там были две такие бабы, что я сразу забыл об Атосе, и даже о трёх убитых, что сегодня стали превращаться в неотъемлемые части Зоны. Скоро их подьедят грызуны или более крупный зверь. Крупный зверь при этом расшвыривает кости, и только по черепу спустя год можно будет угадать след человека.

Мы пили как проклятые, а я играл на гитаре.

Наконец все устали.

Я решил проводить одну из украинок – она была какая-то вся упругая как ластик и страшно меня заводила. Мы уходили последними.

Глава семнадцатая

А тогда над книгой, найденной на книжном развале он заплакал неожиданно для самого себя, потому что в этих строках он увидел чувство, которое было так нужно ему и которого он – за всю жизнь свою – так и не пережил, не ощутил.

За строчками этими он увидел все то, что он так явственно представлял себе, о чем он мечтал, но чего не имел – ни одной минуты.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 13 мая, Эрик Калыньши по прозвищу Палач. Жизнь с мечтой. Как устроена гипножаба. Плохо, когда тебе снятся львы, но жизнь разбудит всё равно.

Палач ходил один по Зоне.

Его боялись, ходил слух, что он заговорённый, и поэтому на него никто не нападал – кроме всякой нечисти, потому что тварям Зоны наплевать на слухи.

А вот мелким бандитам и бандитам крупным не было никакого резона воевать со сталкером-проводником Эриком Калыньшем по прозвищу Палач. Он им не мешал – разве что ущемлял самолюбие кого-нибудь из них.

Но самолюбие – такая вещь, на которой как раз проверяется настоящий авторитет. А настоящий авторитет никогда не допустит той ситуации, когда покажется смешным или уязвимым.

Поэтому настоящие короли рэкета и контрабанды делали вид, что они не замечают сталкера по кличке Палач, или даже давали понять, что он если не встроен в структуру их банды, то выполняет для них разовые поручения. А вот тех, кого вольный сталкер по

²⁸ Служба безопасности Украины (Служба безпеки України) – спецслужба Украины, занимающаяся защитой государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического, оборонного потенциала Украины, а также информационно-аналитической деятельностью с целью содействия принятия решений руководством Украины.

прозвищу Палач раздражал и кто пытался смахнуть его с неудобных просторов Зоны как фигуру с шахматной доски, часто постигали разные неожиданные напасти.

К примеру, был такой непонятный человек со странной кликухой Владимирский Централ. И вовсе был он не из Владимира, и даже никогда не чалился в знаменитой пересыльной тюрьме, но вот как-то заработал на такую кличку. Владимирский Централ как-то хотел, чтобы Палач вёл его группу, а тот ни в какую. Не польстился ни на деньги, ни на процент, не подействовали на Палача угрозы и посулы. И попросил Владимирский Централ своих людей доставить ему, Владимирскому Централу, немного удовольствия.

Чтобы, значит, исчез этот человек в своём дурацком капюшоне и больше Владимирскому Централу не мешал тешить самолюбие.

А то уважаемому человеку очень обидно, когда оказывается, что его деньги теряют цену и что его угрозы для кого-то ничего не значат. И сумму назначил за это дело – неплохую сумму.

Да только никто за этой суммой не пришёл. Одного из охотников наказать Палача нашли через месяц. Увидели в воздушном пузыре на болоте – там он мог вечность жить как овощ, с выпученными глазами плавая в своей биологической тюрьме.

А другой охотник напоролся на мины прямо рядом с Периметром, хотя в минных полосах были давно проделаны проходы – и тайные, и официальные, и знали о них все.

А третий из вызвавшихся (впрочем, их и было-то трое), вовсе сгинул неизвестным образом. Зона ведь так устроена, что может съесть человека без остатка и даже не облизнуться. «Из дома вышел человек, с винтовкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком – и вот однажды на заре вошёл он в тёмный лес, и стой поры, и с той поры исчез», – как сообщал нам один поэт по совершенно другому поводу.

Да и сам Владимирский Централ с тех пор как-то потускнел.

Неладно пошли его дела, истончились деньги его и расточились друзья его. И задул ему в спину ветер северный и было ему зла немерено. И нашли вдруг Владимирского Централ в сортире бара «Сталкер», а в голове его обнаружили дополнительное, кроме ноздрей, ушей и рта, отверстие. Отверстие это располагалось посреди лба, и было, как именно по этому поводу пишут милицейские протоколы, «несовместимо с жизнью».

А затем на Палача обиделся авторитет Исая Митрич, причём обиделся разом, быстро, в пьяном, надо сказать, виде. Потребовал Исая Митрич у Палача, чтобы снял тот с головы капюшон, потому что Исая Митрича это жутко раздражает. А уж как увидел Митрич, что желание его сразу не исполнено, так вынул заморскую волюну под названием «беретта» и, выделив сталкера-проводника по прозвищу Палач, тут же нажал на спуск.

Происходило это прямо у стойки бара, и поэтому человек двадцать были свидетелями, как оружие дорогое, надёжное, итальянской знаменитой работы, вдруг разорвалось у своего хозяина в руке.

И, какая неприятность, затвор означенного оружия вошёл хозяину прямо в глаз, да там и не прижился.

Бармен был этому очень не рад. Да и уборщики, надо думать, не обрадовались.

С тех пор пошла о Палаче особая слава, в работе ему помогавшая, хоть при этом была и не слишком светлой и поэтической.

Но сейчас сталкер по прозвищу Палач был грустен – много всего случилось неудачного, как-то криво шли дела. Такое бывает, когда особых неприятностей пока не приключилось, но человек день за днем недополучает положительных эмоций. Когда нет у него раз за разом подпитки какой-нибудь радостью.

В такие времена он всегда думал о том, как хотел поймать гипножабу. Так это существо называли для простоты, даже в знаменитый фильм «Периметр» она вошла под этим неправильным названием.

На самом деле зоологи её звали Земноводный Контролёр, потому что это существо обладало всеми свойствами контролёра, только вовсе не было в нём ничего человеческого.

Оно легко контролировало живую и мёртвую плоть, заставляя одну будущую еду

убивать другую, приносить жабе под нос в нужное время и вообще организовывало вокруг себя вполне восточный рай.

Правда в этом раю вместо расшитых золотом ковров была ряска на мутной воде, вместо кальянного дыма – белый ядовитый туман на болотах, а вместо гурий – змеи и ящеры, неизвестные науке.

И в раю этом было хорошо только одному существу – самой гипножабе.

Росту в гипножабе был метр, и была она кругла, будто один из загадочных героев русских сказок Колобок.

Колобком бы её назвать, но прижилось имя гипножаба.

Задохлую, но малопорченую гипножабу зоологи сулили несметные деньги, а про живую никто и не думал.

А вот сталкер-проводник по кличке Палач как раздумал о живой гипножабе.

Пока же день заднем не приносил денежного улова, скучные плановые выходы сейчас не проводились.

Мушкету было тяжело смотреть, как Палач каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатках из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка.

Палач был худ и измождён, затылок его прорезали глубокие морщины, а на щеке была точка неопасного (как говорят некоторые) кожного рака, который вызывает слабая радиация Зоны, когда находишься с ней в постоянном прикосновении.

На руках у Эрика были глубокие шрамы, прорезанные ядовитым ржавым пухом, в который он вляпался ещё в прошлом году – пуха было много, и он едва не убил его, но всё обошлось.

Свежих шрамов не было, но и старые напоминали татуировки – тонкая и чёрная паутина, если всмотреться – удивительно красивая.

Эрику редко кто смотрел в глаза – да и всё лицо прикрывал его знаменитый капюшон. А вот это было очень жаль – потому что глаза у Эрика были прекрасные, небесно-голубые.

Всмотревшись в его лицо, всякий бы понял, что Эрику куда меньше лет, чем это кажется по его сгорбленной палаческой фигуре.

– Эрик, – сказал Мушкет, когда они вдвоем сидели в баре, – я принёс деньги. Это за тот выводок австралийцев, что ты водил. Ну, которые вудисты... Вудуисты... Ну, не помню, эти религиозные маньяки. В общем, пришли деньги.

Палач научил Мушкета многому, и Мушкет его любил. Палач был уже частью Зоны, только частью Зоны обычно считались зомби, изломы и прочая сумасшедшая плоть, а сталкер-проводник Эрик Калыньш был вполне живой, и даже не очень старый.

– Хочешь, пойдём вместе?

– Нет, – сказал Палач, – у тебя работа. Не надо этого.

– Одному нельзя.

– Всем нельзя, а мне – можно, – сказал Палач. – Ты ведь сам как-то отказался. Я знаю, ты ушел от меня не потому, что не верил в то, что гипножабу можно поймать.

– Меня заставил Атос, но сейчас другое время. Я Атоса не боюсь, да и ему теперь на меня наплевать.

– Знаю, – сказал Палач. – Как же иначе.

– Атосу на всех наплевать, кроме науки.

– Да, – сказал Палач. – А нам не наплевать. Но я хочу пойти один.

– Конечно-конечно. Но одному нельзя.

– Ладно, – сказал Палач. – Не будем об этом.

Они сидели в полупустом баре «Пилов» и на них искоса посматривали немногочисленные посетители.

Такая уж была у сталкера-проводника по кличке Палач репутация. Для молодых сталкеров, особенно тех вольных сталкеров, что принесли на продажу учёным артефакты, он

был легендой. Легендой мрачноватой, но чёрный цвет придаёт легендам особый шарм. Старики, когда смотрели на него, всё время вспоминали его удачливость, и то, как он постоянно выходил сухим из воды. А когда старики видят выжившего, то неминуемо вспоминают о погибших. Никуда не деться: *«Если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос, мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось»*.

Кто-кто, а Эрик не был на них в обиде.

Если будешь постоянно об этом думать, перебирать в памяти мысли о поиске предназначения, теоремах этики и прочей нравственной гимнастике, то и жить не захочется. А у Эрика была мечта.

Тот, у кого есть мечта, вовсе не обязательно хочет вылезти на балкон и произносить речь: *«I have a dream»*.²⁹

Можно просто поддерживать мечту в себе и с каждым днём приближаться к ней – хотя бы на шаг ближе. Даже если по тактическим соображениям придётся на время отступить. Так было и с Эриком – у него уже давно ничего не было: ни дома на Большой Земле, ни страны, патриотом которой он бы был, ни женщины, которую бы он страстно любил.

Итак, сталкерам постарше было грустно на него смотреть, однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о погоде, последнем выбросе, о ценах на артефакты и том, что они видели в Зоне во время последнего выхода. Те, кому вчера и сегодня повезло неподалёку, уже вернулись, выпотрошили свои рюкзаки и, перетасив хабар на склад, получили деньги.

После сортировки транспортный конвой уйдёт на Большую Землю с грузом, а некоторые образцы, в основном – биологический материал, останутся в местных лабораториях. Там тушки положат в аппараты, нарежут молекулярные срезы, препарируют и опишут.

И всё это будет стерильно, безо всякой вони – кроме той только, что необходима газоанализатору.

И сейчас Эрик сидел в отдалении от своих вольных коллег и смотрел в свой стакан с виски.

Пили здесь всё – и горилку, и водку. Но горилка с водкой считались напитками для еды и употреблялись обычно с борщом или «под тёплое», а вот виски за милую душу шёл с утра.

Просто так, безо всяких лживых туристических разговоров о выводе радионуклеидов.

– Можно, я возьму тебе ещё? – спросил Мушкет.

– Не стоит. Хватит мне. Я еще сравнительно трезв, а мне как раз стоит разработать маршрут.

– Нет, точно?

– Точно. Да ведь ты уже угостил меня, – сказал Палач. – Хватит.

– Сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в Зону?

– Двадцать пять, кажется, и ты сразу чуть было не погиб, когда мы поймали ещё живого кровососа и он вдруг очнулся, помнишь?

– Помню, как он пошёл на нас и как ты бил по нему из дробовика. Помню, он задумчиво стоял перед нами, и вдруг превратился в бублик, потому что всю середину туловища у него вынесло множеством наших выстрелов, а кругом стоял приторный запах крови.

– Ты правда все это помнишь, или я тебе потом рассказывал?

– Я помню все с самого первого дня, когда ты взял меня в Зону.

Палач поглядел на него своими голубыми, едва видимыми из-под капюшона глазами:

– Если бы ты был моим сыном, я бы сейчас рискнул взять тебя с собой. Но это не так,

²⁹ «У меня есть мечта» – название речи Мартина Лютера Кинга, произнесённой 28 августа 1963 года и направленной против расовой дискриминации.

да и вообще со мной лучше не связываться.

– Давай я все-таки схожу за вискарём. И ещё я знаю, где можно достать хорошее снаряжение.

– У меня ещё много осталось.

– Я достану.

– Ладно, – согласился Палач, чтобы больше не спорить.

Он никогда не терял ни надежды, ни веры в будущее, но ему было приятно, что Мушкет его боготворил. «Надо, впрочем, мальчику сказать, чтобы он не был так сентиментален, а то нас ещё будут подозревать в чём-то большем, чем отношения ученика и учителя», – подумал Эрик. Но Мушкет для него всё равно был навсегда мальчиком – восторженным и неумелым.

Он был не слишком простодушен, чтобы думать о своём предназначении. Слова о предназначении – даже нет, Предназначении с большой буквы «П» – хороши только в книгах. Но про себя Эрик знал, что его предназначение было в том, чтобы поймать гипножабу. Как и зачем – он не знал. Поймать – и всё.

Утаить это было невозможно.

Как бы он не скрывал своё желание, оно стало известно всем сталкерам много лет назад. Он расспрашивал о повадках гипножабы учёных, он разглядывал фотографии и наносил на внутреннюю карту, находившуюся в его голове все случаи наблюдения гипножабы.

За многие годы существования Зоны ни у кого не получалось поймать гипножабу – большинство охотников гибло на подходах. Некоторые тонули в болотах, не успев даже увидеть это существо.

Кто-то похвалялся тем, что завалил гипножабу с большого расстояния – из дальнобойных снайперских винтовок с хорошей оптикой. Некоторым из таких героев можно было верить.

Но особого героизма в такой удаче не было – убить ведь дело нехитрое. Ты попробуй подойти к гипножабе, загадочному Земноводному Контролёру. Попробуй, и там посмотрим, во что ты превратишься.

Ментальный удар гипножабы естественным образом зависел от расстояния, его мощность падала пропорционально квадрату этого расстояния. На ближней дистанции, таким образом, никто с ней не схватывался. То есть, может, кто и попробовал, но – с понятным результатом.

Ходили легенды о незадачливых сталкерах, что попали в рабство к гипножабе и с тех пор, потеряв рассудок, жили в болоте, ползая у брюха этой жабы как её собственные головастики. Впрочем, неизвестно, были ли у гипножабы головастики – ведь, по сути, это была никакая не жаба.

Одно название.

Итак, ни одной гипножабы людям для изучения предъявлено не было.

– Если ничего не переменится, я пойду завтра, – сказал сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач.

– Ты где будешь искать?

– Подальше от края, а вернусь, когда переменится ветер. Как Мэри Поппинс. Выйду до рассвета.

– Все всегда рвались к центру болот. По-моему, нужно поступать парадоксально – искать по краю. Но, всё равно, надо бы взять команду. Если тебе попадетя очень большая гипножаба, мы тебе поможем.

Надо бы хорошие камеры слежения. То есть я могу стать вторым номером. Если я уж высмотрю что-нибудь такое, чего ты, находясь в деле, не сможешь разглядеть, то хотя бы крикну. Я так помог Хомяку.

Хомяк был знатный сталкер, бабник, остряк, весельчак.

Он давно не ходил в Зону после случая на болотах, когда один зомби воткнул в него

скальпель, и почти надвое развалил его тело. Раны были страшные, его еле спасли. Доктор на болотах потратил на него времени едва ли не больше, чем на всех прежних пациентов. А пациентов у болотного доктора было множество – и среди людей, и среди тварей.

Но если бы не Мушкет, шедший с ним вторым номером, болотному доктору вряд ли бы было что сшивать да лечить.

– А сил у тебя хватит, если попадетя очень большая гипножаба?

– Думаю, что хватит. Тут главное – сноровка. Когда готовишься полжизни к чему-нибудь, такие вопросы уже не встают.

– Давай собираться. До завтра ведь мало что изменится.

И они пошли в корпус, где была комната Эрика.

Эрик нес на плече щуп-детектор, переделанный из старинного дозиметра ДП-5Б, а Мушкет – пластиковый ящик Эрика, наполненный всякими примочками.

Вряд ли кто вздумал бы обокрасть Палача, но лучше было отнести ящик в его номер. Просто чтобы потом не искать его, если кто-то из сталкеров или уборщик запинаят его в другой угол.

Они поднялись по наружной лесенке и вошли в дверь, растворенную настежь.

Тут уже Палача знали все, и никто бы не зашёл к нему без спроса – репутация и мистический флёр вокруг его фигуры охраняли имущество куда круче, чем замки.

Палач прислонил щуп с обернутым вокруг него проводом к стене, а Мушкет положил рядом сталкерские снасти. В комнате Эрика была скромная обстановка – ровно такая же, какая полагалась всякому члену научного сообщества.

Тут стояла кровать, стол и стул, но только одно отличало комнату от прочих – у стола не было гигантского компьютерного монитора, которым обзаводились все. Без Интернета тут жил только сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач.

У него и компьютера не было – ни к чему был компьютер сталкеру-проводнику.

На стене раньше висела фотография, но это было много лет назад. Трудно поверить, что и Эрик был обычным человеком. Видимо, это была женщина, кто же ещё?

Но даже Мушкет не видел её никогда. Ему казалось, что Палач её спрятал лет двадцать назад, потому что уже тогда смотреть на женское лицо в комнате, залитой одиночеством, было уж очень тоскливо.

Интересно, где он хранит её и хранит ли вообще. Мушкет несколько раз разбирал имущество погибших сталкеров и всегда удивлялся тому, что личные вещи всегда были одинаковы. То есть это были особые «сентиментальные» вещи. Фотография, иконка, флэшка с перепиской или фотоархивом, Библия или Коран. Было такое впечатление, что эти предметы выдавались сталкерам средней руки на каком-то мистическом складе – всё было одинаковое. И даже фотографии были, кажется, одной и той же женщины.

– Пойдём на ужин? – спросил Мушкет.

– Да у меня тут есть – разогрею в микроволновке. Хочешь, кстати?

– Нет, я поем потом.

– Говорят, завтра – счастливое число, – сказал Палач. – А ну как я завтра поймаю гипножабу? Ладно, иди и не отвечивай.

Мушкет не знал, будет ли Эрик спать на самом деле, но понял, что надо убираться.

– Я приду проводить, а потом ты расскажешь, как всё было. Смотри не простудись, Палач. – Мушкет хихикнул, но почувствовал слабость. Это было совершенно неприлично, потому что он канючил как мальчик. Только он всем существом понимал, что Эрик не вернётся. Когда человек хочет исполнить свою мечту, ничем хорошим это не кончается. Но, может, мечта не исполнится – ведь двадцать лет у Палача ничего не получалось и каждый раз он возвращался.

Всё равно, не стоило так сопливо себя вести.

Но Палач уже спал. Вот только он прилёг на койку – и вот уже спал, закинув голову.

Когда глаза его были закрыты, то лицо у Палача казалось всё же очень старым. Только

глаза говорили о молодости, но теперь, во сне, с опущенными веками, оно казалось совсем неживым. Ноги были босы.

Мушкет не стал больше ничего говорить и ушел.

Вечером, когда он вернулся снова, Палач все еще спал.

– Проснись! – позвал его Мушкет и положил ему руку на колено.

Палач открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то издалека. Потом он улыбнулся.

– Что ты принес?

– Ужин. Сейчас мы будем есть... Нельзя ловить гипножабу не евши.

– Мне случилось, – сказал Палач, поднимаясь. Потом он стал складывать одеяло и заправлять койку.

– И каков итог? – сказал Мушкет. – Не очень-то и вышло. Покуда я жив, я не дам тебе ловить гипножабу не евши.

– Тогда береги себя и живи как можно дольше, – сказал Палач. – А что мы будем есть?

– «Завтрак туриста». Ладно, шучу – тушёную свинью. И варёную капусту – скромно, но вкусно.

Мушкет принес еду в металлических судках из ресторанчика Алика. Вилки, ножи и ложки он положил в карман; каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку.

– А, Алик дал?

– Ну да. Алик тебя любит.

– Надо его поблагодарить.

– Я его поблагодарил, – сказал Мушкет, – уж ты не беспокойся.

– Он нам сделал много добра.

– А вот сегодня дал еще и пива.

Они молча ели.

Спать он так и не лёг.

Всё было давно собрано и давно продумано, так что до утра он просто курил.

Мушкет вышел вместе с ним в сумраке, и они пошли к охранной зоне, преддверию Зоны настоящей.

Неподалёку от КПП Эрик услышал голоса – это переговаривались уже построенные военные сталкеры и несколько сталкеров, официально работавших на научный городок.

Они, увидев знаменитого Палача, перекинулись тихими замечаниями – кажется, они догадывались, что его выход не простой, а часть мечты.

Группы военных сталкеров организовано ушли на Зону и вскоре скрылись в утреннем тумане. Потом вышли и прочие.

Некоторое время сталкер-проводник Эрик Калыныш по прозвищу Палач ещё слышал их разговоры. Примерно столько же, сколько он ощущал на своей спине взгляд Мушкета. Потом он поднялся на самую вершину холма и начал спускаться по скользкой от росы тропинке.

Тут и ощущение прощания исчезло, пропали и звуки чужих голосов. Сталкеры веером расходились в стороны, и расстояние между ними увеличивалось.

У каждого была своя дорога – ни туристов, ни учёных в этот день с собой не брали.

Поэтому все сталкеры довольно быстро растворились в Зоне, потеряв друг друга из виду.

Палач шёл очень быстро, как говорили в старину про лошадей, «ходко». Местность эту он знал очень хорошо, знал настолько, чтобы не смотреть на экран ПДА и, более того, чтобы не проверять наличие блуждающих аномалий, которые могли тут появиться после недавних выбросов.

Но он давно выработал чутьё на эти объекты – лёгкое дрожание воздуха над травой, пролетевшая искра, запах озона – всё это было точными знаками опасности. Это было лучше любых детекторов – а поскольку он был здесь много раз, то замечал любые изменения.

Внезапно он вспомнил Арамиса, с которым накануне играл в странную игру.

Он застал Мушкетера вместе с Арамисом в баре. Арамис сыпал перед Мушкетером на стол спички и заставлял его угадывать, сколько спичек просыпалось из разжатой ладони.

У игры была первая стадия сложности, когда нужно было быстро пересчитать спички, упавшие на стол за несколько секунд, и вторая степень, когда спички нужно было считать в падении.

– Насилу у вас спички нашёл, – сказал тогда Арамис. – По-моему, только здесь теперь спички и продаются.

– Ну, – отвечал Мушкетер, – можно играть, купив коробку зажигалок.

Палачу эта игра очень понравилась, и вскоре они стали играть с Арамисом вдвоём – на скорость.

Мушкетер, исключённый из их соревнования, только завистливо глядел, как раз за разом разлетаются по поверхности стола спички.

– А чья идея, – спросил наконец Палач. – Кто придумал?

– Один лётчик, – ответил Арамис. – Не помню фамилии.

Это было очень давно, во время прошлой войны.

Палач не сразу догадался, что за «последняя война» имеется в виду. Войн случилось много – маленьких и больших, и только спустя несколько секунд он понял, что в их поколении «последняя война» это та, которую русские и украинцы звали «Отечественная», а остальные просто «Вторая мировая».

– Всё очень просто, – сказал Арамис. – Хоть это давняя история. Как-то на фронте была зима и один полк отозвали на переформирование. Лётчики тогда менялись быстро, особенно те, кто летал на пикирующих бомбардировщиках. И вот, когда личный состав повыбило больше, чем наполовину, они полетели в тыл – получать пополнение и новую технику.

Но эту новую технику они никак не могли опробовать – была нелётная погода, а когда она становилась хоть немного сносной, то есть ясной и морозной, то выяснялось, что снега напало столько, что аэродром просто не успевают расчищать.

Все там просто сходили с ума от безделья, ну там пили или просто спали. А один лётчик сидел в пустой столовой и занимался тем, что бросал перед собой спички, смотрел на них три секунды, а потом снова бросал.

Никто не мог понять, что он, собственно, делает. А когда люди не могут понять чужого дела, то они обычно ругаются или просто вертят пальцем у виска. Сослуживцы провертели себе в головах дырки, пока наконец дело не дошло до командира полка. Тогда в армии даже на войне были строгие медкомиссии, и если было подозрение на нездоровье лётчика, особенно если это душевное нездоровье, нужно было всё выяснить как можно быстрее.

Оказалось, что лётчик со спичками тренировал зрительную память – вот что выяснил командир полка. И ещё он выяснил, что память тренируется довольно быстро. Сначала тот лётчик быстро и точно работал с пятью спичками, а скоро – уже сыпал целый коробок, в котором в старые времена спичек было ровно шестьдесят.

А потом оказалось, что лётчик со спичками стал лучшим в своей армии воздушным разведчиком.

Потому он стал таким, что умел быстро считать. А это умение очень важное – особенно когда ты быстро летишь над людьми, что стреляют в тебя. И этот лётчик мог мгновенно оценить количество танков на дороге, и сколько вагонов в идущем составе.

– Хорошая игра, – повторил сталкер-проводник. Его сложно было удивить, а Арамис его только что удивил. Метод тренировки был очень простым, и он удивлялся, что сам до него не додумался. Но из вежливости к автору он специально спросил: – А что было с ним потом?

– С кем?

– Ну, с этим лётчиком?

– Не знаю, – пожал плечами Арамис. – Я же говорю, очень старая история. Я и имени его не помню.

Сталкер с грустью подумал, что Мушкетер всегда проигрывает. Это было очень жаль,

потому что Мушкет был как бы его учеником, учеником преданным, но довольно бестолковым.

А вот из Арамиса получился бы хороший сталкер. Для настоящего учёного он недостаточно самоотвержен и слишком любит жизнь. Ему нравится, когда адреналин ударяет в организм, и человек будто стоит на палубе корабля, попавшего в шторм. Арамиса бы он научил многому, но время было упущено.

Они все давно были уже не дети.

Но, чёрт побери, у Арамиса это хорошо получалось – будто какой-то компьютер работал у него в голове.

Так думал сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач, не теряя при этом контроля над дорогой. Всё дело в том, что сталкер как хороший шофёр – не теряет контроля над дорогой, хотя может при этом о чём-нибудь думать, или поддерживать разговор с пассажиром.

Сталкеру это удавалось именно потому, что он хорошо считывал картину местности, и если бы на расстоянии нескольких метров перед ним на тропе обнаружилась невесть откуда взявшаяся спичка, он бы немедленно заметил это.

А пока он миновал Гиблую Рощу, в которой всегда было много разного неприятного зверья – это зверьё было мелким, но ужасно неприятным. Крысы мутировавшие и похожие на крыс мыши-полёвки, квази-тушканчики, иногда даже слепые чернобыльские собаки.

Кабаны встречались в роще редко, но всё равно соваться туда не стоило – особенно одному.

Палач стал обходить рощу по кругу и тут остановился в первый раз. Прямо перед ним были недавние следы. С другой стороны рощу только что обошла небольшая, но очень хорошо оснащённая группа – это было видно по нагрузке (следы были глубокие) и тому, что обувь у них была почти новая.

Группа явно шла на перехват, но непонятно, кто был целью.

Палач согласился с тем, что что-то в Зоне сейчас стало беспокойно, и стал двигаться чуть медленнее.

Уже наставало утро, и он слышал дрожащий звук – это разнообразная летучая дрянь начинала роиться над лужами.

А лужи были сигнальными знаками – болота рядом.

А вот птиц тут не было. Птиц Палач жалел, особенно маленьких – потому что птицы тут вечно мучаются в поисках пищи и почти никогда этой пищи не находят. Палач думал про себя: «Это так только говорят: „Птичка божия не знает ни заботы, ни труда“... Это только так говорят – птичья жизнь куда тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших, сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, и Зона к ним так жестока? Людей, особенно тех, что приходят с внешней стороны Периметра, редко бывает жаль, они таковы, каковы есть. Люди пришли сюда по своей воле, и их никто не звал. А вот птиц, что прилетели на Зону, всегда жаль».

Мысленно он всегда звал Зону, как зовут мать – с большой буквы, любя, но подчёркивая дистанцию.

Для других Зона была рабочим пространством, местом заработка, источником контролируемого стресса, врагом, наконец. Для него же Зона была просто Зоной, частью его самого.

«Я искал гипножабу на Болотном Острове и у газовой трубы в прошлом году и ничего не увидел, – подумал Палач. – Можно повторить там же, а можно пройти по краю болота. Вдрут и там сидит большая гипножаба?»

Ещё до конца не рассвело, а он уже дошёл до болота и нашёл свой старый тайник. Там, кроме еды и оружия, лежало огромное пластиковое корыто, которое должно было послужить Эрику плотом.

Он сначала протащил его до дальней протоки, а потом спустил на воду. Вернее на поверхность того, что могло считаться водой.

Вода была черной и вязкой как нефть – видимо, за счёт каких-то микроорганизмов.

Теперь он двигался, отталкиваясь своим щупом. Вода гулко била в пластиковое днище.

Палач наблюдал, не угрожает ли ему что с болотных кочек, нет ли в воде какого странного движения – но всё было тихо. Более того, экран ПДА был совершенно пуст – ни аномалий, ни существ, ни людей.

«Везёт ли мне? – подумал между тем Палач. – С одной стороны, я вроде бы успешен: у меня достаточно денег, даже более чем достаточно. У меня почти не было трупов, когда я водил подопечных в самые рискованные места Зоны, обо мне хорошо говорят. Но, с другой стороны, с учениками мне не повезло, и с мечтой пока не вышло. Может, я неправильно выбрал мечту? Но кто знает? Может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везёт. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов».

Он двигался по болотам целый день, но начало темнеть, а никаких следов гипножабы он не обнаружил.

Тогда он выбрал равноудалённое от берегов протоки место, привязал своё корыто к корягам, будто поставил на якорь, а сам устроил себе место ночёвки на дереве.

Конечно, в случае страшного зверя это бы не помогло, но существа из болот редко высывались из своей привычной среды выше, чем на метр. Так он и проспал несколько часов до рассвета, сидя в развилке огромной ветки, висевшей над водой.

В темноте кто-то несколько раз проплыл мимо и поддавал пустое, а оттого гулкое корыто своими невидимыми спинами. Утром из чёрной воды высунулось длинное щупальце с зубастым ртом на конце, точь-в-точь как рот миноги, покрутилось и снова скрылось под водой.

И выждав после этого визита необходимое время сталкер-проводник Эрик Калыныш снова начал движение.

Дело клонилось к полдню, когда он увидел на холме, возвышавшемся над водой, высокую фигуру в белом плаще. Он сразу узнал знаменитого Доктора.

Болотный Доктор помахал ему рукой и, провожая сталкера взглядом, ткнул пальцем в правую протоку.

Палач задумался над тем, что это могло означать.

Доктор лечил всех, в том числе и зверьё странного вида. Какой ему толк помогать охотнику – было непонятно. Какой резон Доктору наводить охотника на цель? Ровно никакого.

Но Палач всё же двинулся в направлении, указанном Доктором.

Первым делом за поворотом Палач увидел кровососа, стоящего на берегу ровно в такой же позе, что и Доктор. Кровосос, впрочем, был похож на туриста, проснувшегося раньше своих товарищей и выползшего из палатки, чтобы пописать. Кровосос стоял, выпятив грудь, и шевелил своими щупальцами.

Совершенно очевидно, что он почуял человека, но ничего не предпринимал. Стоял себе и стоял – поэтому Палач не стал стрелять, а только крепче сжал в побелевших пальцах оружие.

Ну, кровосос. Ну, стоит. Что ему до него? Много он их видал – что же сразу дёргаться?

И кровосос скрылся за поворотом.

Палач кружил по болоту ещё час, пока наконец не увидел гипножабу – это произошло без всякого пафоса. Из-за холма гипножаба ещё не была видна, и она не прощупывала местность на предмет поиска чужих. Поэтому сначала Палач почувствовал простое усиление ментального поля и сразу поднял ствол с насадкой, стреляющей капроновой сетью.

Алюминиевый шлем нормально предохранял от деятельности гипножабы, если, конечно, она не концентрировалась на одном человеке. И если до гипножабы было достаточно далеко.

Поэтому он сделал несколько резких рывков, оттолкнулся от болотного холмика и выплыл из-за угла прямо на гипножабу.

И когда он увидел гипножабу, то сразу выстрелил ловушку с сетью. Самое сложное было в том, чтобы угадать, в какую сторону прыгнет гипножаба, заметив патрон с сетью на конце его ствола. Потом ты попадёшь под ментальный удар, и рука может вообще дрогнуть.

И это ему удалось с первого раза. Сеть вылетела в нужном направлении прежде, чем боль ментального удара стукнула в виски.

Гипножаба была у него на крючке.

Осознание этого факта приходило медленно, и адреналин только бросился в кровь.

Судьба распорядилась так, что это случилось быстро – без ожидания в засаде, без колебаний и сомнений в том, правильно ли выбрано место.

Его мечта сбылась, но Палач оказался к этому не готов. Он мог предполагать, что это произойдёт быстро, но вовсе не так быстро, как это случилось.

Последние минуты перед овеществлением мечты – отдельное удовольствие, но гипножаба лишила его этого удовольствия. Однако роптать было нечего.

Теперь он мог горстями есть нейтрализующие таблетки, стараться держать дистанцию, чтобы действие гипножабы всё же было поменьше, но главное, главное, главное было сделано.

Он даже удивился, как это получилось у него с первого раза – будто и не было этих лет неудач.

Несколько часов гипножаба тянула плот, пока не начала выдыхаться.

Палач с минуты на минуту ожидал, что она перестанет тянуть.

В это мгновение гипножаба внезапно рванулась и повалила Палача, так, что он чуть не утопил своё корыто.

Тогда он стравил трос.

Когда трос дернулся, то Палач увидел, что кожа на его ладони лопнула.

– Верно, гипножабе тоже стало больно, – сказал он вслух и потянул капроновый тросик, проверяя, не сможет ли он повернуть гипножабу в другую сторону. Натянув его до отказа, он снова замер в прежнем положении.

– Худо тебе, гипножаба? – спросил он. – Видит бог, мне и самому не легче.

Он поискал глазами других свидетелей происходящего, потому что ему хотелось с кем-нибудь поговорить. В этот момент он был готов завязать беседу даже с кровососом.

Но никого рядом не было.

Он обнаружил также, что маленький фотоаппарат утонул. Готовясь снимать, он расстегнул карман, в котором лежал его фотоаппарат, он же камера, и теперь тот бесславно погружался в болотную жижу.

Но счастье победы начинало ощущаться им, так что он не особо обратил на это внимание.

– Жаль, что Мушкет не со мной. Уж он-то заценил бы это дело, – сказал он вслух.

Переместив тяжесть гипножабы на левое плечо и осторожно став на колени, он вымыл руку, подержав ее с минуту в торфяной воде и наблюдая за тем, как расплывается кровавый след, как мерно обтекает руку встречная струя.

Гипножаба мотала его до вечера, пока наконец не устала.

Тогда он подогнал своё корыто к берегу и стал подтягивать трос с сетью.

Потом он бережно обмотал трос на обломанный сук и вытащил корыто на землю.

Корыто теперь превратилось в сани.

С трудом он погрузил отключившуюся гипножабу на эту самодельную волокушу, продёрнул трос в ушки, и ещё раз огляделся.

Снова Зона благоволила к нему – вокруг никого не было.

Не садясь на землю, он вскрыл пакет с шоколадками и, плохо их очистив, засунул в рот. Чтобы добавить эффекта, сталкер съел ещё несколько таблеток, что довольно сильно взбодрило его.

Теперь он был готов к дороге.

Наконец Палач обвязал трос вокруг груди, чтобы освободить руки, и перевесил оружие

на грудь.

Он шёл по тропе и тащил гипножабу в волокуше. Передыхая, он подошел к ней вплотную и снова поразился ее величине. Теперь цвет гипножабы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз гипножабы был таким же отрешенным, как бутылочное стекло.

Он понял, что часы гипножабы сочтены.

Действительно, он давно уже не ощущал ментального поля гипножабы. «Жаль все-таки, что я убил гипножабу, – подумал он. – Мне придется очень тяжело, а вместе было бы как-то веселее. Но я оказался сильнее гипножабы, не умнее, а сильнее. Может быть, я был просто лучше вооружен».

Роса, выпавшая на траве, помогала ему тащить корыто с умирающей гипножабой.

Но тут началось самое неприятное – везение оставило его.

Тут же он почувствовал, как рядом появились две собаки.

«Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за гипножабу, – подумал Палач, – тогда я её грохну».

Обе собаки прыгнули вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок гипножабы, Палач мгновенно выстрелил.

Другая собака уже успела поживиться и отбежать, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем как она, кинувшись на гипножабу, вцепилась в неё, Палач увидел белые лоскутья мяса, приставшие к челюстям слепой собаки.

Собака стремглав кинулась на гипножабу, и Палач убил её в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Собака так и умерла – с куском мяса в зубах.

Палач ждал, не появятся ли собаки снова, но их больше не было видно. Потом он заметил, как ещё одна из них кружит вокруг.

«Я и не рассчитывал, что могу их всех убить, – подумал Палач. – Раньше бы мог».

Ему не хотелось смотреть на гипножабу. Он знал, что половины её не стало. Пока он воевал с собаками, солнце совсем зашло.

«Я не могу сбиться с дороги. Я слишком долго здесь, и очень хорошо знаю Зону, – подумал Палач. – Волноваться за меня, впрочем, может только Мушкет. Но он-то во мне не сомневается! Я циник, но при этом понимаю, что ведь живу среди хороших людей».

Он не мог больше разговаривать с гипножабой: уж очень она была изуродована. От неё осталась только мечта. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль.

– Полгипножабы! – позвал он ее. – Бывшая гипножаба! Мне жалко, что я ушел так далеко в пути за своей мечтой. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много всякой нечисти и покалечили ещё больше. Тебе немало, верно, пришлось убить собак и людей на своем веку. А, старая? Ведь не зря у тебя вся голова в бородавках?

Ему нравилось думать о гипножабе как о союзнике, несмотря на то, что он допускал и то, что гипножаба убивала людей. Палач представлял и то, что могла бы гипножаба сделать с собакой, если бы та забрела к ней в гости на болота.

«А что мы теперь станем делать с собаками, если они придут ночью? Что ты можешь сделать? Драться, – ответил он сам себе, – драться, пока не умру».

Но в темноте не было видно ничего – ни огня, ни звезд.

Вдруг ему показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать в них боль, а значит и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи.

«У меня осталась от неё половина, – думал он. – Может быть, мне посчастливится и я доведу до дому хоть ее переднюю часть. Должно же мне наконец повезти!.. Нет, – сказал он себе. – Ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в Зону».

Не болтай глупостей, Палач! – прервал он себя. – Не спи и следи за тропой. Тебе еще может привалить счастье».

– Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают, – сказал Палач.

Он попробовал перехватить лямку поудобнее и по тому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер.

* * *

«Ну вот и все, – думал он. – Конечно, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?»

Все его тело ломило и саднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться, – подумал он. – Только бы мне больше не сражаться!»

И в полночь он сражался с чернобыльскими собаками снова – и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он слышал лишь их тяжёлое дыхание в ночи, их запах и свет, который вдруг заструился из самого тела гипножабы.

Экономя патроны, он бил щупом по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясаются салазки, когда собаки хватают гипножабу с боков.

Он отчаянно бил дубинкой по чему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как щуп наполовину обломился.

Он поднял ствол и начал стрелять, безошибочно находя врагов в темноте.

Но собаки уже набрасывались на гипножабу одна за другой и все разом, отдирая от нее куски слизистого мяса, которое вдруг начало светиться в ночи.

Пасти собак тоже светились, и он стрелял, стрелял, стрелял в эти специально для него подсвеченные мишени.

Одна из собак подбежала наконец к самой голове гипножабы, и тогда Палач понял, что все кончено. Он истратил последний патрон на неё, и собака умерла мгновенно, даже не издав рычания. Ещё одну собаку он ударил щупом, и почувствовал, как он пошёл в тело собаки. Но собака не стала нападать, бросила гипножабу и отбежала подальше. То была последняя собака из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть.

Поэтому он бросил оружие – тащить его не было сил, а боеприпасов было взять неоткуда.

Палач едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью, и на минуту Палач испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул и сказал:

– Ешьте, суки, и подавитесь! И пусть вам приснится, что вы убили человека.

Накинув капюшон на голову, он взял курс домой. Он уж не чувствовал боли от тяжести гипножабы. Теперь санки шли легко, но это было только самовнушением.

Сейчас, в ночи, он услышал, как его настигают крысы.

Собак он больше не интересовал – собаки наелись.

Теперь пришла пора крыс. Это была новая, по-другому организованная стая – они набегали волнами, и каждая хотела отхватить свой кусок гипножабы. Палач уже не обращал на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме направления и троса. Он только ощущал, как легко и свободно он движется, и только глядел, как бы не сунуться в невидимую аномалию. Пару раз он обходил их – заметив синий разряд невысоко над землёй.

Лишь однажды с сожалением он подумал, что тащить гипножабу стало легко именно потому что крысы объели её, и салазки больше не тормозит огромная тяжесть гипножабы.

Палач чувствовал, что уже ступил на знакомую дорогу. Он знал, где он находится, и добраться до дому теперь не составляло никакого труда.

Троса, на котором он тащил гипножабу, сталкер Палач уже не ощущал, хотя руки, им изрезанные, по-прежнему кровоточили.

Он подошёл к крайней точке, где батальон охраны обычно останавливал сталкеров и назвался, не сказав, а выдохнув своё имя в переговорное устройство.

Ему уже прекрасно были видны огни не только на Периметре, но и фонари научного городка. «Ветер поднимается, – подумал он, а потом добавил про себя: – Значит, скоро выброс. Будет большой выброс, и я правильно сделал, что успел с гипножабой. А Зоны не надо бояться, Зона – большая, и в ней полно всякого, и нужно просто доверять ей. А постель... – думал он, – скоро я рухну в постель, постель – мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель – это великое дело. Душ, постель, почистить зубы. А как легко становится, когда ты побеждён! Я и не знал, что это так легко... Кто же тебя победил, Палач? – спросил он себя...

– Никто, – ответил он сам себе. – Просто я слишком далеко ушел в Зону».

Когда он входил на территорию научного городка, то все огни, кроме штатных ночных не горели.

Ни одно окно не светилось – и Эрик понял, что все уже спят. Ветер непрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Напрягаясь, он подтащил то, что раньше было гипножабой на середину площадки для приёма биологического материала.

Наконец всё было кончено. Вот тогда-то он понял всю меру своей усталости. На мгновение он остановился и, оглянувшись, увидел в свете прожекторов, как огромна туша гипножабы.

Но её позвоночник был обнажён. Тело гипножабы как-то оплывало.

Она была похожа на высыхающую медузу, и он решил, что, может быть, Атос был прав.

У него был странный разговор с Атосом о том, что гипножаба, по сути, – сконцентрированный мозг. Именно мозг держит в повиновении всё тело – буквально. И с гибелью мозга тело начинает стремительно распадаться. Связь тканей стремительно теряется, они начинают течь, как вода.

Атос, как показалось тогда сталкеру, был чрезмерно увлечён идеей о силе человеческого мозга и думал, что всякие мозги, мозги любой твари таят невиданную силу.

Именно поэтому все чучела гипножаб – фальшивы. Это лишь имитации странного существа, живущего в чернобыльских болотах.

Палач не видел, что сразу двое солдат из охраны снимают его манипуляции на мобильные телефоны – ему было не до того.

Палач стал карабкаться вверх по внешней лесенке своего дома. Одолев подъем, он упал и полежал немного в коридоре. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко, и он так и остался сидеть, глядя перед собой. Мимо пробежала кошка, направляясь по своим делам, и Палач долго смотрел ей вслед; потом прикрыл глаза.

Наконец он встал. По пути к своей двери на протяжении двадцати метров коридора ему три раза пришлось отдыхать.

Войдя в комнату, он сразу двинулся к душу. Эрик долго пил воду из-под крана, пил долго и вкус этой технической воды казался ему странным, совершенно непривычным. Он разделся, вернее, просто расстегнул пуговицы и молнии, и одежда упала кучами, пачкая пол.

В душе он смотрел на своё худое тело – зеркало быстро запотело и, потеряв его, он ещё раз убедился, что в зеркале отражается именно он. Да, никакой мистики – немолодой, весь в шрамах. Спроси его сейчас – он не сказал бы даже то, при каких обстоятельствах он получил который.

Он спал, когда утром в хижину заглянул Мушкет.

В окно дул такой сильный ветер, что было понятно – скоро будет выброс.

Ветер дул так, что казалось, сейчас стекло выскочит из надёжной герметичной рамы. Олег Мушкетин сперва убедился в том, что его учитель по прозвищу Палач дышит, но потом увидел, как иссечено его лицо и руки и заплакал. Потом он тихонько вышел из комнаты и отправился в бар «Пилов».

Вокруг скелета собралось несколько сталкеров, и все они рассматривали то, что лежало на площадке для биологического материала. Один из них – ползал вокруг и мерил скелет

рулеткой.

– Как он себя чувствует? – крикнул Мушкету один из сталкеров.

– Спит, – отозвался Мушкет. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. – Не надо его тревожить.

– Зашибись, какая! Дай бог каждому! – крикнул ему сталкер, который мерил гипножабу.

– Да уж, я таких не видел, – сказал Мушкет. Он пошёл в бар и попросил собрать ему судки для Палача.

– И ещё дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару.

– Не парься, я всё соберу, – сказал ему сам Алик, для этого случая вышедший из задней комнаты. Мушкет протянул ему свою карточку, но Алик отвёл его руку: – Не надо. Это за счёт заведения, забудь. Ох, и гипножаба! – сказал Алик ему в спину, когда Мушкет уже обернулся, чтобы идти. – Прямо-таки небывалая гипножаба. Но ты и сам крутой. Наверняка поймал бы тоже.

– Ну её совсем, гипножабу! – сказал Мушкет и чуть снова не заплакал. Но перед Аликом ему совсем не хотелось этого показывать.

– Сам-то хочешь чего-нибудь выпить? – спросил его хозяин.

– Не надо, – ответил Мушкет. – Я ещё приду.

– Передай Эрику, что я ему кланяюсь.

– Спасибо, – сказал Мушкет.

Мушкет отнес в комнату Эрика термос с горячим кофе и посидел около сталкера, пока тот не проснулся. Один раз Мушкету показалось, что он просыпается, но Палач снова забылся в тяжелом сне, и Мушкет подождал ещё.

Наконец Палач проснулся.

– Лежи, не вставай, – сказал ему Мушкет. – Вот выпей!

Палач взял у него стакан и выпил кофе.

– Они одолели меня, – сказал он. – Эти мерзкие сурки меня победили. Они убили мою гипножабу, сволочи.

– Но сама-то она ведь не смогла тебя одолеть! Гипножаба ведь тебя не победила!

– Нет. Что верно, то верно. Это уж потом случилось. Меня искали?

– Да кто тебя будет искать – ты сам кого хочешь будешь искать, а если ты не найдёшь, то никто не найдёт.

– Зона велика, а человек совсем маленький, его и не заметишь, – сказал Палач. Видимо, он почувствовал, как приятно, когда есть с кем поговорить, кроме самого себя и Зоны.

– Я скучал по тебе, – внезапно сказал он. – Как тут дела?

– Дела странные. Атос хмурится, в Москве, видать, набухли какие-то неприятности. На нас объявлена охота, но непонятно кем.

– Прекрасно! Всюду жизнь, как на картине художника Ярошенко. Не бойся, мы всё это разгребём.

– Теперь мы опять будем ходить вместе.

– Нет. Мне больше не повезет. Боюсь, я заскучал.

– Да наплевать на это везение! – сказал Мушкет. – Я тебе принесу счастье.

– А что с контрактом?

– Не важно. Вместе мы горы свернём.

– Ладно, увидим. Просто я не знаю, как теперь жить без мечты. Да и снаряжения у меня теперь нет, надо наново обрастать всем, что нужно.

– Я достану. Ты пока лечись. Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно?

– Очень, – сказал Палач.

– Я принесу еду и газеты. Отдохни, Эрик. Я возьму что-нибудь у ребят в аптеке.

– Не забудь сказать Атосу, чтобы он взял себе голову гипножабы.

– Не забуду, – угрюмо ответил Мушкет, который хорошо помнил, что от головы у гипножабы остался один пустой череп.

Когда Мушкет вышел из номера, где заснул Эрик, и стал спускаться вниз по старой каменной дороге, он снова заплакал.

В этот день в гостиницу приехала группа туристов, и одна из приезжих женщин вышла гулять в страшно дорогом и совершенно бессмысленном на охраняемой территории экзоскелете. Она ходила по территории и вызывала усмешки у старожилов.

Наконец она дошла до биоплощадки и заметила среди разного мусора гигантский белый скелет.

– Что это такое? – спросила она потом бармена, показывая на длинный, но скрученный позвоночник огромной гипножабы.

Бармен сам положил на него глаз, но никак не мог придумать, как его использовать.

– Кровосос, – сказал бармен по-русски. – Кровосос. – Он хотел объяснить ей все, что произошло.

– Вот не знала, что у кровососов такой небольшой рост и странный скелет!

– Да, и я не знал, – согласился её спутник.

Наверху, в своей хижине, Палач опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил Мушкет.

Мушкету очень не нравилось прерывистое дыхание учителя, и он несколько раз перекалывал его бесчувственное тело. И вот, когда он опять запустил руку, чтобы просунуть её между спиной учителя и простынёй, его рука наткнулась на что-то твёрдое. Он ухватил этот предмет и вытащил его на свет. Это была закатанная в пластик с твёрдой подложкой старинная фотография.

Было видно, что сделали фото ещё на старинный фотоаппарат, на чёрно-белую плёнку, а потом кто-то оцифровал снимок, а потом ещё поработал над ним в графических редакторах.

Мушкет заглянул в лица запечатлённых на фотографии людей и задумался.

Мужчина, обнимавший девушку, был определённо сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач. Правда, не было у него никакого капюшона на голове, да и был он лет на двадцать моложе. Высокий, красивый, с вьющимися волосами, он обнимал молоденькую девочку.

Она показалась Мушкету странно знакомой...

Точно, это была Миледи. Та, какой она была на третьем курсе.

Мушкет перевернул фотографию и увидел, что на обороте надпечатано: «Чернобыль-4, курсовая практика, июль-август».

Миледи улыбалась на фотографии, хотя стоять ей было явно неудобно: молодой Эрик держал её явно не по-дружески. Откровенно говоря, он её просто лапал, не стесняясь объектива.

Мушкет вспомнил всё то, что говорили на факультете о жизни Миледи, вспомнил и себя самого, когда-то также снимавшегося рядом с ней, и вздохнул.

Потом он тихо подложил снимок на прежнее место.

А сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач ничего этого не чувствовал.

Он просто спал, а дыхание его было прерывисто и неровно.

Палачу снились сильные и молодые и вовсе не опасные Чернобыльские псы.

Глава восемнадцатая

Гельмут вышел на асфальт и, вскинув руку с парабеллумом, выстрелил несколько раз в ветровое стекло первой машины. И последнее, что он подумал после того, как услышал автоматную

очередь и еще перед тем, как осознал последнюю в своей жизни боль: «Я же не сказал ей, как зовут девоч...» И это его мучило еще какое-то мгновение, прежде чем он умер.

Юлиан Семёнов
«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 25 мая. Роман Гримович по прозвищу Гримо. Зеркальный автомат – как родился Калашников. Гримо как проводник правды. История с Бэкингом – гибель с крысой в обнимку. Гримо узнаёт лишнее – и, как всегда в таких случаях, появляется фигура с Капюшоном.

Гримо обходил свои владения и первым делом зашёл в лаборатории – сначала к биологам (там было пусто), а потом к физикам.

Физики, наоборот, веселились и даже выпили с утра, что было необычно.

– Что празднуете? – хмуро спросил Гримо.

– Вот что, – сказал, блеснув очками, московский контрактник, и сдёрнул со стола простыню. Там лежал автомат Калашникова – с виду обычный. Но через секунду Гримо понял, что с ним что-то не то.

Какая-то засада была с этим автоматом.

И ещё через пару секунд он осознал, что это знаменитый Инвертированный Ствол.

Его давно искали, лет пять, слухи об этом автомате ходили дурные, и на его памяти за него назначали денежные премии. Никто, разумеется, Инвертированный Ствол не принёс. Да оно и понятно – этот автомат считался заговорённым, бесовским.

Дело в том, что он был в полном смысле «левым» – рукоять затворной рамы, которую Гримо видел, была слева. И сам ствол был зеркальным отражением обычного автомата.

Учёные даже обращались к разным оружейникам по всему миру (благо «Калашникова» кто только ни производил) с вопросом, не делал ли кто левого автомата. Но нет, как бы гуманизм оружейников не простирался до создания оружия для левшей. Убивать так убивать.

Существовала версия, что автомат каким-то образом побывал в аномалии, что поменяла «право» на «лево».

Однако такие аномалии науке были неизвестны. То есть были инвертирующие точно, выворачивающие наизнанку, а вот зеркальных аномалий не наблюдалось.

Гримо поздравил физиков и пошёл к себе в кабинет.

Нужно было посмотреть свежие сообщения от полевых групп.

Сообщений не было, и это его раздражало.

Те, кто находился в маршрутах, часто говорили потом, что по необъяснимым причинам пропала связь.

В это Гримо не верил.

Собственно, радиосвязь в Зоне есть, это легенда, что в Зоне связи нет. Выгодно было говорить, что выйти в эфир или отбить текстовое нельзя.

Это придавало особую прелесть левым маршрутам в экспедиции, выгодно было время от времени отключиться – причём многим было выгодно. Сталкерам, учёным, солдатам – отключился и вне контроля.

А надо – включился.

И вертолёты летали, и всё тут было.

Но аномальность Зоны никуда не денешь, хоть связь была. Ну да – она прерывается. То надень, то на два.

Всё упирается в порядок и правила. Время от времени в контрольные сроки выходить на связь всегда можно. Дисциплина, да.

Вся жизнь ушла на то, чтобы упорядочить поток исследований.

Гримо не без оснований полагал, что без него всё остановится, и даже Атос не сумеет разгрести всю обильную документацию, которая сопровождает сейчас любые исследования.

Он считал, что незаменим, и он действительно был незаменим.

Всю жизнь он боролся с хаосом, и только теперь это стало получаться. На пространстве отчуждённой в международную собственность земли он сумел выстроить всю работу на рациональной основе.

Цифры шли к цифрам, если группу Атоса пытались обмануть, не вовремя перевести деньги или же обложить данью – Гримо пресекал это незамедлительно.

Он был бюрократ, но при этом он был настоящий вооружённый бюрократ.

Гримо ходил в Зону сам, и, как ни странно, ходить с ним любили. Выходы его обычно оканчивались ничем, но ни разу никто в его группе не покалечился, не говоря уж о том, что не было трупов.

Служба у него была поставлена замечательно – всё делалось по инструкции. Инструкции, правда, не предполагали наличие результата.

Но каждый раз охотников идти с ним было множество – за каждый выход хорошо платили, и прогуляться с Гримо было одно удовольствие (если вообще можно так говорить о выходах в Зону).

Деньги шли, и Атос обычно использовал своего заместителя, чтобы оприходовать какие-то зависшие средства, а также на тех площадках, где вряд ли что можно было найти.

Но эти места тоже нужно было осматривать – просто для чистоты эксперимента.

Но с недавнего времени отчётность Гримо не нравилась – Атос разбрасывался.

Мудрый администратор, Гримо мог легко прикрыть прекрасной отчётностью совершенно разнообразные эксперименты. Надо было, он прикрыл бы препарирование христианских младенцев.

Но этого, разумеется, было не надо.

В Зоне много экспериментировали: считалось, что бюреры и контролёры – как раз следы экспериментов разного рода весёлых докторов.

Гримо застал время до принятия Первого межгосударственного соглашения, когда было запрещено экспериментировать над мутантами, бывшими людьми или вероятно бывшими людьми. Гуманное политкорректное законодательство разрешало их убивать – в случае непосредственной угрозы для жизни. Но вот препарировать – ни-ни. Это было дурацкое правило, но это было правило, которое Гримо уважал.

Если не уважать правила, придуманные людьми для Зоны, то нужно было принять правила для людей, придуманные Зоной. А такой расклад Гримо очень не нравился.

Поэтому он, скрепя сердце, прикрывал Атоса, когда он стал заказывать сталкерам бюреров и контролёров.

Это было абсолютно фантастическим предложением, о нём много судачили.

Самой частой реакцией было: «Нашли дураков!». Дураков не нашли – хотя один сталкер по кличке Лодочник, здоровый как бык, притащил было контролёра на себе. Лодочник был раньше моряком, ходил по Припяти и, если прижимало время, сам разгружал свой катер. Он привык к переноске тяжестей – одна беда, когда он охотился на контролёра, то первым делом выстрелил ему в голову. Оттого контролёр был замечательный, но в голове была круглая сквозная дырка, которая вкупе с большими оттопыренными ушами придавала дохлону контролёру комический вид.

Атос заплатил Лодочнику утешительную премию, указав на условия доставки настоящего товара.

Объявления о покупке дохлых контролёров в холле научного городка (и заодно – и в баре «Пилов») провисели недолго. Нагрянули проверяющие, да не в единичном числе.

Однако Гримо знал, что в полном объёме это вознаграждение было уплачено как минимум три раза. Именно он, Гримо, проводил эти деньги – неофициальным способом, разумеется.

Атоса интересовали неповреждённые мозги, и это притом, что он стал заниматься бюрерами ещё в то время, когда в бюреров ещё никто не верил.

Фотографии монстра разнились, веры им не было, но Атос как-то сумел отличить настоящего бюрера от других трупов, которые ему подсовывали. Он по секрету сказал (Гримо больше нравилось выражение «довёл до сведения»), что никакой веры в то, что бюреры – результат генетических экспериментов, нет. Это всё, сказал Атос, сказки – какие-то эксперименты над осужденными, что вели военные, были, но создать бюрера они не могли. Бюрер, как и контролёр, были продуктами Зоны – хотя и полученными Зоной из брошенного военными человеческого материала.

Бюрер был специалистом по телекинезу и в живом виде умел лихо швыряться предметами, попавшими ему под руку.

Гримо стоял вместе с Атосом, когда сталкер-проводник по кличке Палач притащил в волокуше почти целый труп бюрера.

Он лежал отдельно, его даже не стали заносить на площадку для приёма биологического материала.

В своём истлевшем комбинезоне, с оплывшим лицом, бюрер в свете фонариков был похож на пьяного техника, которого после длительного запоя извлекли откуда-то из канавы.

Видел Гримо и то, как Атос принимал контролёров. Контролёра старались убить с дальних дистанций, учитывая то, что он обладает высокими телепатическими способностями. Поэтому целых контролёров было ещё меньше, чем бюреров.

Атос сумел доказать, что не только бюреры превращаются в контролёров, а контролёры в некоторых случаях могут превратиться в бюреров.

Причём оказалось, что речевой аппарат одинаково хорошо развит и у тех, и у других.

Атос пытался понять, отчего эти твари не любят солнечного света, и пришёл к парадоксальным результатам, но тут уж Гримо не интересовался подробностями.

Это всё было гадко и грязно и далеко от того порядка, который выстраивал Гримо вокруг себя.

Сталкеры рассказывали, как им удавалось беседовать с контролёрами, и те давали им советы на манер древних оракулов. Кто-то и вовсе утверждал, что видел контролёра, что пытался оставить какие-то надписи на стенах. Гримо не верил в эти истории – сталкеры, особенно после пережитого страха, всегда были горазды приврать. Например, всё тот же Лодочник пытался рассказать Гримо, видимо, перепутав его с кем-то другим, про гладиаторские бои зомби.

Лодочник рассказывал, что два контролёра устроили бои зомби в Гнилой Котловине, и раз за разом сталкивали своих подопечных в одиночных и групповых боях, да так, что бывшие люди дубасили друг друга своими же оторванными конечностями.

Но Гримо таких сказок не любил и быстро окоротил этого сталкера.

А теперь Атос стал заниматься чем-то другим, куда более неприятным его заместителю. Он стал заниматься финансами – он начал проверять финансовые операции, что Гримо не понравилось.

Не нравился ему и зоолог Кравец. Кравец был негодяй и стукач. Если бы Гримо что-то не понравилось, или он считал, что совершено преступление, то он честно написал бы рапорт.

Кравец стучал всем и на всех – это был прирождённый стукач. И внутри Кравца горело желание доносить, соединённое с каким-то паническим страхом.

Но при этом Кравец был глуп, и его быстро вычисляли. Когда Кравец стал писать письма о нецелевом расходовании средств, Гримо предложил Атосу его выгнать. Выгнать стукача было несложно, контракты были составлены так, что любого из учёных можно было выслать из научного городка с минимальными потерями.

Однако Атос запретил ему это сделать.

Атос сказал, что стукач обязательно должен быть и он неприкосновенен, и явный стукач куда лучше стукача неизвестного, который совершает неожиданные поступки.

Неожиданный поступок совершил в прошлом году старый учёный Трухин. Трухин неожиданно умер, но в смерти вообще много неожиданного. Не то удивило Гримо, его

удивило то, что бумаги Трухина и его имущество приехали описывать и вывозить украинский полицейский и ещё какой-то непонятный человек, для которого ни русский, ни украинский языки явно не были родными.

А теперь, с раздражением думал Гримо, к ним будто кто-то присматривается.

Кто-то с большой властью и явно не государственными деньгами пытался влезть в их дела. Гримо то обнаруживал несанкционированные проникновения в компьютеры (окончившиеся, впрочем, ничем), то учёные говорили о том, что на них охотятся в Зоне.

Кому-то группа Атоса мешала, а Гримо был солдат, *он был без лести предан*, как настоящий оруженосец.

Гримо был готов умереть и за группу, и за Атоса лично.

И вот только сегодня он стал понимать, что, собственно, происходит.

Ключом стали два письма, которые на их центральном компьютере упали в спам, вместо того чтобы отправиться в ящик адресата. А спам Гримо просматривал перед удалением, он бы ничего и не удалял, но для того, чтобы хранить спам, он всё же был недостаточный параноик.

И вот эти два письма стали тем хвостиком, за который лису вытаскивают из норы, той ниточкой, дёрнув за которую можно распустить весь свитер.

Через некоторое время Гримо сделал несколько открытий – немного тревожных, но вовсе не ужасных.

И вот сегодня он случайно решил вернуться в свой кабинет.

А кабинет оказался не заперт, он ещё на лестнице понял, что кабинет не заперт, он, чёрт побери, не заперт! У него, Гримо, кабинет не заперт! Этого быть не может!

Что-то не так.

Он рванул дверь на себя.

Ветер разметал бумаги на столе – и, о ужас, среди них были тщательно подобранные оригиналы, которые ещё не были даже заведены в базу.

Но самое безобразное было не в этом.

В его кабинете, в святая святых, был посторонний – человек в надвинутом подбородок капюшоне. Ку-клукс-клановец какой-то!

Человек в капюшоне внутри лаборатории.

Он стал подкрадываться, когда человек обернулся и сдёрнул капюшон.

Гримо протянул руку, чтобы схватить человека, но так и не успел дотянуться.

Тут же полыхнуло белым.

Удивлённое выражение не успело сползти с лица. И первым делом он подумал о бумагах, которые сдуло со стола сквозняком.

Ведь это же важные докуме...

Через шесть часов Виктор Неделько, майор СБУ, который никогда тут не носил формы, сидел перед монитором и, воткнув в компьютер флэшку, в двадцатый раз просматривал ролик.

Флэшку ему принёс Кравец, сказав, что он боится пересылать файл.

Неделько не любил Кравца, это был человеческий мусор, но дело было серьёзное. В зоне его ответственности был труп. Пусть это международная территория, но это его, Неделько, зона.

Он ещё отмотал ролик обратно, и увидел, как склоняется над клавиатурой человек в капюшоне. Он был настолько узнаваем, что ему даже не нужно было оборачиваться.

Сталкер-прибалт обернулся и в руке его на мгновение появился огненный шар – он возник три раза, и скучный бюрократ по прозвищу Гримо завалился на бок.

С настоящим хладнокровием сталкера, прибалт снова повернулся к клавиатуре и продолжил набирать что-то.

И только закончив работу, он покинул кадр.

Неделько с трудом верил, что сталкер-проводник по кличке Палач мог застрелить

человека прямо в научном городке. Про этого сталкера ходило много слухов, в том числе и то, что он может убивать на расстоянии, но этому майор не верил.

Это – лишнее.

Очень, очень жаль, что сталкер не свёл свои счёты внутри Периметра. Майор симпатизировал сталкеру-проводнику Эрику Калыньшу по кличке Палач, а вот заместителя начальника группы «RuCosmetics» он не любил. Этого заместителя за глаза звали «завхоз», и большего он не заслуживал.

Майор не был удивлён убийством, в своей жизни он много видел смертей, и смертей по большей части насильственных. Таково свойство профессии: большинство мёртвых тел, что видит обычный человек, принадлежат тем, кто умер от старости или болезней, и лишь немногие погибли как-то иначе. А у майора было всё наоборот.

Но Неделько раздражала бессмысленность этого убийства – главное, непонятно, зачем сталкер-проводник Эрик Калыньш пошёл к чужому компьютеру. Порнуху скачивать? Торговать на электронном аукционе найденным артефактом? Всё не то, не так, всё бессмысленно и глупо.

Усложняло ситуацию то, что господин Гольцев, начальник русской группы, который откликался на кличку Атос, ничего не знал о смерти своего заместителя, потому что этим же утром вышел в Зону на согласованный плановый маршрут и никто не знает, когда он вернётся.

Связи с ним нет, и отчитывается он только на самом верху.

При этом сам сталкер-проводник Эрик Калыньш по прозвищу Палач пересёк границу Периметра двумя часами раньше, предъявив пропуск, подписанный тем же господином Гольцевым.

Как описать случившееся в ежедневной сводке, как грамотно расставить в ней акценты, Неделько не понимал.

Глава девятнадцатая

Зона у 30 мая. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Никчемный тонет, а темный спасает. Движение по Зоне – и доньне скрытые силы. Бросок наёмников. Почувствуй себя Холтоффом.

Мы приближались к краю болот.

Вдали виднелась волнистая кромка леса, словно вырезанная из чёрной бумаги каким-нибудь школьником – какое-то явно рукотворное сооружение, больше похожее на решётчатую башню, наклонившись, стояло на унылом сером холме с зазубренной вершиной.

Атос остановился и, достав бинокль, стал всматриваться в пейзаж.

Мы переводили дух, а два военных сталкера угрюмо глядели на нас. Третий, тяжело гружённый, будто ослик, ведомый жестоким хозяином, стоял, наклонившись, и пытался, отдыхая.

Впереди, за пределами мирного и сравнительно спокойного края, темнея на горизонте вечернего неба, вырисовывалась сумрачная линия торфяных болот, прерываемая острыми вершинами зловещих гигантских елей.

Перед нами поднималось безлесное крутое взгорье, поросшее вереском, – первый предвестник близости болот. На вершине этого взгорья стояли, словно двое часовых, два пограничных столба.

Трое военных сталкеров сопровождали нашу группу, причём Кравец заставил самого молодого из них тащить на себе контейнер со своей аппаратурой. Вообще-то это не полагалось, военные сталкеры обеспечивали только безопасность, но, судя по всему, были не прочь подзаработать, тем более что выручкой молодому явно пришлось поделиться со старшими.

Лес сменился разреженными рощами, местность шла под уклон, и вот уже перед нами

выросли несколько столбов.

Раньше на них, отделяющих условную зону болот от остальной Зоны, кто-то установил вебкамеры, но они вышли из строя через неделю. Вместо одной из них вырос огромный серый кокон, похожий на осиный улей. Что там внутри за осы жили, даже и думать не хотелось.

Из-за этого осиного гнезда столб был похож на гигантский чупа-чупс.

Вторая камера была просто разбита – так, по-честному разбита, без всяких мистических выкрутасов.

Проходя мимо осиного гнезда, которое вблизи оказалось метра два в диаметре, я вспомнил старый совет, который мы теперь нарушали: «Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот».

Вечером мы встали на тропу и прошли между двумя зеркалами чёрной воды, а затем стали то подниматься на гребни между трясинной, то спускаться с них.

Наконец мы остановились на какой-то точке, понятной только Атосу, Кравцу и Базэну. Они привязали пункт к карте при помощи GPS и начали прыгать вокруг контейнера.

Контейнер представлял собой довольно странный предмет.

Загрузив внутренние программы, он выпустил шесть паучьих ножек с широкими подушечками на концах и начал движение.

– Сигнал? Есть сигнал?

– Есть... Нет, сигнал неустойчивый. Стоп. Есть сигнал...

Молодой сержант, которому этот ящик, видимо, сильно намял спину, смотрел на движение механического паука с радостью. Было понятно, что он до чрезвычайности рад тому, что этот аппарат останется на болотах.

Но удача через некоторое время оставила нас.

Всего через полчаса, когда мы продолжили маршрут, Мушкет оступился и, как куль, повалился в трясину. Причём он сразу начал тонуть – и из-за оружия, тяжёлого рюкзака, и из-за того, что свалился со склона спиной вниз.

Вокруг были какие-то очень неприятные, на вид скользкие кусты, стволы которых казались покрытыми какой-то слизью, но всё равно Мушкет не успел за них уцепиться.

Болото менялось, с каждым шагом всё выглядело несколько иначе. Я обратил внимание, как изменился цвет воды – Мушкет бултыхался уже не в чёрном травяном настое, а в какой-то зелёной тине.

И тут первым на помощь нашему другу пришёл Атос. Он и стоял поближе, да и был посильнее, чем Кравец, бывший рядом. Пока я скидывал рюкзак и искал страховочный фал, он всё успел сделать.

Атос среагировал мгновенно: подпрыгнув, он вцепился в сук, и своим весом выломал его. Потом начал медленно приближаться к Мушкету, держа эту дырину наготове.

Он провалился – но не страшно, смертельно, а в лужу обычной воды. Несмотря на опасность, было удивительно красиво, как он перемещался – точными, чёткими движениями, в которых не было ничего лишнего.

Ошалевший наш товарищ схватился за деревяшку, как за материнскую руку.

Атос подтянул его к берегу и вытащил.

Я заглянул ему в глаза.

Мы обменялись несколькими фразами, так и не открыв рты.

«Так-то, значит, – внутренне смеясь, говорил я, – значит, утопишь нашего бессмысленного Олежку? Прямо так вот и утопишь? Не надо притворяться зоологом фон Кореном из чеховской повести, меня не обманешь». А он как бы отвечал: «Это ничего не меняет, ровным счётом ни-че-го. Я всё равно прав».

Мы вышли на сухое, каменистое место.

Что-то в отдалении ухнуло, и я поёжился.

– Трясина иной раз издаёт очень странные звуки. То ли это ил оседает, то ли вода

поднимается на поверхность, то ли еще что, кто знает? – процитировал Мушкет, глядя мне в глаза, а потом подмигнул.

Базэн, оказавшийся рядом, добавил:

– Вы, Сергей Иванович, слышали, как поёт дрофа? Дрофа птица очень интересная, немного похожа на фазана, впрочем, конечно, не похожа, но не в этом суть. Дрофа кричит так, что самому страшному существу из здешних сказок станет тошно. Дарт Вейдер позавидовал бы этой дрофе.

Алекс Янг тут приезжал описывать тутошнюю дрофу, так пришёл в чистый восторг – она тут ни на что не похожа.

Солнце уже пряталось, и небо на западе горело красным золотом. Отсветы заката ложились рыжими пятнами на разводья – зрелище было редким, потому что по большей части небо на Зоне затянуто тучами.

Эта погода была, по всей видимости, следствием недавнего выброса.

Зона обновлялась, сбрасывала с себя старую кожу.

Я заметил, что Атос категорически избегает ночёвок в развалинах. А так-то человека тянет к руинам, он скорее разложит спальник в брошенном доме, чем в кустах – так говорил мне Мушкет.

Впрочем, так мне говорили и мои же собственные желания. А вот у Атоса была своя стратегия – он выбирал укромное место между аномалиями, развешивал растяжки и ставил сигнальные мины. Как-то он не любил брошенного человеческого жилья, будто единожды проклятого.

Ну и ладно – мне при моей походной жизни в юности было не привыкать, да и остальным тоже. Только Кравец бухтел, что рядом старый бункер вольных сталкеров, в котором давно никого не было.

Это был бункер спецсвязи, в подвале которого была точка для проверки секретного кабеля. Кабель там оставался до сих пор – потому что тащить с Зоны медь, к которой каждый будет принохиваться, было себе дороже. Нормальному сталкеру было проще тащить на себе несколько пустышек, чем клубок меди – понятное дело.

Но его никто не слушал, и Кравец потихоньку протух сам.

Спали по очереди, впрочем, Атос, кажется, вовсе не спал. Золотой вечерний свет исчез и сменился рыхлым серым сумраком. Было ужасно тихо, но не верил я этому спокойствию, а «расширенный» головной мозг говорил, что везде идёт жизнь, и эта пустота скрывает много неприятностей. Меня немного трясло – я всё никак не мог привыкнуть к работе своей головы. Интересно, как получалось переключать режимы жизни у супермена – вот он видит катастрофу и забегает за угол. Вот что он там делает: медитирует по-быстрому? Переводит какой-нибудь переключатель в положение «вкл»? Мне-то как этому обучиться?

И посоветоваться было не с кем.

Вот я услышал, как в темноте, но чрезвычайно хорошо ориентируясь, идёт одинокий человек – это был именно человек, не какая-то нечисть. Слышал я его очень хорошо, несмотря на то, что между нами было полтора километра. Вот камень попал ему под каблук. Еще раз... еще... шаги все ближе, ближе... А вот он начал поворачивать в сторону и удаляться.

А вот, тяжело дыша, из леса вышла стая кабанов. До них тоже было довольно далеко, но я явственно ощущал дыхание каждого, то, как они поводят головами, переминаются и готовятся к бегу.

По ложбине пополз белый туман, и я ещё раз поразился тому, как грамотно Атос выбрал место ночёвки – туман двигался, будто река по узкой ложбине, не выходя из берегов. Спать в этом тумане с болот было смерти подобно – во всех инструкциях было написано, что и находиться в нём без противогаза и универсального защитного костюма нельзя.

А теперь этот туман, будто живая река, обтекал холм, на котором мы расположились.

И вот там, в глубине тумана я услышал мерный, дробный топот. Это бежал

чернобыльский пёс-одиночка, страшный, будто собака Баскервилей. Это была собака, огромная, черная как смоль – видимо, давно бросившая стаю. Чудовище остановилось в тумане – видать, только оно могло принохиваться в ядовитом воздухе, и я протянул руку к автомату. Никто, кажется, кроме меня, не слышал этого – между нами и псом было метров пятьсот.

Но и пёс, вдруг испугавшись чего-то, заскулил, и прыжками умчался в сторону.

Я снова вспомнил наставление из странной легенды, которую мы все читали в детстве: «Остерегайтесь выходить на торфяные болота ночью, когда злые силы властвуют безраздельно». Силы тут властвовали безраздельно, но при этом я не был уже уверен, силами ли зла они были – возможно это был единый организм, в котором шли разные процессы, один опережал другой, потом замедлялся, и снова первый брал верх. Просто человек был чужим, инородным телом в этой экосистеме, и вот поэтому на него набрасывались будто лимфоциты какие-то существа – каждый раз разные, просто из тех, что были у организма под рукой.

А мы строили научные теории, подкрепляли их статистикой и индексами агрессивности и активности.

Я проснулся от того, что два военных сталкера беззлобно переругивались, обсуждая историю стрелкового оружия.

– Вот возьми господина лейтенанта. У него всё не по уставу, зато всё круто! Это ж круто! У него же «Бенелли М4»! Это ж тактическое ружьё, оно хрен знает, сколько стоит! Его знаешь, кто получает? Спецназ и морпехи всякие.

Его товарищ отвечал что-то невнятное, и видно было, что он согласен, что – круто, но бывают ли стратегические ружья?..

– Меня, брат, знаешь, что раздражает? – начал бормотать первый. – Кольта считают создателем знаменитых револьверов, а на самом деле Кольт никогда не был конструктором, а был удачливый капиталист, как бы у нас сказали, организатор производства. Он ведь придумал удивительную систему рекламы и сбыта стреляющего продукта.

Они обсуждали пистолет Макарова.

– ПСМ... Ну, что касается боеприпасов, то Советский Союз как обычно сделал стандартным такой патрон, который больше нигде и никем не используется.

– Хера? Это что, видимо, без учёта той половины мира, которая таскала ПМ в карманах и кобурах.

– Знаешь, в чём я расписывался? Я про сдачу «Стечкина» расписывался. Там знаешь, что написано было перед приказом о сдаче: «Как и все подобные модификации, пистолет „Стечкин“ оказался неудачным»... Вот что там написано.

– После этого чего ожидать? Что напишут про неугодовскую модель АПСБ?.. – забубнил что-то невидимый голос на полтона ниже.

– «Люгер», производитель Stoeper Industries! «Парабеллум» – это только в Германии!.. А в англоговорящих странах их называют «люгер»! «Люгер», слышишь, «люгер»!

Они встали раньше всех и, по-прежнему переругиваясь, отправились отливать в кусты, борясь с утренней эрекцией.

– Ерунда, помнишь своё допризывное время? Я в военкомате, на комиссии медицинской, в хирургической у симпатичной такой военврачихи стою с хреном в кулаке, перевозбудился, конечно, она трусые велела приспустить, ясен перец, а там этот боец во всей красе, смутился, дурак, чего-то, покраснел, в смысле я, на лицо. Дамочка к умывальнику отправляет, смочи, мол, головку, сорванец... Я подошел к умывальнику и окунул под струю холодную голову, в смысле ту, на которой пилотку предстоит носить...

– А мне всё время рассказывали историю про стакан с водой, который там на столе должен был стоять. Я как пришёл, сразу увидел стакан перед военкомом. Ну, думаю, не дотянуться, если что. А он подвинул к себе стакан и глотнёт! Ну, думаю, извращенец.

– Так мне один одноклассник про этот стакан с недоумением сказал: «А если не

влезет». Беда, в общем.

«Хорошая у нас охрана, – подумал я. – Правильные мысли у них. И текут в правильном направлении. Стволы и члены. Это очень хорошо. Когда охрана стихами и интегралами интересуется, жди беды».

Мы наскоро собрались и без завтрака, на одном сухпае продолжили путь.

...Между двумя холмиками лежало небольшое озеро.

Было оно будто перенесено сюда из другого мира, нормального мира. Озеро это было кристально чистое, такое, что было видно все неровности дна. Кравец стал сразу приплясывать и притоптывать – сразу можно было догадаться, что это его тема.

– Что тут? – спросил я Мушкета. Чтобы не связываться с англоязычным Кравцем.

– А тут, Серёжа, у нас активный ил. Тут наша прелес-с-сть, тут у нас жизнедеятельные бактерии, некоторые корненожки, инфузории, коловратки и черви. Что у нас сюда не попадёт, либо адсорбируется, либо само становится элементами активного ила.

– А почему только здесь?

– А вот это тайна великая есть. Как и вся жизнь на Зоне. Ты не обманывайся эстетикой – в этой красоте есть, конечно, своя прелес-с-сть, да только ты сунь туда палец и поддержи немного. И не будет у тебя пальца.

Потому как он станет частью активного ила, как и всё, что туда упадёт.

Я однажды тут зимой видел, как на лёд такого озера выбежала крыса. Крысы вообще существа осторожные, а здешние – осторожны вдвойне. Но та крыса зачем-то выбежала-таки на лёд и тут же провалилась. Я вижу – она выбраться пытается, а хвост и задние лапки под водой тают и тают. Причём сама крыса этого не замечает, ну и исчезла крыса-то по частям.

И снова вода чистая – и ледок. Ледок не затягивается. Потому что температура в таких озерах особая.

Потом мы пришли и начали опускать препараты на верёвке – ничего, никакой реакции. Понимай, как хочешь – то ли избирательная активность, то ли разные периоды жизненного цикла...

Мушкета вдруг пробило на воспоминания:

– Знаешь, был такой Армен Гибарян – он занимался Зоной ещё до распада Союза. Он покончил с собой в 1992 году – вряд ли по политическим соображениям. Видимо, что-то личное.

Так вот у него была теория существования Зоны как испытания для человечества.

То есть, Зона в его представлении была таким единым организмом, но организмом совершенно служебным, созданным для изучения человечества.

То есть всё внутри Зоны – это продукт нашей вины. Мы забываем своё Предназначение, то есть, знаешь, именно Предназначение с большой буквы «П», не конкретно-религиозное, а именно Предназначение, которое бы устраивало верующих всех религий.

Ведь во всех религиях базовые ценности в общем-то одни.

Я вот, к примеру, не знаю какой-нибудь веры, что проповедовала смерть от обжорства как самоцель.

Между тем треть человечества лечится от ожирения. Ну, ты понимаешь...

И вот Гибарян считал, что Зона как бы отражает нашу вину – наши страхи и чаяния. Причём учение Гибаряна эволюционировало – сначала он считал, что это просто наказание Господне – за наши грехи. Потом он думал, что кто-то, возможно Бог, коллекционирует человеческие желания, которые загадывают люди, отправляясь в Зону. Не важно, считал Гибарян, достигли ли путешественники Монолита, или погибли по дороге, важно другое – что и как они загадали, какие желания были для них выстраданными, ну и в последнюю очередь, интересно, конечно, насколько они продвинулись в этом аду к точке исполнения. Но это именно что в последнюю очередь.

И уже после смерти Гибаряна вышли его «Записки». «Записки» – это было

придуманное название, потому что Гибарян своему дневнику, или, вернее, своей записной книжке, никакого названия не дал. Это была просто книжечка, которую он сам, правда, набрал на стареньком компьютере РС ХТ в текстовом процессоре Lexicon. Гибарян очень старался, потому что в тот момент уже, видимо, решил, что покончит с собой.

Причём текст этот составлен так, что у него нет ни начала, ни конца – наверное, специально.

Там Гибарян утверждал, что Зона есть отражение всего того, что содержится в голове человека. И если сначала всё человечество боялось ядерной войны, то главным в Зоне была радиация и физические аномалии. Потом началось наше новое Средневековье и люди как в прежние века стали больше бояться всяких уродов и монстров, существ с песьими головами и драконов. Вот в Зоне и возникли кровососы и прочие зомби.

Ему возражали, что за эти годы просто возникли устойчивые формы мутации, но фокус Гибаряна был в том, что он ни с кем не спорил. Он писал так, будто знал наверняка, будто ему было откровение и всё давно известно.

Ну, примерно так, как если бы какой-нибудь мой знакомый проснулся раньше всех. А потом за завтраком описывал, как красив рассвет. Что мы, будем сомневаться, что бывают рассветы? По-моему, никто не сомневается.

Сперва текст Гибаряна никто не заметил, а потом он пришёлся ко двору множеству сектантов. Они прямо молились на мёртвого Гибаряна – изрыли ему всю могилу, когда брали землю по шепотке. Но это уже очень скучная и неинтересная история, потому что в ней нет ничего удивительного.

Это такой стандартный путь сектантов – и люди, которые ими занимаются, описали поведение секты с точностью до дня. Они описывали его точь-в-точь как поведение растения – вот оно развивается, вот у него расцвет. Вот зрелось, а вот засохло... Короче говоря, через пять лет все эти гибаряновцы разбрелись кто куда, стотысячные тиражи «Записок» меланхолично переработали в макулатуру – ну, не знаю, может в полтиража семечки заворачивали. В общем, сик транзит gloria, извините, мунди.

Но я Гибаряна читал внимательно, и оказалось, что не всё так глупо и примитивно, как казалось множеству его последователей.

Он ведь был очень хороший биолог и к тому же математик. Очень талантливый человек и вовсе не с истерическим складом ума, как бывает у некоторых гениев. Его безумие, если оно было безумием, было вполне счислено.

Сейчас уже многие воспринимают Зону как единый организм – причём такой, что действует циклически: от выброса к выбросу. И этот организм развивается по своим законам – у нас сейчас нет сомнения в том, что если бы Зоне было необходимо, то Периметр бы она прорвала легко.

Собственно, во время броска на Киев это и случилось, но после того, как прорыв осуществился, дело кончилось ничем. Ну да, положили, как это у нас водится, кучу народу во время обороны. (У «нас» – это я вообще человечество имею в виду, это ведь не национальная традиция, а вполне интернациональная – бросить каких-нибудь молоденьких солдат, чтобы они затыкали дыры.) Я до сих пор думаю, что дело не в том фантастическом похолодании, которым объясняют окончание прорыва. То есть, похолодание было, и было невероятным для конца августа, таким невероятным, что могло быть вызвано только самой Зоной. Так просто до восемнадцати градусов температура не падает. Я-то помню эти танки в августовском снегу, и примороженных зомби, что веером лежали вокруг, как караси в сметане. Тогда не сразу поняли, что большая часть порождений Зоны предпочитает комфортную среднюю температуру и передохнут сразу же за Периметром.

Потом похолодание прошло, осталась только сырость и опасность эпидемий. Но все твари за Периметром были мертвы. Это дело мемуаристов спорить о том, остановили ли войска вторжение или оно прекратилось само. На военно-исторических форумах ветки обсуждений содержат по десяти тысяч комментариев, но итог был один: уж что-что, но эпидемии не было благодаря армии.

Но всё произошедшее хорошо ложилось в концепцию Гибаряна. Никакое порождение Зоны сильно дальше Периметра жить не может. Обычно приводят в пример съехавших с ума богатеев, которые вывозили из Зоны черномыльских псов, чтобы устраивать собачьи бои. Все думали, что главным препятствием будут санитарные кордоны и Первое межгосударственное соглашение, а оказалось, что главным препятствием была природа – все эти черномыльские псы передохли. По разным, как тогда казалось, причинам, но я-то думаю, что причина была не в пище или вирусах, а в том, что тварь из Зоны вне Зоны жить не может.

И вот Зона живёт, пульсирует, выполняет какое-то своё предназначение. И если прав Гибарян, она аккумулирует знания о человечестве – что оно, бессознательное и тупое человечество, о себе думает и что оно бессознательно желает.

– Пойдём снимать урожай, – сказал Атос. – Урожая у нас немного, только ходить поодиночке тут нельзя. Будем страховать друг друга.

Мы оставили группу и пошли краем торфяного болота мимо столбов белого пара, вырывающихся из-под земли. Это был подземный пожар, длившийся десятилетиями. Возможно, он начался сам собой, от какой-то естественной причины. А может, это был след давней, совершенно безумной попытки драться с порождениями Зоны при помощи миномётов и регулярной армии.

Тушить это невозможно – дело в том, что пожар тут же покрывается как бы защитной битумной оболочкой и вода просто не достигает огня.

Теперь уже было не понять точного пути пожара.

Оставалось только следить за дорогой. Ведь при торфяном пожаре под поверхностью образуются выгоревшие пустоты. Провалишься в такую, и никакая аномалия уже не понадобится.

Уйдёшь просто в ад, как и положено при нашей грешной жизни.

Ну, мне-то положено, а остальные как-то не очень виноваты.

Я шёл и размышлял о том, что теперь у меня есть тайна даже от близкого друга, никому я не могу пока сказать, что у меня в голове. Теперь нужно долго учиться обращению с этой начинкой, столько лет спавшей внутри черепа, и вот тут внезапно заработавшей.

Атос шёл позади меня.

– Скоро всё кончится, – сказал он. – Скоро не надо будет бегать. Я почти договорился...

Дыхание его было всё ближе.

И тут вдруг мгновенное тепло ударило меня в затылок, и я мгновенно потерял сознание. То есть, сознания я не потерял, но явно было, что часть мозга у меня заторможена.

Наверху, надо мной, кто-то сказал:

– В лесу и на кладбище есть только одна опасность – человек. И этот человек – я.

Глава двадцатая

Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле...

Иосиф Сталин

Из письма к Франклину Рузвельту

Москва, 29 мая. Анвар Мухаметшин по прозвищу д'Артаньян. Работа в Конторе – чаще всего конторская работа. Случай с мышью не остаётся незамеченным. Мы все давно под колпаком – но у кого? Кому мешают учёные?

Отчего-то я понял, что тут дело неладно. Но это был рядовой эпизод – с Зоны приехал научный сотрудник «RuCosmetics», умер от инфаркта в метро. Захрипел, схватился за сердце, вызвали «Скорую».

Но странным оказалось то, что в специальном контейнере он вёз лабораторную мышь.

Вывоз биологического материала с Зоны запрещён Первым межгосударственным соглашением, и учёные это, в общем, соблюдают. Никто не хочет лишиться своего места, контракта и платить неустойку. Туристы, бывает, что-то провозят, но не могут удержаться – хвастаются, тут-то их и берут за цугундер. Был ещё случай, когда пытались вывезти слепых собак для бойцовых турниров, да тоже ничего не вышло.

Но когда немолодой человек везёт в спецконтейнере лабораторную мышь, явно делает это не для того, чтобы похоронить зверька на своей даче. Можно по-разному проявлять любовь к животным, но такого я что-то не припомню.

Мышь исчезла в недрах органов, и через некоторое время нам спустили оперативную разработку.

Предчувствия меня не обманули – я сразу понял, почему меня включили в группу. Одним из фигурантов оказался мой приятель Атос. С экрана на меня глядело ничуть не изменившееся лицо – одно было хорошо, что интригу затеял не мой бывший однокурсник, а затеяли её против него.

Да и покойник из метро был мне хорошо знаком, хоть я и не видел его много лет.

Бедный, бедный профессор Трухин! Ему наш Атос представлялся чем-то вроде доктора Моро. Ну как же, препарирование монстров, гальванизация трупов и проникновение в тайны сознания.

Но он сам-то, сам чем занимался он при Маракине? Ровно тем же – и маракинская дочь до сих пор сидит за запорами в аккуратном доме, где стёкла не бьются, как по ним ни лупи.

Бедный Трухин стал искать управу на нашего Атоса и нашёл её в Комитете по этике и тех долбодятлах, что сидят в ООН по обеспечению безопасности вокруг Зоны. Он стал писать им, и ничего хорошего из этого не вышло.

Этим шустрым ребятам вовсе не была нужна этика – им были нужны сведения, потом им была нужна крыса, умеющая считать, а потом им был нужен Атос.

Но Атос хотел продать себя подороже, а несчастные крысы дохли.

Перед ними клали шесть спичек, и мозг их взрывался на пятой. Не выдерживал маленький крысиный мозг этого напряжения и сразу же происходило кровоизлияние.

И вот бедный милый идеалист Трухин повёз на встречу со своими корреспондентами дохлую крысу. Но у него случилось ровно то же самое, что у несчастного животного с розовым хвостом: у него произошло кровоизлияние в мозг. Произошло по совершенно другим причинам, тем, что ошибочно называются «старость».

Голова его билась о кожзаменитель сиденья, а какая-то женщина в вагоне визжала от ужаса. Поезд остановили и профессора, накрытого простынёй, с трудом поднимали по эскалатору.

Всё это было ужасно глупо, и ещё глупее было оттого, что несчастного профессора всё равно бы убрали. С его идеализмом и старческой болтливостью он всё равно не прожил бы долго.

Итак, мы начали работать по группе Атоса.

Из соображений секретности никому из фигурантов ничего не сказали – их дела были в оперативной разработке.

У Атоса было множество возможностей как нелегально, так и прикрываясь разными бумагами вывезти эту мышь из Зоны, и ясно, что такой аккуратист, как он, на всякий чих имеет справку.

Очевидно, что за ним шпионили.

Вопрос – кто? Семь месяцев мы перетряхивали конкурентов, потенциальных мстителей и недоброжелателей. Ничего не было понятно.

Правда, на Зоне случился странный смертный случай, какой-то из аспирантов отправился в самостоятельный поиск и не вернулся. Обычно даже несуществующий труп в таких случаях активировался через месяц.

Но больше – ничего.

Я не любил дела, связанные с Зоной.

У меня был сослуживец – очень успешный человек, в больших чинах, очень неглупый, вся грудь в орденах (которые он, впрочем, никогда не носил). Однажды он напился и стал прямо-таки орать.

Его бесило то, что мы не понимаем, что нам делать с Зоной. Не то, что мы ничего не делаем, а то, что мы не понимаем, как к ней относиться – хорошо это или плохо.

– Как я устал! – кричал он. – Как я устал! Давайте же определимся – это что, раковая опухоль? Так давайте её облучать чем-нибудь, какими-нибудь жёсткими лучами? Или это что – живой организм, и его нельзя жёсткими лучами? Нет, давайте определимся! Пускай это будет неправильно, но мы хотя бы определимся! Когда рак, нужно не ждать, а определиться!

В ту пору была такая теория – «жаба в муравейнике». Не помню, кто её предложил, но, кажется, это были какие-то западные либералы.

Они говорили, что человечество – как жаба, оно прыгает своим путём куда-то и ему не нужно разрушать муравейник. Прыг-прыг, прыг-прыг, и оно миновало муравьев в опасной зоне.

Но если человечество задержится, как жаба, остановившаяся посреди муравьиной кучи, то погибнет. Мы все помнили жестокий мальчишеский опыт, когда в муравейник, вернее на муравейник, клали дохлую лягушку и через пару дней муравьи объедали её до скелета – белого и чистого.

Так и здесь, человечеству предлагалось быстро двигаться и не концентрироваться на одной проблеме. Можно подумать, что оно могло когда-то на чём-то концентрироваться!

Но мой орденосный сослуживец был прав, когда говорил: «Мы все устали, мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: „А-а, обойдется!“ А если это не „жаба в муравейнике“, если это хрен знает что? Если это...»

И когда мой товарищ орал (не на меня, а так – в пространство), что всё время существования Зоны из человечества делают тупую жабу, то он был прав. Те, кто долго занимался Зоной, либо стали трусами, либо равнодушными жабами. Прыг-прыг, прыг-прыг, домик на дачном участке, пенсия, дети разлетелись во все стороны, а нам-то всё равно, на наш век спокойствия хватит.

Я не стал трусом, я стал скорее циником.

Поэтому, как бывший научный сотрудник, я считал, что наука устроена очень просто – из любого изобретения две пользы. Сначала из него делают оружие, а потом что-то годное для порнографии.

Изо всякого открытия путь либо в оружейные мастерские, либо в порнографию.

А бороться с порнографией, как и с желанием людей убивать друг друга, – бессмысленно.

Я и не боролся, просто играл в такую игру – «сохраняй равновесие». Мир должен сохранять равновесие. Ну есть в нём Зона, ну появилась такая непонятность – но и это не мешает нам сохранять равновесие.

Потом вдруг ветер переменился, и дело у нас забрали. Оно долго путешествовало по верхам, пока не вернулось к нам. Очевидно, Атос имел как сильных покровителей, так и больших недоброжелателей.

У меня было странное чувство – я рассматривал жизнь старого друга под микроскопом.

Оперативная разработка предполагала, что мы знаем, с кем человек спит, с кем обедает, что он делает по субботам, храпит он или нет, сколько времени проводит на унитазе.

В деле было ещё десять человек, но материалы на Атоса, хоть и были скупы,

напоминали мне то, как я однажды в общежитии делал вид, что сплю, а мой приятель возился в рядом стоящей койке со своей подружкой.

Потом убили Портоса.

С самого начала эта история мне не понравилась – и вовсе не потому, что мне было жаль этого толстяка. Да, было жаль, конечно, но тут уж работа такая. Ты становишься циником через год, а если не становишься циником – вылетаешь.

Среди многочисленных историй по истории нашей спецслужбы, была одна, которую рассказывал один наш товарищ. Он был в Москве близок с нашим знаменитым разведчиком, которого раскрыли на Западе. После обмена тот, конечно, никуда не засылался, а занимался всякого рода консультированием.

Так вот, старичок-ветеран пришёл к знаменитому разведчику и застал его в довольно грустном настроении. Оказалось, что тот участвовал в обсуждении деликатного вопроса – как ликвидировать одного нашего агента.

– Понимаешь, в чём дело, – сказал он, – решили войти к нему в каюту под видом стюарда, завернув утюг в полотенце, ну и убрать.

– А что печалиться? Ты его, что, знал лично? Жалко тебе его?

– Да нет, раз проштрафился, то убрать-то, конечно, надо, – отвечал знаменитый разведчик. И тут же добавил скорбно: – Но уровень-то, уровень!

И замолчал скорбно.

Раз проштрафился – надо платить. Но уровень должен быть высоким. Уровень исполнения даже самых неприятных заданий.

Если Портос влетел в какие-то дела с откатами, так тому и быть. Я догадывался, что финансовые потоки в делах с медицинским оборудованием куда как велики. Но Портос был хоть и увальнем, но человеком сравнительно осторожным, сразу бы его убирать никто не стал.

Скорее всего он оказался бы в ненужное время в ненужном месте.

Потом мы поняли, что другой мой приятель по университету записан на всех камерах слежения. Это уже напоминало дурной анекдот.

Арамис прилетел из Штатов накануне, он, конечно, мог понять, чем занимается Атос. Если он выполняет задание, то оно может быть двоякого рода – переманить Атоса на сторону, за бугор, или затормозить работу.

И тут с Зоны пришла радиограмма о нападении на учёных. Какие-то лопухи довольно неумело симулировали бандитскую акцию, натуральный разбой на тропе. С какого-то бодуна нападавших зачистили после поимки, а не транспортировали, как положено по инструкции, на блокпост. Причём при такой напряженной обстановке их, конечно, следовало бы сразу везти в Москву. Обычно в таких случаях украинцы идут нам навстречу.

В общем, ребята сработали грязно, но вины их тут не было, никто их в известность не ставил.

Но только информатор доложил, что в группе Атоса на одного человека больше. Информатор у нас был среди вояк, которым все учёные на одно лицо, особенно на выходах в Зону.

Надо было лететь на опознание, но я уже нутром чуял, что передо мной типичная встреча однокурсников. Только однокурсники вооружённые, и у меня хороший шанс получить дырку в голове вместо совместного распева «Как здорово, что все мы тут, ребята, собрались».

Но ещё веселее то, что прямо перед отлётом мне позвонил Планше.

Глава двадцать первая

Штирлиц поднялся, не спеша подошел к Холтоффу, тот протянул рюмку, и в этот миг Штирлиц со всего размаха ударил его по голове граненой бутылкой. Бутылка разлетелась, темный коньяк полился по лицу Холтоффа.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 30 мая. Гольцев Николай по прозвищу Атос. Лучший друг – тот, кто слушает. Когда произносишь речь, есть опасность рассказать лишнее.

Николай Павлович Гольцев, доктор наук, главный научный сотрудник и профессор, более известный своим друзьям по кличке Атос, отбросил короткий кривой сук, на который он опирался и склонился над своим однокурсником.

Атос стоял, склонившись над Арамисом, и глядел ему в глаза – спокойно и внимательно.

Когда Арамис встретился с ним взглядом, то Атос начал:

– Я ненавижу быть злодеем из фильма, который, связав героев, начинает им всё объяснять. Но я так считаю, что злодей – это ты. Да ещё ты – человек из другой страны, ладно-ладно, ты там не прижился, но всё усвоил, что злодейство релятивно, то есть – относительно. У тебя там давно известная заповедь «Не убий» давно превратилась в «Не убий, конечно, но это только слабых, а сильных можно, только надо расстроиться по этому поводу и желательно не своими руками. Или даже с радостью, потому что потом будет всем гармония и счастье».

А нормальный нищеанец говорит, что убивать можно как раз потому, что у тебя право сильного.

Неизвестно, что из этого пошлее – все забывают о цели. Садовник обрезает ветку, потому что так надо.

Я как раз и есть тот садовник.

А месть...

– Значит, всё же месть? За ту историю, за то, что я с ней... – Арамис сбился.

– Ах, Серёжа... Как ты мог поверить в это – месть, глупости какие-то. Ну что я тебе буду мстить? Прямо Монте-Кристо какой-то. Бред и глупости.

Ты просто был отмычкой. Настоящей отмычкой – но вот, помилуй, нужно мне было превратиться в овощ, сидеть в дурдоме, как наша дорогая Констанция? Приложу я к себе наши дорогие подвески, и пойдёт у меня голова кругом, да – навсегда.

Нет, мне такой вариант вовсе не нравился. Мне нужна была мышь лабораторная, и эта мышь, Серёжа – ты и есть.

Думаешь, я не знаю, что с тобой делали в госпитале в Красногорске? Думаешь, я не догадывался, что за шрам у тебя, что ты так ненатурально выдавал за результат неудачного катания на горных лыжах?

Всё я понимал, всё я знал.

Поэтому я сделал с собой то же самое – но только не как вы тогда, в священном безумии.

Теперь, дорогой Серёжа, расскажу я тебе, кем я себя чувствую.

Ведь это вы продали идею нашего Тревиля. Вы и продали-с.

Я понимал все ваши мотивы, всех до единого – твою Америку, богатство Портоса, желание д'Артаньяна вообще бросить непонятную ему науку, я всех понимал.

А я – единственный, кто был верен своей мечте. Нет, чёрт побери, это была наша мечта! А теперь стала только моя!

Кто пожертвовал всем, а кто поддался панике?

Неужели вечно должна совершаться несправедливость, а в финале большой битвы, когда корабль приведён в порт, будет происходить наказание невиновных и награждение непричастных?!

Я тебе расскажу историю, что я слышал в детстве. Она тогда просто перевернула мою жизнь – я подслушал её, когда взрослые разговаривали за столом. Много лет назад, во время войны с немцами, из Таллина в Ленинград шёл караван судов. Многие из них были

потоплены, и море выносило к финским и шведским берегам вздутые трупы военных и гражданских.

До Ленинграда дошёл только один торговый корабль. И дошёл он потому, что экипаж и эвакуированные боролись за его живучесть. И не в последнюю очередь они спаслись благодаря командиру, который появился в самый решительный момент. Казалось, всё было кончено, когда на палубе появился человек в генеральском реглане. Он расставил команду и возглавил борьбу с огнём. Он подчинил своей воле всех, и экипаж довёл судно до места назначения.

Потом его искали, но не могли найти. Конечно, про него все помнили и даже говорили, что его воля была страшной и жестокой, и что он застрелил человека, что в момент паники хотел выкинуть белый флаг. Потом его, конечно, видели на разных фронтах в разных званиях.

Человека в реглане нашли спустя много лет после войны, он оказался шофёром, служил в штабе флота. Последние трое суток не спал – в Таллине были такие бои, что спать не приходилось. Когда приехал в Бекхеровскую гавань, погрузил свою машину на «Казахстан» и попросил у коменданта разрешения прилечь в его пустующей каюте. Он проснулся от сильного взрыва и, вскочив с койки, набросил на себя чужой офицерский реглан. В кармане его был пистолет, и всё решилось само собой – он пальнул из пистолета и стал командовать.

Потом этот человек прошёл всю войну, был тяжело ранен и больше всего жалел, что не оставил себе реглан. Хороший, говорит, был реглан, до сих пор бы носил.

И вот я понимал, что эта история про меня – это вы прогадали нашу идею, а я подобрал лабораторный халат за вами. За дезертирами, если правильно говорить.

Я воссоздал методичку, я улучшил имплантаты, я кормил идею с ложечки и поставил её на ноги, пока вы выстраивали свои судьбы, трахались, зарабатывали свои дурацкие деньги.

В это время я жил ради идеи, я бегал с пистолетом и поднимал людей на тушение пожара. Развалилась страна, всё, казалось, было утеряно.

Это я сохранил всё, и я открыл механизм стартера при помощи артефакта, но не кричать же мне на площадях: «Я!», «Я!», «Я!»...

Пройдена большая часть дороги, но тут появились люди, что никогда не плыли со мной на этом судне.

И вот теперь вы стали тянуть ручонки к идее, после того как она была мной сохранена и преумножена. Трухин так вообще чуть её не сдал налево – он даже не хотел её продать, он чуть её не подарил, дурак.

Да.

Безумству храбрых поём мы песню, но участвовать в нём я не подписывался. Вот я понял, что ты являешься идеальной лабораторной мышью. Ускоритель, или как я теперь его называю иначе – «модулятор нейронов» у тебя стоял давно, у меня он установлен гораздо позже, оценить, что с ним происходит, я мог приблизительно, но всё же мог.

На своего рода стендовом испытании нужно было посмотреть, не улетит ли у тебя крыша после активации подвесками, а потом уже пробовать самому.

И всё получилось, как ты видишь.

Но пришлось торопиться, потому что, Серёженька, завелась у меня крыса. Настоящая жирная крыса, причём с родословной.

Начал меня подозревать наш Михаил Иванович. То есть, даже не подозревать – подозревать-то меня было не в чем, а он начал догадываться о теме работ. А мне эти споры о приоритетах на ранней стадии не нужны были. И вот наш добрейший Михаил Иванович, наш картавый герцог Бэкингом стал меня исследовать – и мне совершенно не понравилось.

Мне надо было притормозить процесс – через год мне никто не смог бы помешать, я бы все успел.

Но все приходилось торопиться – и тут ты вернулся. Я еще не знал, что ты мне этот год экспериментов на мышах и приматах сэкономишь. Да и наш Портос тут очень пригодился.

Я, признаться, его никогда не любил – кабан какой-то. Жрущий кусок мяса. Как он уцелел в разборках девяностых – я не понимаю. Он жрал и гадил, трахал своих бессмысленных девок, которые являлись таким же мясом, только более спортивным, с меньшим процентом жира, шелестел деньгами, и в общем, как ты видишь, оказался никому не нужен.

Честно сказать, я считаю себя санитаром леса. Я его убрал безо всяких колебаний, и считаю, что это главное достижение дурака – он оказался в нужное время в нужном месте.

Его смерть заставила тебя превратиться в бегущего кролика. Ату! Кролик! Беги!

И ты побежал – я рассчитал всё верно, ты со дня надень был на грани нервного срыва. Вот и дёрнул оттуда, где лежал ствол в твоих пальчиках, и камеры радостно снимали, как вы с Портосом обмениваетесь оплеухами – честное слово, вы были такие пьяные, что ты попал с третьего раза, а он по тебе вовсе не попал.

Последнюю кассету я изъял, как, впрочем, должен был поступить и настоящий убийца.

Оставалось только сидеть и смотреть через дырочку соседского забора, как едут менты на тревожный сигнал.

Ну, и конечно, ты, как всегда, спалился на бабах. Всё потому что дочь Маракина работает у меня, ты сам шёл по коридору событий мне в руки. Более того, ты ведь, Серёженька, человек простой, хоть всякие языки знаешь, а так же ты ещё американский гражданин.

Приучен к порядку и законобоязни. Никогда ты не был силён в администрировании, в управлении потоками ты был не силён, а у меня было это всё на уровне куда раньше, чем у меня имплантат заработал.

Ты ещё от комсомола со спущенными штанами бегал, а я управлял людьми.

Поэтому ты здесь, а я стою рядом. Как говорил поэт Пушкин, «И вскоре, силою вещей, мы очутились в Париже, а русский царь – главой царей», это я про себя, впрочем.

Ты вообще должен быть благодарен – я тут стою перед тобой как кинематографический злодей и объясняю, что к чему, потому что мы с тобой дружили, хлеб делили, вместе на картошке в одной борозде сидели.

Да и кому я всё это расскажу? Никому, ты – последний.

Я, правда, тебя буду ещё вспоминать, да что там – не забуду никогда. Друзей-то у нас в жизни мало, а в нашем возрасте, почитай, новых не прибывает.

Тебе удобно?

Я тебе как коллеге ещё скажу – всё нормально у меня в голове функционирует. Я даже твой пульс чувствую. И то, как ты пластиковые наручники время от времени жал, а потом вспоминал, что это без толку.

Сзади тебя – ты этого пока не видишь – находится чудесная лужа. Называется эта лужа E9012, а иначе говоря, аномалия «мёд». Я с ней лет шесть пытался работать, думали её приспособить для безболезненных ампутаций. С виду вода как вода, только мутноватая, но это универсальный растворитель. Причём человек, наступивший в такую лужу, сперва не понимает, что лишился ступни – понимает он только, что вокруг него бьёт фонтаном кровь, и ходит он как-то неловко.

Занимались-занимались мы этим эффектом обезболивания, да и бросили. Не поймёшь ничего, да и заказ на это дело аннулировали. Этот сладкий мёд – последнее, что я могу сделать для старого друга.

Ты абсолютно безболезненно и счастливо станешь частью Зоны, а светлый образ твой – помнишь, как там в фильме про Штирлица: «Или светлый образ его» – нет, ты, наверное, всё в Америке позабыл... Короче говоря, светлый образ твой ещё долго будет посещать наших знакомых.

Раскаявшийся убийца, беглец.

Ты будешь у нас несчастным Степлтоном, ухнувшим в Гримпенскую трясиину. Как и он, ты растворись без остатка – с той только разницей, что ни Шерлок Холмс, ни Ватсон с товарищами не склонятся над твоими пузырями. Ты убивал, и Зона тебя за это накажет.

Знаешь ведь, с каким суеверием все тут относятся к тому, как Зона наказывает за прегрешения?

Вот в твоём случае она ещё раз покажет свою справедливость.

Он размял руки и наклонился ко мне.

Глава двадцать вторая

Кэт хотела броситься на Рольфа, но упала, она страшно кричала, и Рольф тоже кричал что-то – и вдруг сухо прозвучали два выстрела.

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 30 мая. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис.

И тут началось. Я ощутил чудовищную боль. Она накатывала на меня как ревущий скоростной поезд – такое было у меня однажды в Китае. Я опрометчиво считал, что скоростные поезда там такие же, как в Японии, но этот пронёсся мимо платформы с рёвом и грохотом, так что я, взрослый мужик, грохнулся оземь от неожиданности.

Это был выброс.

Причём Атосу, стоявшему надо мной, досталось куда больше, чем мне, лежащему у его ног.

Он упал на меня, и несмотря на весь ужас, я чуть не заржал, мы сами, не желая того, обнимались.

Потом Атос скатился в сторону и завыл.

Оказалось, что он вляпался ладонью в свою замечательную лужу и брызгал кровью вокруг.

Выброс бил мне по ушам, как два молотка – будто я сидел в центре старой детской игрушки с мужиком и медведем.

«Раз!» лупил мне по голове один, отстранялся, и тогда меня достигал другой: «Два!».

Но, чёрт побери, это был шанс, и я перекатился на живот, потом на бок и подтянул ноги.

Теперь нужно было переступить через связанные руки, что мне и удалось – кажется. Это длилось целую вечность.

Атос тоже не спал. Он уже перетянул жгутом обрубок левой руки.

Он мычал от боли – видать, анестезирующие свойства этой дряни в луже были сильно преувеличены.

И теперь друг мой Атос, брат мой Атос тянулся к стволу.

Он уже дотянулся до автомата, но мне удалось ударом ноги выбить его прямо в лужу.

Теперь пусть кто попробует его достать.

Мозг мой работал чётко и быстро, перебирая возможные варианты. Да только вариантов-то не было. Если б Атос потерял сознание, можно было бы, аккуратнo скусив травинку, зажать её в зубах, макнуть в лужу... Потом тщательно прицелиться и капнуть на наручники. Но это хорошо в фильмах, да тут как раз мозг подсказывал, что чуть-чуть переборщишь, и слизь вместе с наручниками разъест мне на запястье не только кожу. Да и Атос не даст мне долго манипулировать с травинками. Да с чем угодно – жизни он мне не даст, кончилось время.

Итак, один-один, автомат мы из игры исключили, это прекрасно.

Другое дело, что и я теперь безоружен.

А вот у брата моего Атоса, у однокурсника-мушкетёра Атоса, ближе которого мне не было, была большая фора. И фора эта весила восемьсот грамм и оттягивала ремень на поясе. Был у брата моего Атоса на поясе пистолет Макарова и вот теперь он вытащил его.

Тут-то мне и конец.

Потому что со всем можно поспорить, а вот с девятимиллиметровой пулей с двух метров поспорить нельзя, особенно когда ты связан.

Но Атос отчего-то не стрелял. Мыча, он пытался передёрнуть затвор одной рукой, прижав оружие ногой. Потом вцепился в пистолет зубами – ничего не выходило. Ключевое слово «самовзвод» Атос как-то упустил.

И тут у меня над ухом грохнуло – совершенно, замечу, с другой стороны.

Потом раздался ещё один выстрел.

Атос метнулся в сторону и, треща кустами, побежал прочь.

С другой стороны в распадок вошёл, озираясь, другой мой однокурсник. Никогда я не думал, что буду рад Мушкету, что с таким испугом водил стволом. Только он бы не дал очередь для профилактики незнакомого пространства.

Он, страшно ругаясь, разрезал наручники и поднял меня на ноги.

Меня немного мотало, и я сразу же обнял Олега как девушку.

Было видно, что он понимает пафос ситуации, но своей девушкой меня всё же не считает. После того, что я объяснил ему, Мушкет только покрутил головой.

Я очень боялся, что он мне не поверит, но нет – сразу стало понятно, что он на моей стороне. Оказалось, что они переживали микровыброс в блиндаже спецсвязи, и он сразу пошёл нас искать. «Что-то подсказало, – сказал Олег. – Но явно не голова. Будь я поумнее, я бы там до сих пор сидел. Но я оказался подобраее, а не поумнее».

Мы прошли чуть дальше по распадку, а потом, раздвинув кусты, вышли к болоту.

Серый туман рассеялся, и тропинка вывела нас к тому месту. Мы оказались на узкой торфяной полоске, полуостровом вдававшейся в трясину. Маленькие пруттики, воткнутые то там, то сям, намечали тропу. На макушках прутиков были видны белые тряпичные полоски, отмечающие путь.

Тропинка извивалась зигзагом от кочки к кочке, между затянутыми зелёными окнами, которые преградили бы путь всякому, кто был незнаком с этими местами. От гниющего камыша и покрытых илом водорослей над трясинной поднимались пузыри. Мы то и дело оступались, уходя по колено в темную зыбкую топь, мягкими кругами расходящуюся на поверхности. Вязкая жижа присасывалась к нашим ногам, и ее хватка была настолько сильна, что казалось, чья-то цепкая рука тянет нас в эти мерзостные глубины. На глаза нам попало только одно-единственное доказательство, что не мы первые идем по этому опасному пути. На кочке, поросшей болотной травой, лежало что-то темное.

Это была сумка Атоса.

И тут раздался сдавленный стон.

Атос был прямо перед нами, и кто-то, схватив за ногу, тащил его в болото. Полоса взрытого торфа шла метра три, и видно было, как он боролся. Это был не я, эта мишень куда труднее. Против этого тупорыла «Макаровым» не отобьёшься.

Из чёрной торфяной жижи высунулась тупорылая голова без глаз.

Тупорыл покрутил головой и уставился в нашу сторону.

Мушкет стал тихо поднимать ствол, и уже было прицелился, как я сделал ему знак. Не надо было вмешиваться.

Теперь видно было, что Атос оступился, а этот зверь, ждавший кого-нибудь, может, день, а может быть, месяц, большим длинным щупальцем спеленал ему ноги. Судя по всему, как и остальные твари болот, он ориентировался в основном на мелкие вибрации, а не на обоняние и зрение.

Зрение в ядовитом тумане помогает мало, а уж про обоняние и говорить не приходится.

Голова чудовища снова повертелась и вдруг, булькнув, скрылась под водой.

Чудовище отдыhalo, а потом, совершенно по-человечески вздохнув, потащило моего однокурсника к себе. Он уже перестал сопротивляться – видно, что от болевого шока: ноги его были в неестественном положении. Кажется, щупальце раздробило ему все кости.

И вот это щупальце подтянулось и наконец уволокло свою жертву под поверхность чёрной воды.

Забулькало, и до нас дошла волна гнилостного запаха с глубины.

Друг мой Атос был навеки погребен в самом сердце болота, которое, будто Гримпенская трясина, засосало его в свою бездонную глубину. А мы, два его однокурсника, будто Шерлок Холмс и доктор Ватсон наблюдали за пузырями на болоте. Я знал, впрочем, что в книге про страшную фосфорическую собаку гибель Степлтона не была описана, но я физически точно ощущал преемственность произошедшего.

Ничего не помогло моему другу – ни совершенный ускоренный, как сказали бы, «расшаренный» мозг, ни физическая форма, ни аккуратность. Глупо как-то вышло.

Человек, которого я считал самым близким, человек, бывший самым умным из всех, кого я знал, превратился в еду.

Глава двадцать третья

Он вошел в хвойный лес и сел на землю. Здесь пробивалась робкая ярко-зеленая первая трава. Штирлиц осторожно погладил землю рукой. Он долго сидел на земле и гладил ее руками. Он знал, на что идет, дав согласие вернуться в Берлин. Он имеет поэтому право долго сидеть на весенней холодной земле и гладить ее руками...

Юлиан Семёнов

«Семнадцать мгновений весны»

Зона, 1 июня. Сергей Бакланов по прозвищу Арамис. Мой друг – настоящий полковник. Ролик на Ютубе и миллион просмотров. Всегда главным остаётся вопрос – остаться или продолжить движение. Вертолёт на Борисполь.

Мы сидели на скамеечке перед вертолётной площадкой.

Анвар развалился рядом, вытянув ноги, – и сейчас было видно, что он человек военный. Какая, к чёрту, наука?! Он всегда был воином – и до того, как по странному недоразумению сидел вместе с нами на дубовых университетских партах, и когда попал в армию, и когда служил в чёрт-те какой службе.

– Ну что, товарищ офицер армии вероятного противника? – спросил он лениво и весело.

– Какой я тебе вероятный противник, и то, что у меня два паспорта, тебе хорошо известно.

– Мне-то всё хорошо известно. Мне вообще за тебя сейчас дырку для ордена провертят, а вот что ты собираешься дальше делать – я не знаю.

– А ничего делать не буду. Мне, наверное, надо теперь в Москву лететь, в прокуратуру явиться.

– Никуда тебе не надо являться – это тебе вместо ордена будет. Дело закрыли, ты даже не свидетель. Но я бы слетал, к Портосу на могилку бы сходил, хотя в тебе сентиментальность заподозрить сложно.

– Да уж. Он мне снился как-то. Ужасно обиженный.

– Ясно обиженный. Но дело не в могилах – баба там твоя извелась, мне обзвонилась прямо. Ты бы с этим делом поаккуратнее, влетишь под статью с малолетками. Не надо вот тут нам твоего спорта.

Я с удивлением и ужасом посмотрел на него.

– Девушка Ксюша, юбочка из плюша. Я ей, кстати, не завидую. С тобой связаться можно только по малолетке, а потом полжизни расхлёбывать.

Я помолчал, соображая.

Надо было всё обдумать, действительно, я настолько привык к тому, что все вещи вокруг не то, чем они кажутся, что нужно было уместить в голове всё услышанное. Сейчас

заработает ускоритель, и я вспомню все детали, вспомню все слова Ксении, и вдруг я понял, что это лишнее.

Нужно, чтобы хоть что-то в жизни лежало в иррациональной зоне.

То, что хорошо на здешних минных полях, может превратить жизнь в настоящий ад. Я стану раздражительным и мерзким, испорчу жизнь не только себе, но и всем, кто рядом.

Усилим воли я заставил себя не выходить на этот чёртов аналитический режим работы мозга.

Кажется, я заметно напрягся, так что Анвар заметил.

– Ты мне, кстати, ничего не хочешь рассказать? Мне вот, к примеру, жутко интересно, чем Атос занимался? Да и на кой ты ему, собственно, сдался?

– Мстителен человек...

– Да ла-а-а-адно, мстителен. Атос был абсолютный рационалист. Ты мог бы его жену трахать (если бы она у него была), но если бы ты ему нужен был как подчинённый, он бы вам в постель кофе приносил. Мы эту версию отработывали: я ведь и про маракинскую дочь всё знаю, я был у неё в клинике и, знаешь, испугался.

Меня мало чем можно пронять, а вот она меня испугала.

Я ожидал увидеть нормальную сумасшедшую наших лет, нечёсаную, со слюнями изо рта...

А увидел очень аккуратную, физически сильную женщину. Причёска – волосок к волоску, и чувствуется, что в голове у неё идёт какая-то напряжённая работа, будто крутится что-то на холостом ходу. Или не на холостом?

А подняли журнал посещений – туда Атос ездил три года назад неделя за неделей – а потом как отрезало. Как-то разом она стала ему неинтересна. Будто он её счислил, да и отставил за ненужностью. Вот так.

Точно ничего не хочешь рассказать?

– Я расскажу, если сам что-то пойму, – сказал я. В общем, это была чистая правда.

Тут ситуацию спас мой старый знакомый Эрик. Сталкер-проводник по прозвищу Палач шёл наискосок через двор, и тут из окна высунулся Мушкет и заорал:

– Эрик! Эрик! Я видел на Ютубе твой ролик с гипножабой! Круто! Это круто, чёрт побери, ты сам не знаешь, как это круто! Там, знаешь, его сколько человек посмотрело? Знаешь, нет?..

Сталкер только махнул рукой и пошёл по своим делам.

Мы помедлили и я спросил.

– А ты-то в каком звании?

Отчего-то он не стал ломаться и просто ответил:

– В феврале дали полковника. Но у нас много полковников, это ничего не значит.

– Ну, значит всё-таки. Плох тот солдат, у которого в ранце не лежит маршалский жезл.

– Да, жезла иногда очень хочется.

– Нефритового?

Он заржал, молодо и радостно. Так как много лет назад он ржал над похабными анекдотами, стоя со стаканом мутного кофе с молоком на «сачке»,³⁰ рядом с буфетом.

– Что, полетишь со мной? Я-то понимаю, что не полетишь, но всё же.

– Пока не полечу.

– Ну вот скажи, Арамис, а что тебе оставаться-то? Что это решает?

– Надо рассчитать план. Потому что суеты много, а куда мне теперь бежать – непонятно. Мне чужой опыт должен всё пояснить.

– Разверни мысль.

– Легко. Я расскажу тебе такую историю. Я как-то весной сидел в маленьком ночном

³⁰ «Сачком» в подавляющем большинстве учебных заведений бывшего СССР называли пространство рядом с буфетом или столовой, где студенты, собравшись вместе, проводили время в разговорах и «сачковали», опаздывая, а то и пропуская лекции.

кафе с друзьями из Ленинграда. То есть, конечно, из Петербурга.

У нас там уже тепло, мы сидели на улице, мимо столиков бродили музыканты. Моим друзьям скоро нужно было покинуть застолье и ехать в аэропорт. Время тянулось как всегда в таких случаях – бесцельно и необязательно.

И тут мне позвонила Миледи.

Это был очень странный звонок – мы, в общем, не созванивались-то.

Меня смутило не само предложение, а время – ясно, что в Москве в этот момент было далеко за полночь.

И она, которая в этот момент шла по холодной улице моего родного города, ошеломила меня новостью – умер Пеник. Ты ведь помнишь Пеника? Он учился на соседнем потоке, такой высокий... Миледи как раз шла с поминок. Так вышло, что она знала его куда раньше, чем я, куда ближе, чем я, и даже была влюблена в него. Ну, если ей свойственно влюбляться.

Ты, конечно, помнишь Пеника таким, каким он был, когда мы учились в Университете.

А я его больше помнил таким, каким он был в тот момент, когда мы оба ходили к одному и тому же репетитору перед поступлением. Мы были очень дружны в тот момент, а после первого курса наша дружба как-то расстроилась.

Я думаю, всё дело в том, что он двигался по жизни с немного другой скоростью. Более того, жизнь мне всё время ставила его в пример – он тоже покинул науку, как и я, но при этом блестяще защитился. Он, как и я, стал заниматься другим делом, но вместо моей нищеты всё время пребывал в стабильном благополучии.

Даже, как он признался, постоянно летал в Америку за одеждой – это был какой-то знак, мной угадываемый интуитивно. Что значит «в Америку за одеждой» я не знаю, что там следует покупать и что это означает, но мне хотелось это упомянуть. У нашего Пеника была компания, кажется, как-то связанная с Интернетом, нормальная фирма с многими программистами и сложной техникой.

Видишь, Анвар, и он тоже отставил науку. А вот как раз его мне всегда ставили в пример, и совершенно справедливо – он был учёный. И защитился раньше всех, и перспективы у него были круче, чем у многих. Он ведь занимался пресловутой теорией суперструн, вернее М-теорией, самыми модными вещами, так сказать.

И вот он умер.

Я, признаться, даже сначала не понял этого сообщения. Смерть не вязалась у меня с Ваней именно потому, что он был моим положительным двойником, а вот теперь весь этот успех покотился в яму.

Однажды нас даже хотели женить на одной и той же девушке. Он стремительно уклонился от этого, а я как раз женился, и теперь понимаю, что в этом браке было много от той тяги, что испытывает сын инженеров, плебей, к богемно-аристократическому кругу. Умом ты понимаешь, что «Всюду одна и та же печаль. Ветер равно холодит», но исключить это поклонение невозможно. Я развёлся так же стремительно, как и женился, и на встрече однокурсников Пеник сказал, что прекрасно знает мою тещу.

– Бывшую тещу, – уточнил я.

– Поздравляю, – искренне обрадовался он.

И вот он умер.

Оказалось, что у него давно болела спина, и он, чтобы прогреть позвоночник, спал на полу с подогревом в ванной, где-то в закоулках своей роскошной квартиры на краю Лосиног острова.

Но это оказался рак, и в самой тяжёлой форме. Его лечили, и он лечился сам – причём он сумел надолго остановить болезнь. Конечно, он обладал немалыми средствами для этого, но и сам дрался за свою жизнь. Пересел на велосипед, тренировался по какой-то хитрой системе нагрузок, и в какой-то момент метастазы пропали. Болезнь ещё была, но врачи предъявляли его случай в пример каких-то удивительных методик.

Пеник решил бросить свои средства на борьбу с раком, но в какой-то момент в судьбе его что-то щёлкнуло, и у него отнялись ноги. Он мгновенно постарел и через несколько

месяцев умер.

Я сидел в кафе, друзья мои давно сели в такси, и слушал чужую-свою историю. Слушая всю эту историю про своего двойника, я думал о том, что есть три типа чужих судеб.

Есть судьбы людей далёких, чья смерть не задевает тебя вовсе – это знаменитости и первые лица государств. Их смерть может стать поводом для шутки или анекдота.

Есть, наоборот, самые близкие люди, и, когда они умирают, боль не оставляет тебя, не давая никакого пространства для рефлексии.

И есть, наконец, третий вид отношений, которые делятся на некоторой дистанции. Когда они обрываются, боль твоя невелика (не надо притворяться, что ты чувствуешь больше, чем на самом деле – все мы в достаточной степени черствы, иначе и не выжить в больших городах). Итак, боль твоя невелика, но достаточна, чтобы раз за разом возвращаться к чужой судьбе – будто эта судьба стала Посланием, каким-то намёком сверху.

Вот что я скажу про то, как наш чудесный Пенник помог мне сделать выбор.

Жизнь катится предсказанными путями, мало радующими, но ничуть не удивляющими меня.

Я решил остаться здесь. Пока. Пока останусь, а там видно будет – может, до конца сезона.

Надо подумать, чем стоит заниматься, может, действительно подхватить знамя мёртвого Маракина, знамя нашей группы Тревиля, которое пытался залапать наш общий друг? Получается, что я остался один из тех, кто мог бы продолжить дело дальше.

* * *

Из-за леса раздался свист, который ни с чем не спутаешь.

Это вынырнул из-за сосен и пошёл на посадку огромный транспортный вертолёт.

– А вот и за мной... – сказал Анвар. – Ну, прощай. Удачи. Дай Бог здоровья и денег побольше.

Откуда-то вывернулся Мушкет, обнял нашего д'Артаньяна и даже перекрестил его три раза.

– Не забывай нас, Анварчик... Пиши... Ты бы прилетел потом, а?..

– Прощайте, ребята, – сказал Анвар, пожимая нам руки. – Спасибо вам за компанию и за хорошие, правильные разговоры. И за прошлое наше спасибо. Никто у нас пути пройденного не отберёт... Кстати, откуда эта фраза? Не помню. А ты, Серёжа, насчёт Москвы подумай.

– Ладно! – засмеялся я. – Разве я против?

Анвар попрощался ещё с кем-то, пожал руку Неделько, местному украинскому кагебешнику, которого я знал, и пожал руку ещё кому-то, кого я не узнавал.

Солдаты уже стояли у вертолёта и передавали по цепочке серебристые ящики, в которых я узнал имущество Атоса. Вертолёт медленно раскручивал свои гигантские лопасти и ветер поднимал песок с площадки, бросая его нам в лица вместе с жарким воздухом. Анвар поднялся по трапу и ступил внутрь.

– Пиши! – крикнул в уже закрытую дверцу Мушкет. – Здоровье береги!

«Никто не знает настоящей правды», – вспомнил я, поднимая воротник куртки и засовывая руки в рукава.

Вертолёт резво пошёл вверх. В этот момент я с отчётливой ясностью понял, что больше не увижу д'Артаньяна. У всех д'Артаньянов одна судьба: когда им вручают маршальский жезл, им в бок попадает ядро. И вот они ползут по окровавленной траве, изо всех сил тянутся к этому жезлу и тут всё кончается. Всё становится не важным – в уме ли Констанция, какова судьба Миледи, живы ли враги и друзья, Анна Австрийская и Мазарини, важна только бессмысленная бронзовая палка, обшитая бархатом.

И надо сомкнуть на ней холодеющие пальцы.

Вертолёт шёл уже над лесом на юг.

– Вот чёрт, сейчас будет дождь, – сказал Мушкет слишком громко, не отойдя ещё от своего крика через гул мотора. – Понесла тебя нелегкая в такую погоду!

«Да, никто не знает настоящей правды...» – подумал я, с тоской поглядев в хмурое небо.

Мы делаем два шага вперед и шаг назад, но настоящий учёный упрям и, опираясь на посох, неумолимо идёт вперёд, ничего не боясь.

Пройдёт совсем немного времени и д'Артаньян увидит огни Борисполя, и снова солдаты начнут перегружать ящики, внутри которых заключена вся жизнь нашего мёртвого однокурсника, все его амбиции. Да только не поймут сослуживцы д'Артаньяна там ничего – если им не захочу помочь я.

А у меня есть сейчас другое дело.

Я пошёл к себе в комнату, на ходу начав сочинять письмо в Москву. Я решил не звонить, не, упаси боже, задействовать Скайп, надо написать буквами: «Здравствуй, кролик. Это я, Серый Волк. Я спасся от Нуф-Нуфа и Ниф-нифа и уцелел после встречи с Наф-Нафом. И вот теперь я...» Что надо написать дальше, я не придумал.

Уже открывая дверь, по лёгкому стуку в стекло я понял, что начался дождь.